Тан.

Чукотскіе разсказы.

Содержаніе:

1. На каменномъ мысу.
2. Ярмонгій.
3. На мертвомъ стойбищѣ.
4. Праздникъ.
5. На устьѣ Рассохатой.
6. У Гичгырьята.
7. Русскій Чукча.

СЪ ДВѢНАДЦАТЬЮ РИСУНКАМИ.

ИЗДАНІЕ

С. Дороватовскаго и А. Чарушникова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. Т-ва «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА», Коломенская, соб. домъ, № 33.
1900.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Предлагаемые разсказы были мною написаны въ 1895–97 гг. въ Колымскомъ округѣ во время путешествія среди чукчей и напечатаны въ журналахъ: Русское Богатство, Вѣстникъ Европы, Журналъ для Всѣхъ, Сибирскій Сборникъ и газетѣ Восточное Обозрѣніе. Рисунки сняты съ фотографій, сдѣланныхъ мною, также В. И. Іохельсономъ и Я. Ф. Строжецкимъ. Три изъ нихъ были помѣщены въ Журналѣ для Всѣхъ (Августъ 1899 г.). Авторъ.

- Танъ
  - На Каменном Мысу
  - Кривоногій
  - На мертвомъ стойбищѣ
  - Праздникъ
  - На Рѣкѣ Россомашьей
  - У Григорьихи
  - Русскій чукча
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24

- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68

- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112

- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150

Танъ
Чукотскіе разсказы

На Каменном Мысу

I.

Уже цѣлую недѣлю дулъ свирѣпый сѣверный вѣтеръ, не прерываясь и не ослабѣвая ни на одну минуту. Стремительные порывы вихря прилетали другъ за другомъ безъ малѣйшей передышки и проносились надъ поверхностью ледяныхъ равнинъ съ такимъ торопливымъ и безпощаднымъ ожесточеніемъ, какъ будто отыскивали на ней какой-нибудь выдающійся предметъ, что-либо хоть немного возвышающееся надъ общимъ однообразнымъ уровнемъ, за что они могли бы ухватиться и немедленно вырвать вонъ вмѣстѣ съ корнями. Но на ровной груди ледяныхъ полей не было ничего пригоднаго для сокрушительной дѣятельности вѣтра. Мѣстами виднѣлись только осколки ледяныхъ глыбъ, выпятившіеся вверхъ по линіямъ осеннихъ щелей; но они примерзли такъ плотно, что ихъ трудно было бы сдвинуть съ мѣста даже ударами лома. Кромѣ этихъ осколковъ, на застывшей поверхности океана находился только толстый слой снѣга, отвердѣвшій подъ дѣйствіемъ непрерывныхъ бурь до плотности камня и скорѣе напоминавшій сплошную массу обожженной бѣлой глины, чѣмъ обыкновенную рыхлую пелену зимы. Зато даже эта отвердѣлая кора не могла устоять передъ побѣдоносной яростью вьюги. Вѣтеръ вонзалъ въ лицо *убоя* свои острые зубы и выѣдалъ изъ его окаменѣлой брони узкія *заструги*, окаймленныя по сторонамъ глубокими бороздами и высовывавшія на встрѣчу вьюгѣ длинные бѣлые языки. Выкопавъ такую застругу въ снѣгу, вѣтеръ вдругъ мгновеннымъ усиліемъ срывалъ ея кончикъ и уносилъ съ собою, безостановочно крутя его въ воздухѣ и разрывая на тысячи мелкихъ частицъ, тонкихъ и сухихъ, какъ самая сухая глиняная пыль, носящаяся на крыльяхъ знойнаго вихря надъ безжизненной степью, опаленной лѣтнимъ солнцемъ и изнывшей отъ бездождія. Весь воздухъ былъ наполненъ этими частицами; вьюга была насыщена и пронизана ими; онѣ двигались съ такой быстротой, что, казалось, удлинялись въ своемъ движеніи и производили впечатлѣніе тонкихъ и длинныхъ иголъ, и конечно, онѣ кололи такъ же больно, какъ иглы. Онѣ были такъ легки и мелки, что совершенно сливались съ острыми и холодными частицами воздуха, составлявшими самую субстанцію вьюги, и нельзя было отличить, какіе именно элементы вѣтеръ принесъ съ собой съ невѣдомаго сѣвернаго простора и какіе захватилъ, пролетая надъ ледяными

полями. Колючія струи воздуха и атомы раздробленнаго снѣга смѣшались въ одинъ острый, рѣзкій и пронзительный хаосъ, на подобіе оледенѣлаго туманнаго пятна, которое двигалось съ сѣвера на югъ съ бѣшеной быстротой, но никакъ не могло истощиться и пролетѣть мимо.

За рубежомъ ледяныхъ полей простиралась земля, но и ея поверхность была такъ же ровна и безжизненна, какъ бѣлое лицо океана. Море переходило въ тундру такъ незамѣтно, что нужно было бы снять прочь весь снѣжный покровъ для того, чтобы опредѣлить, гдѣ оканчивается ледяной пластъ и начинается гладкая площадь прибрежной тины, переходящая въ такое же гладкое и твердое отъ мороза моховище.

Правда, на западѣ возвышался огромный каменный мысъ, выступавшій въ море тремя высокими, крутыми грядами, а со стороны земли переходившій въ приземистый кряжъ, расползавшійся по направленію къ югу. Но онъ такъ угрюмо чернѣлъ своими утесами, совершенно обнаженными отъ снѣга, и такъ непоколебимо подставлялъ на встрѣчу мчавшейся вьюгѣ свои отвѣсныя ребра, что, наткнувшись на него съ разлета, она испуганно бросалась въ сторону и спѣшила умчаться прочь — туда, гдѣ на краю тундры чуть синѣла надъ горизонтомъ полоска низкаго и пологаго горнаго перевала. Вокругъ выступовъ мыса море намело узкій песчаный прилавокъ и завалило его грудами наноснаго лѣса, которыя щетинились изъ-подъ снѣга, гармонируя съ острыми и неправильными гранями каменныхъ уступовъ, поднимавшихся надъ ними вверху.

Это была мрачная страна, лишенная всякаго признака жизни, та самая пустыня, — какъ описываютъ ее чукотскія сказки, — на которой нѣтъ ни мышки, ни былинки, — по-которой не пробѣгаетъ олень и не гонится за нимъ волкъ. По крайней мѣрѣ такъ было въ это глухое зимнее время года. Оленьи стада, дикія и прирученныя, съ наступленіемъ осени ушли на югъ къ границамъ лѣсовъ, и за ними послѣдовали двуногіе и четвероногіе пожиратели мяса, живущіе на ихъ счетъ: волки, собаки, кочевые пастухи и бродячіе охотники. Лебеди, гуси и вся водяная птица улетѣли предъ наступленіемъ холодовъ; даже вороны и полярныя куропатки покинули тундру и удалились въ болѣе гостепріимныя широты. Тѣ немногіе обитатели, которые остались еще на землѣ и на льдахъ, притаились теперь въ своихъ логовищахъ и терпѣливо ожидали, пока ослабѣетъ ярость вьюги и дастъ имъ возможность выглянуть на Божій свѣтъ. Бѣлые медвѣди закопались въ снѣжный заносъ на томъ мѣстѣ, гдѣ ихъ застала вьюга, и отлеживались теперь, наглухо зарытые въ сугробъ; песцы попрятались въ дуплахъ наноснаго лѣса и въ расщелинахъ между камнями; мыши

смирно сидѣли въ гнѣздахъ подъ кочками, не осмѣливаясь пробѣжать по своимъ внутреннимъ ходамъ подъ поверхностью снѣга. Огромныя, неуклюжія совы, болѣе похожія на какихъ-то бѣлыхъ звѣрей, и маленькіе, проворные горностаи, одаренные чисто птичьей легкостью и быстротой движеній, всѣ попрятались по своимъ норамъ и боялись высунуть носъ наружу, пока не пройдетъ вьюга.

Пастухи и бродячіе охотники удалились вслѣдъ за стадами сухопутныхъ животныхъ. Однако, на этихъ негостепріимныхъ берегахъ еще остались люди. Нѣдра океана подъ толстой ледяной корой изобиловали рыбой и тюленями, и изъ числа обитателей пустыни выдѣлились семьи, которыя, соблазнившись обиліемъ морской пищи, рѣшились проводить лѣто и зиму въ этой суровой странѣ. Она принадлежали къ племени людей, рожденныхъ отъ «бѣломорской жены»[1], и отъ поколѣнія къ поколѣнію, съ незапамятныхъ временъ, такъ привыкли къ борьбѣ съ моремъ, морозомъ и вѣтромъ, что безъ нея жизнь показалась бы имъ лишенной содержанія и смысла. Это были охотники, нападавшіе съ копьемъ въ рукахъ на огромнаго бѣлаго медвѣдя; мореплаватели, на утлыхъ кожаныхъ лодкахъ дерзавшіе лавировать на негостепріимномъ просторѣ полярнаго океана, люди, для которыхъ холодъ былъ стихіей, океанъ — нивой, а ледяная равнина — поприщемъ жизни, — вѣчные борцы съ природой, тѣло которыхъ было закалено, какъ сталь и мышцы не уступали неутомимостью ни одному изъ дикихъ звѣрей, пробѣгавшихъ среди пустыни, — воины, привыкшіе считать естественную смерть постыдной и безсильную старость — наказаніемъ судьбы, которое слѣдуетъ сокращать добрымъ ударомъ ножа или копья…

У того изъ выступовъ мыса, который былъ выше и находился на срединѣ между двумя другими, на широкой, слегка пологой площадкѣ стояли два шатра. Они забились въ уголъ между двумя каменными стѣнами, сходившимися подъ тупымъ угломъ, и прислонились къ самому отвѣсу скалы, преграждавшей наискось обычную дорогу сѣвернаго вѣтра.

Передній шатеръ былъ больше и благоустроеннѣе. Это былъ обыкновенный зимникъ, какъ его устраиваютъ сидячіе чукчи, а также и кочевые оленеводы, когда они останавливаются на неподвижную зимовку. Огромный кожаный шатеръ былъ плотно натянутъ и поднимался въ вышину, на полторы сажени, а въ ширину расползался не менѣе, чѣмъ на десять аршинъ. Оболочка его представляла пеструю мозаику оленьихъ и тюленьихъ шкуръ, сшитыхъ вмѣстѣ цѣликомъ и въ кускахъ, и была покрыта толстымъ слоемъ копоти и сажи; но всѣ отверстія и дырки въ ней

были тщательно заплатаны, несмотря на огромную затрату времени и заботливости, которой требовала эта работа. Полы шатра были завалены вокругъ высокимъ снѣжнымъ окопомъ и укрѣплены огромными камнями; передъ входомъ было устроено нѣчто вродѣ сѣней изъ такой же мозаичной оболочки, низко нахлобученной на небольшой деревянный остовъ навѣса и старательно подоткнутой со всѣхъ сторонъ внизу. Задній шатеръ былъ такъ низокъ, что изъ-подъ своего снѣжнаго завала походилъ скорѣе на большой сугробъ, чѣмъ на человѣческое жилище. Онъ скромно ютился на второстепенномъ планѣ, предоставляя своему переднему товарищу болѣе видную позицію, которая, впрочемъ, была также и болѣе открыта дѣйствію непогоды. Вѣтеръ залеталъ и сюда, несмотря на каменную ограду. Вьюга встряхивала плотно утоптанный снѣгъ окопа, выдавала изъ него сухія струйки снѣжной пыли, съ визгомъ и воемъ кружилась вокругъ покатыхъ верхушекъ шатровъ, какъ бы примѣриваясь, съ какого конца удобнѣе схватиться за длинные концы жердей, расходившихся вверху, какъ огромный вѣеръ, и вдругъ сдернуть прочь укрѣпленные шатры. Но плотно натянутая кожа, выпяченная извнутри толстыми пятниками[2] и раздувшаяся на встрѣчу вѣтру, какъ огромный пузырь, только гудѣла въ отвѣтъ. Она была съ внутренней стороны повсюду обшита веревками, которыя привязывались къ кольямъ, вбитымъ въ землю, и тяжелымъ санямъ, нагружённымъ разнымъ хламомъ. Зимникъ былъ сооруженъ такъ прочно, что никакая вьюга не могла причинить ему ущерба.

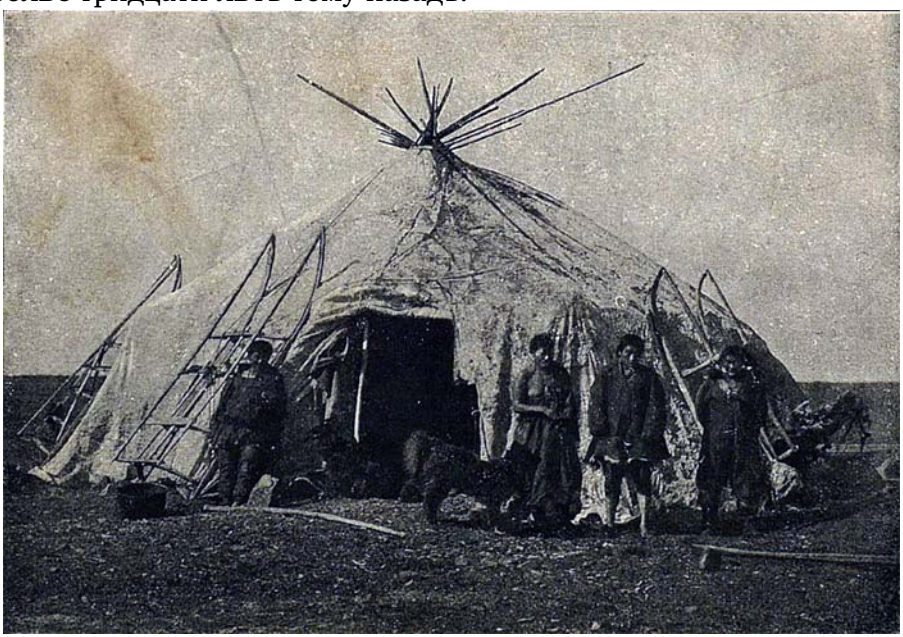
Въ самомъ центрѣ передняго шатра, на земляномъ очагѣ, горѣлъ огонь, наполняя все помѣщеніе ѣдкимъ дымомъ, который силою наружнаго вѣтра задерживался вверху у дымового отверстія и не хотѣлъ выходить вонъ. Въ задней половинѣ шатра, по чукотскому обычаю, былъ устроенъ такъ-называемый пологъ, теплое отдѣленіе, въ видѣ четвероугольнаго ящика изъ шкуръ, плотно закрытаго со всѣхъ сторонъ и покрытаго толстымъ слоемъ травы, связанной въ пучки.

Большая часть жителей шатра въ настоящее время находилась въ тепломъ отдѣленіи. Это было тѣсное помѣщеніе, длиною въ сажень, шириною сажени въ двѣ, и настолько низкое, что взрослый человѣкъ не могъ бы приподняться на ноги, подъ опасеніемъ упереться головой въ потолокъ и сдвинуть съ мѣста травяную покрышку, лежащую поверхъ оленьихъ шкуръ. Большая каменная чаша, наполненная полужидкимъ тюленьимъ жиромъ, съ зажженной свѣтильней, плававшей у передняго края, коптила на видномъ мѣстѣ, по срединѣ задней стѣнки. Другая, маленькая, горѣла въ правомъ углу недалеко отъ того мѣста, гдѣ былъ

проходъ или, лучше сказать, пролазъ изъ ящика наружу, огражденный длинной мѣховой полой, аккуратно подвернутой подъ шкуры, разостланныя на полу. Въ пологѣ было жарко. Спертый и пропитанный міазмами воздухъ чукотскаго домашняго святилища, которое хозяева постарались тщательно оградить отъ всякаго свѣжаго вѣянія, зелеными волнами носился взадъ и впередъ. Испаренія человѣческаго тѣла, прѣсный запахъ вареной ѣды и немытой посуды, которымъ была пропитана каждая шерстинка мѣховыхъ стѣнъ, ѣдкая вонь прокислыхъ шкуръ, устилавшихъ дно ящика и совершенно почернѣвшихъ отъ грязи, горькая копоть лампъ, запахъ мочи и гніющей печени, которыя употреблялись хозяйкою для выдѣлыванія кожъ, все это сливалось въ такой одуряющій букетъ, что можно было только удивляться, какъ живыя человѣческія существа могутъ выносить его безнаказанно.

Однако, въ пологѣ было восемь человѣкъ и всѣ они, по-видимому, не чувствовали никакого неудобства отъ окружающей атмосферы. Хозяинъ сидѣлъ на особо разостланной шкурѣ, на своемъ обычномъ мѣстѣ, по правую сторону лампы. Это былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, крѣпкій и здоровый, съ спокойными, проницательными глазами и худощавымъ лицомъ, обрамленнымъ жидкой бородкой и такими же усами. Кожа на его щекахъ и шеѣ совсѣмъ побурѣла отъ постояннаго пребыванія на холодномъ вѣтрѣ и походила на древесную кору. Голова его была украшена узкимъ кожанымъ ремешкомъ, усаженнымъ круглыми голубыми бусами, между которыми выдѣлялись четыре маленькихъ безформенныхъ кусочка дерева: это были *уккамаки*, заговоренные амулеты, которые должны были отстранять отъ головы владѣльца всякое зло, неудачу и болѣзнь. Такъ какъ въ пологѣ было душно, старикъ снялъ съ себя мѣховую рубаху и вмѣсто нея надѣлъ красную фуфайку американскаго происхожденія, которую онъ пріобрѣлъ во время одной изъ поѣздокъ на мысъ Пээкъ (Чукотскій носъ), гдѣ американскіе товары попадаются очень часто. Онъ уже сорокъ лѣтъ постоянно занимался торговыми разъѣздами по ледовитому побережью на протяженіи двухъ тысячъ верстъ, и его такъ же хорошо знали въ Нууканѣ и Чейтунѣ[3], какъ и въ русскихъ поселеніяхъ на Колымѣ и Анадырѣ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ неутомимыхъ бродячихъ перекупщиковъ, при помощи которыхъ бессарабскій листовой табакъ попадаетъ на рѣку Мекензи въ Америкѣ, и наоборотъ, сиводушки[4] съ рѣки Нюкома[5] отправляются въ путешествіе къ ирбитской ярмаркѣ. По первому осеннему пути на своихъ быстроногихъ собакахъ онъ доѣзжалъ въ десять дней изъ своего дома до деревни Коретовой на Колымѣ, отдавалъ тамъ торговымъ казакамъ тюленьи шкуры,

свитки моржовыхъ ремней и забиралъ кирпичи чаю и папуши листового табаку, потомъ отправлялся въ отдаленныя поселенія сидячихъ чукчей на Носу и вымѣнивалъ новые запасы ремней и чемодановъ[6] съ двойнымъ и тройнымъ барышомъ. Весной онъ приносилъ на Анюйскую ярмарку купцамъ, пріѣхавшимъ изъ Якутска, песцовъ и выпоротковъ (оленьихъ телятъ), перекупленныхъ отъ оленныхъ чукчей, а лѣтомъ, сообщившись съ другими подобными ему искателями барышей и торговыхъ приключеній, отправлялся на большой восьмивесельной байдарѣ къ островнымъ эскимосамъ или на американскій материкъ за дорогими лисицами и бобрами. Имя старика было Кителькутъ, но русскіе охотнѣе называли его Макамонкомъ по его отцу Макаму, который во время оно занимался такимъ же торгомъ и умеръ болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ.



Шатеръ.

По правую сторону большой лампы на почетномъ мѣстѣ, обыкновенно предназначаемомъ для гостей, сидѣлъ человѣкъ такого крупнаго роста и тѣлосложенія, что можно было только удивляться, какъ онъ умудрился забраться въ такой тѣсный уголъ. Онъ тоже снялъ съ себя мѣховую рубаху, и его обнаженный торсъ и руки выставляли богатырскія мышцы, какія не часто можно встрѣтить даже между закаленными витязями и борцами тундры. Лицо его было налито кровью и красно, какъ кирпичъ; низкій лобъ и квадратныя челюсти придавали его чертамъ характерное выраженіе упрямства и жестокости. Голова его сидѣла на

короткой шеѣ и была какъ-то притиснута къ плечамъ и наклонена немного впередъ. Ему приходилось смотрѣть на Божій свѣтъ исподлобья и притомъ такимъ мрачнымъ и злобнымъ взглядомъ, который не обѣщалъ ничего хорошаго. Говорятъ, такъ держитъ голову и такъ смотритъ загривистый медвѣдь-шатунъ[7], встрѣтившись съ человѣкомъ и питая намѣреніе на него напасть.

Это дѣйствительно былъ гость, пріѣзжій съ Чаунской тундры изнутри страны, по имени Яякъ. Кочевья чаунскихъ жителей отстоятъ отъ Каменнаго мыса не болѣе, какъ верстъ на триста, и они часто пріѣзжали къ Кителькуту за чаемъ и табакомъ, выбирая время, когда онъ возвращался изъ поѣздокъ въ русскія поселенія. Съ тѣхъ поръ, какъ Яякъ пріѣхалъ, прошло уже дней десять, но разыгравшаяся непогода удержала его въ шатрѣ Кителькута долѣе, чѣмъ онъ предполагалъ.

Рядомъ съ Яякомъ сидѣлъ маленькій старичокъ съ быстрыми глазками, какъ у обезьяны и сморщеннымъ лицомъ совершенно коричневаго цвѣта. Это былъ Уквунъ, хозяинъ другого шатра, сосѣдъ и сожитель Кителькута по стойбищу. При условіяхъ разрозненной жизни въ пустынѣ, маломощные и недостаточные люди никогда не селятся одни; они рисковали бы умереть съ голоду безъ того, чтобы кто-нибудь даже узналъ объ этомъ. Семьи, которыя не разсчитываютъ прокормиться собственными усиліями, присосѣживаются къ болѣе сильнымъ и восполняютъ недостатки своего промысла ихъ подачками, не оказывая взамѣнъ никакихъ услугъ и даже не чувствуя особой благодарности за помощь. Уквунъ находился именно въ такихъ отношеніяхъ къ семейству Кителькута. Онъ не имѣлъ сыновей и во время двухмѣсячной зимней тьмы не могъ съ достаточной бдительностью наблюдать за своими сѣтьми, такъ что его собаки умерли бы съ голоду, если бы старый Кителькутъ каждый разъ, когда его охотники привозили домой моржа или нѣсколько тюленей, не удѣлялъ ему извѣстной части промысла. О пищѣ для людей не стоило и говорить. За столомъ жителя пустыни каждый голодный имѣетъ право получить свою долю, кто бы онъ ни былъ, соплеменникъ или чужеродецъ, сосѣдъ на жительствѣ или пришлецъ изъ отдаленной земли, и отступленіе отъ итого обычая считается тяжкимъ грѣхомъ, который не замедлитъ навлечь на виновнаго наказаніе Нагинэна[8]. Уквунъ, впрочемъ, былъ человѣкъ довольно угрюмаго нрава и въ обыкновенное время предпочиталъ сидѣть въ собственномъ шатрѣ и уничтожать со своими домочадцами долю общаго промысла, не приходя въ гости къ хозяину. Въ настоящее время онъ сидѣлъ въ шатрѣ Макамонка ради гостя, который ему приходился двоюроднымъ братомъ и въ первый разъ завелъ торговыя сношенія съ Кителькутомъ именно

при его посредствѣ.

Нуватъ, единственный сынъ Кителькута, лежалъ на брюхѣ, помѣстивъ свои локти въ промежуткѣ между Яакомъ и Уквуномъ и опираясь лицомъ на сложенныя ладони. Онъ какъ будто дремалъ, но время отъ времени поднималъ голову и открывалъ совсѣмъ молодое лицо, блѣдное, худощавое, какъ у отца, съ тонкимъ, рѣзко очерченнымъ носомъ и страннымъ, задумчивымъ, даже мечтательнымъ взглядомъ глубокихъ свѣтлокарихъ глазъ. Несмотря на позу Нувата, въ глазахъ его не было сонливости. Онъ скорѣе смотрѣлъ, какъ человѣкъ, который всецѣло погруженъ въ самого себя и долженъ каждый разъ сдѣлать усиліе для того, чтобы оторваться отъ своего внутренняго міра и обратить вниманіе на окружающихъ. Лицо его поднималось какъ разъ на встрѣчу отцу, и каждый разъ, когда Кителькуту приходилось уловить выраженіе этого страннаго взгляда, по его собственному лицу пробѣгала тѣнь.

Нуватъ, несмотря на свои молодые годы, былъ лучшимъ промышленникомъ между всѣми охотниками тундры на триста верстъ протяженія. Никто не умѣлъ съ такой искусной осторожностью подкрасться къ старому моржу, отдыхающему на льдинѣ, или выслѣдить горнаго барана на отрогахъ хребта, синѣвшаго на югѣ. Онъ особенно славился легкостью на бѣгу; говорили, что по гладкому морскому берегу онъ въ состояніи настигнуть дикаго оленя. Уже третій годъ онъ бралъ призъ на большомъ весеннемъ бѣгу, который устраивали «носовые» торговцы, возвращаясь съ анюйской ярмарки.

Кителькутъ очень гордился удалью своего сына и разсказывалъ о немъ и въ землянкахъ островитянъ, когда его языкъ развязывался отъ американскаго рома, и въ рубленыхъ домахъ колымскихъ казаковъ, угощаясь сибирской сивухой.

— Я объ одной ногѣ лучше хожу, чѣмъ другіе о всѣхъ четырехъ! — хвастливо говорилъ онъ. — Я только ѣзжу по гостямъ, утѣшаюсь бесѣдой и разсматриваю чужое, а Нуватъ кормитъ и меня, и собакъ, и сосѣдей. Этотъ парень — утѣшеніе. Пусть прикочуютъ еще десять шатровъ, его руки всѣмъ принесутъ пищу!

Но съ годъ тому назадъ съ Нуватомъ вдругъ что-то приключилось. Во время осенней охоты на дикихъ оленей онъ, по обыкновенію, ушелъ изъ дому съ ружьемъ за плечами, собираясь вернуться вечеромъ, такъ какъ въ добычѣ въ это время недостатка не было, но вернулся только черезъ три дня и, молча положивъ ружье, забрался въ пологъ. О добычѣ не было и рѣчи. Повидимому, онъ даже не сдѣлалъ ни одного выстрѣла, такъ какъ лоскутъ кожи, обернутый вокругъ ружейнаго замка, былъ

повязанъ съ прежней тщательностью, какъ будто его совсѣмъ не развязывали въ походѣ. Въ пологѣ онъ пролежалъ еще сутки, отворотившись къ стѣнѣ, не принимая пищи и не отвѣчая на вопросы. Онъ ни тогда, ни послѣ не хотѣлъ объяснить ни одной живой душѣ, что случилось съ нимъ въ пустынѣ. Быть можетъ, впрочемъ, онъ и не могъ бы дать опредѣленнаго объясненія. Судя по аналогичнымъ примѣрамъ, можно было предполагать, что онъ вдругъ услышалъ въ окружающей природѣ или въ своей душѣ смутный, но властный голосъ внѣшняго духа[9], который приказывалъ ему отречься отъ обыденной жизни и посвятить свои мысли и чувства новому таинственному служенію.

Юноши, которые впослѣдствіи должны сдѣлаться великими шаманами, на поворотѣ половой зрѣлости иногда слышатъ такой голосъ или встрѣчаютъ знакъ ничтожный и непонятный для непосвященныхъ, но имъ внезапно открывающій глаза на ихъ грядущее призваніе. Сѣрая чайка, пролетѣвшая три раза мимо, камень странной формы, попавшійся подъ ноги, съѣдобный корень, завернувшійся необычайнымъ узломъ, въ состояніи произвести полный переворотъ въ настроеніи человѣка, обреченнаго *вдохновенію*.

Черезъ нѣсколько дней наступилъ праздникъ дикихъ оленей, когда, по обычаю, мужчины и женщины должны по очереди показывать свое шаманское искусство, поколачивая бубенъ и распѣвая обрядовые напѣвы. На этомъ праздникѣ оказалось, что Нуватъ пріобрѣлъ шаманскую силу совсѣмъ необычной для него величины; кромѣ своихъ семейныхъ напѣвовъ, онъ сталъ распѣвать множество другихъ, самыхъ разнообразныхъ, неизвѣстно откуда сошедшихъ въ его горло. Мало того, голоса духовъ начали откликаться на его голосъ изъ разныхъ угловъ темнаго полога, когда лампа была погашена по обычному требованію *вдохновенныхъ*[10]. Наконецъ, прошаманивъ около часа, Нуватъ вдругъ удалился на своемъ бубнѣ въ надзвѣздныя страны и совершенно свободно носился тамъ, т.-е. носился, конечно, его духъ, между тѣмъ какъ тѣлесная оболочка безжизненно лежала на шкурѣ. Такъ какъ ни одинъ изъ присутствовавшихъ на праздникѣ шамановъ не умѣлъ, какъ слѣдуетъ, летать на бубнѣ, то Нувата тутъ же провозгласили нововдохновленнымъ, т.-е. молодымъ шаманомъ, только-что начавшимъ пріобрѣтать шаманскую способность и обѣщающимъ имѣть въ будущемъ большую силу. Послѣ этого Нуватъ нѣсколько разъ шаманилъ и пѣлъ въ пологу, но задумчивость его не проходила. Какое-то странное сознаніе неудовлетворенности лежало на его лицѣ, между тѣмъ какъ обыкновенно первое обнаруженіе шаманской силы у юношей ведетъ за собою подъемъ

жизненной энергіи. Оттого-то старикъ съ такимъ опасеніемъ поглядывалъ на сына. Можно было ожидать, что, высшія силы хотятъ привести Нувата къ какому-нибудь дальнѣйшему шагу на поприщѣ вдохновенія.

— Такъ всегда! — съ горечью думалъ Кителькутъ, — самыхъ искусныхъ, самыхъ удалыхъ, гордыхъ умомъ, храбрыхъ сердцемъ, Наргинэнъ забираетъ на службу себѣ; скупится оставлять ихъ людямъ.

Онъ сильно опасался, чтобы высшія силы не побудили Нувата покинуть отцовскій домъ и удалиться въ какую-нибудь отдаленную страну или же не приказали бы отказаться отъ всѣхъ мужскихъ промысловъ и занятій и принять на себя женскую одежду и естество, какъ это нерѣдко бываетъ съ молодыми нововдохновленными шаманами.

У второй лампы, въ сторонѣ отъ другихъ, сидѣли рядомъ двое подростковъ: мальчикъ и дѣвочка. Мальчику могло быть лѣтъ двѣнадцать, дѣвочкѣ немного меньше. Оба они были совсѣмъ раздѣты и сидѣли другъ подлѣ друга, набросивъ себѣ на колѣни старое мѣховое одѣяло и, не обращая вниманіе на старшихъ, съ большимъ увлеченіемъ занимались своеобразной игрой, весьма распространенной между чукотскими ребятишками и состоящей въ выдѣлываніи различныхъ арабесокъ и фигуръ изъ одной длинной нити, которую они переплетаютъ по очереди на своихъ десяти пальцахъ, снимая другъ у друга петли такимъ образомъ чтобы каждый разъ получалось новое изображеніе. Особенно искусенъ въ этой игрѣ былъ мальчикъ, запускавшій свои мизинцы и толстые пальцы съ различными хитроумными разсчетами то въ ту, то въ другую петельку плетенки; потомъ онъ вдругъ сдергивалъ ее съ пальцевъ подруги и, раздвинувъ далеко руки, созидалъ передъ ея изумленными глазами продолговатую рамку, внутри которой появлялся старый моржъ, ползущій по льдинѣ, охотникъ, преслѣдующій оленя, нарта, запряженная длиннымъ рядомъ собакъ или какое-нибудь иное любопытное изображеніе, которое, вдобавокъ, могло двигаться слѣва на-право и справа на-лѣво и вдругъ исчезало при особомъ чудодѣйственномъ движеніи пальцевъ творца. У дѣвочки на плетенкѣ выходили только изображенія орудій женской работы и разной домашней утвари: ножницы, деревянный треножникъ съ котломъ, подвѣшеннымъ на крюкѣ, мотыга для копанія корней и тому подобныя простыя фигуры, не требовавшія особеннаго искусства.

Дѣвочка была сиротка безъ отца и матери, приходилась двоюродною племянницей Кителькуту и состояла на его попеченіи и подъ его властью, такъ какъ онъ былъ самымъ старшимъ изъ ея родственниковъ. Мальчикъ былъ вывезенъ

Кителькутомъ изъ поселка Якана года два тому назадъ въ качествѣ пріемнаго мужа для маленькой десятилѣтней Черинги. Кровопомазаніе было уже совершено, и Кайменъ навсегда сдѣлался членомъ семьи Кителькута. Брачная чета росла и воспитывалась въ шатрѣ Кителькута въ ожиданіи того, когда формальное сожительство превратится въ дѣйствительное, что должно было случиться при первомъ побужденіи природы. Такіе браки часто встрѣчаются на тундрѣ, и маленькій пріемный зять, достигнувъ возмужалости, вступаетъ къ своему тестю и воспитателю въ сыновнія отношенія, на что и разсчитывалъ, конечно, старый Кителькутъ, имѣвшій только одного сына.

Старая Рынтына, жена Кителькута, сидѣла рядомъ съ дѣтьми, держа въ рукахъ пучокъ расчесанныхъ сухожилій, похожій на льняную кудель. Она сучила и скручивала изъ нихъ толстыя и крѣпкія нитки, складывая ихъ въ маленькій кожаный мѣшочекъ. Она собиралась перемѣнять кожаную обшивку на одноручныхъ байдаркахъ[11] своихъ домашнихъ промышленниковъ и приготовляла теперь необходимый запасъ нитокъ и шнурковъ. Изъ-за ея плеча выглядывало маленькое старушечье личико съ совершенно птичьимъ выраженіемъ и съ глубокими складками около глазъ и губъ. Ввалившіяся щеки и подбородокъ некогда были украшены тонкими синими пунктированными линіями татуировки, которая теперь почти совершенно сливалась съ морщинами. Это была Анека, старая жена Уквуна, совсемъ подъ стать своему мужу. Она была родомъ изъ-за морского поворота, т. е. съ тихо-океанскаго взморья Азіи по южную сторону Берингова пролива, и происходила отъ небольшого племени *керекъ*, отличнаго отъ чукчей по языку и весьма презираемаго ими за бѣдность и робкій нравъ. Сорокъ лѣтъ жизни среди чукчей не могли сгладить для Анеки ея чужероднаго положенія. Если Уквунъ не могъ плотно ужиться ни въ какомъ поселке, то это болѣе всего зависѣло отъ неудовольствій, возникавшихъ между женами природныхъ жителей и его женой. И въ настоящемъ случае было не лучше. Рынтына всегда громко выражала неудовольствіе, отдавая чужестранкѣ часть пищи, приносимой ея сыномъ.

— И не могъ ты выбрать себѣ жены между настоящими людьми![12] — говорила она, не обинуясь, Уквуну. — Развѣ мало намъ своего племени, что мы должны набивать рты *керековъ*.

Обижаться Уквуну не приходилось, ибо, конечно, насущная пища гораздо важнѣе какихъ бы то ни было попрековъ, тѣмъ болѣе, что старикъ сознавалъ, что, въ сущности, хозяйка стойбища права, и ему слѣдовало выбрать себѣ подругу въ средѣ болѣе уважаемой, чѣмъ *кереки*.

Жили между собой Уквунъ и Анека очень согласно, несмотря на то, что у Анеки не было ни одного ребенка, а это составляетъ великое несчастіе и униженіе для чукотской женщины. Когда Уквуну удавалось добыть тюленя, или когда жена его получала отъ сосѣдокъ часть чужого промысла, они непрерывно варили и уничтожали свою добычу, пока оставался еще хоть одинъ кусокъ. Когда Ѣды не было, они голодали. Въ этомъ состояла ихъ жизнь, уже Богъ знаетъ, сколько лѣтъ, и они привыкли къ ней. Впрочемъ, они были очень чутки къ малѣйшему неравенству при раздѣлѣ добычи и обижались, если имъ на долю выпадали менѣе жирные куски.

Яякъ и Кителькутъ молчали. Съ ранняго утра они сидѣли безвыходно въ пологѣ и успѣли смертельно надоѣсть другъ другу. Всѣ новости были пересказаны съ обѣихъ сторонъ, а наиболѣе интересныя повторены вновь со всѣми подробностями и даже прикрасами, какія только могло подсказать скучающее воображеніе и ничѣмъ не наполненный досугъ, такъ что теперь говорить было не о чемъ. Правда, кромѣ разговора, нѣкоторое развлеченіе доставляютъ еще Ѣда и питье, и каждую трапезу они старались тянуть, какъ можно дольше. Но, къ сожалѣнію, это времяпрепровожденіе не могло продолжаться безъ перерыва, а, напротивъ, требовало значительныхъ промежутковъ отдыха.

— Что же, Катыкъ! — наконецъ, лѣниво спросилъ Кителькутъ. — Такъ и задушили?.. А?

— Если самъ проситъ, — проворчалъ Яякъ, не поднимая головы, — развѣ откажутъ?

— А кто же душилъ? — спросила изъ своего угла Рынтына, продолжая скручивать свои безконечныя нитки на голомъ колѣнѣ.

— Жена держала на колѣняхъ, сыновья тянули веревку, — проворчалъ Яякъ послѣ нѣкоторой паузы еще болѣе недовольнымъ тономъ.

— Жена держала?.. гычь![13] — повторила Рынтына протяжно. — А онъ почему просилъ смерти?

Дѣло шло о добровольной смерти одного чаунскаго жителя, который, подобно Яяку, ежегодно пріѣзжалъ къ Кителькуту для торга, но въ эту зиму вдругъ предпочелъ потребовать отъ собственныхъ сыновей, чтобы они ему перетянули горло веревкой, что и было благополучно исполнено. Присутствующіе уже выслушали изъ устъ Яяка подробное описаніе этой интересной исторіи, но Рынтына отъ нечего дѣлать была не прочь услышать повтореніе.

Однако, Яякъ не чувствовалъ расположенія удовлетворить ея желаніе.

— Я вѣдь говорилъ уже, — отрывисто сказалъ онъ. — Надоѣло на солнце смотрѣть, захотѣлъ уйти къ предкамъ. Развѣ я что знаю!

И онъ выпятилъ свои толстыя губы съ такимъ рѣшительнымъ видомъ, что Рынтына сразу удержала новый вопросъ, бывшій у нея на языкѣ. Видно было, что онъ рѣшительно отказывается повторить разсказъ.

— У, пріятель! — задумчиво проговорилъ Кителькутъ. — Надоѣло на солнце смотрѣть! Охъ! Старый пріятель отправился одинъ! Не захотѣлъ подождать товарища!.. Всѣ уходятъ старые, по одному! — продолжалъ онъ еще задумчивѣе. — Видно, и до меня очередь доходитъ.

Старикъ въ свободныя минуты любилъ пофилософствовать на эту тему.

— Будетъ тебѣ! — вдругъ сердито сказалъ Яякъ. — Вотъ были, вотъ не стали! Не все ли равно? Развѣ мы бабы? Скажи лучше: хорошо погуляли у таньговъ[14] въ деревянныхъ домахъ?

— Эгэй! Погуляли! — отвѣтилъ Кителькутъ довольнымъ тономъ. — Какъ слѣдуетъ развлекли скуку. У Кулючина[15] очень крѣпкая… За черную бутылку — красную лисицу. На цѣлый день оглушишься…

Лица всѣхъ присутствующихъ оживились, старуха отложила на колѣни свою кудель и приготовилась слушать, машинально поглаживая ее рукой. Даже Нуватъ на минуту приподнялъ голову, но, впрочемъ, тотчасъ же опять приникъ къ своимъ ладонямъ. Водка была единственнымъ предметомъ разговора, который не допускалъ истощенія.

— А сколько бутылокъ? — спросилъ Яякъ съ жаднымъ блескомъ въ глазахъ.

— Сколько угодно, — нѣсколько уклончиво отвѣтилъ Кителькутъ. — Водка не кончалась. Уѣхали, не истощивъ запаса.

— Ухъ! — широко вздохнулъ великанъ. Ему вдругъ не хватило воздуха въ тѣсномъ пологу.

— Янынтынъ переколотилъ всѣхъ людей въ Коретовой, — сказалъ Кителькутъ, улыбаясь. — Этотъ человѣкъ, когда напьется *сердитой воды*, хуже чорта.

— Всѣхъ людей? — повторилъ Яякъ съ недовѣріемъ.

— Такъ-таки всѣхъ до одного человѣка! — подтвердилъ Кителькутъ. — Баба тамъ есть старая, одна въ домѣ живетъ, и ту не пропустилъ. У него былъ чемоданъ съ американскими подпилками, чемоданомъ ее по головѣ огрѣлъ. Она послѣ него до вечера голосомъ кричала со страха.

— Го-го-го! — радостно засмѣялся Яякъ. — Чемоданомъ.

— Другой тамъ есть, Мичаньконъ (Мишанька), *человѣкъ съ*

табачнымъ носомъ… Только хотѣлъ нюхнуть, а Янынтынъ ударилъ по табакеркѣ и приплюснулъ ее къ носу. Насилу отчихался..

— Го-го-го! — смѣялся Яякъ еще радостнѣе.

— Одну бабу съ избы столкнулъ; два мужика унять хотѣли — обоихъ повалилъ, обоихъ лозою далъ, до третьяго голосу кричали, — продолжалъ Кителькутъ описывать подвиги неизвѣстнаго Янынтына.

— А за что онъ разсердился? — спросилъ Яякъ, нѣсколько успокоившись отъ смѣха.

— У Кулючина разбавленную бутылку взялъ. Вотъ! — объяснилъ Кителькутъ.

— Такъ и надо, — одобрилъ Яякъ, — такъ ихъ и надо! А къ Кулючину ходилъ?

— Зачѣмъ пойдетъ? — сказалъ Кителькутъ. — Онъ не вовсе глупъ. То казаки. У нихъ длинные ножи (сабли) есть. Еще могли бы причинить вредъ.

Яякъ не выразилъ особаго восхищенія мудростью этихъ соображеній.

— А ты кого поколотилъ? — спросилъ онъ полушутя.

— Мой умъ не тонетъ въ сердитой водѣ, — сказалъ Кителькутъ. — Смолоду живу, гостя. Ѣмъ чужое мясо чаще, чѣмъ свое. Стану ли дѣлать злое въ чужихъ домахъ?

— А сюда не привезъ? — полуутвердительно сказалъ Яякъ.

— Везъ, да на полдорогѣ кончилъ, — признался старикъ. — Сердце не можетъ терпѣть, зная ея присутствіе! Ему везъ, да не смогъ, — указалъ онъ на сына.

Нуватъ опять поднялъ голову.

— Пускай! — сказалъ онъ небрежно. — По крайней мѣрѣ, посуду видѣлъ, — довольно этого.

— А какая посуда? — спросилъ торопливо Яякъ. — Деревянная? Давайте вываривать[16].

— Вываривали дважды! — отвѣтилъ старикъ. — Первый разъ, какъ слѣдуетъ въ голову вошло. Потомъ ужъ худо. Теперь ничего нѣтъ.

— Каттамъ мэркичкинъ[17], — не вытерпѣлъ Яякъ, чтобы не выругаться. — Сами лакаете, какъ собаки, а мы облизываемъ губы.

Кителькутъ пожалъ плечами.

— Сперва свое брюхо, потомъ брюхо дѣтей, потомъ сосѣдей, потомъ гостей! — отвѣтилъ онъ пословицей.

— Когда Пуречи беретъ «воду» у бородатыхъ[18] — вдругъ заговорилъ Уквунъ, — съ огненныхъ кораблей — большія бочки, выше человѣка… не пьетъ одинъ, ставитъ на берегу… всѣ сосѣди

пьютъ досыта… цѣлые поселки, женщины, дѣти… черпаютъ котлами, наливаютъ въ миски, хлебаютъ ложками, какъ похлебку… Не приходятъ въ умъ по цѣлой недѣлѣ…

Голосъ Уквуна звучалъ горечью. Кителькутъ пилъ ополоски самъ со своей семьей, не приглашая къ участію Уквуна и его жену.

Кителькутъ опять пожалъ плечами.

— Пуречи богатъ! — сказалъ онъ. — Живетъ подъ суконной крышей. Его шатеръ лучше нашей одежды. Можетъ давать!

Пуречи былъ самый богатый изъ торговыхъ чукчей въ поселкѣ Уэленъ на оконечности мыса Пээка, куда американскія суда приходятъ по нѣскольку разъ въ лѣто. Чукчи съ завистливымъ восхищеніемъ передавали, что у него даже лѣтній шатеръ сдѣланъ изъ краснаго сукна.

— Сами пьете водку, — упрямо повторилъ Яякъ, — намъ бы хоть чай давали.

— Развѣ я не пою чаемъ? — съ упрекомъ сказалъ Кителькутъ. — Если ты хочешь чаю, — скажи!

— Ей, наружные! — крикнулъ онъ, нагибаясь къ выходной стѣнѣ.

— Го? — отозвался звонкій женскій голосъ изъ наружнаго отдѣленія.

— Скорѣй чайникъ! — крикнулъ старикъ. — Гость пить хочетъ! Торопитесь!

— Я не о томъ! — поспѣшно возразилъ Яякъ. — Твое угощеніе претъ изъ брюха… И мнѣ, и упряжкѣ… Я объ иномъ чаѣ. Ты знаешь самъ…

Дѣйствительно, Кителькутъ не хуже другихъ жителей тундры исполнялъ обязанности гостепріимства и все это время угощалъ Яяка лучшимъ, что имѣлось между его запасами. Упряжку его онъ кормилъ наравнѣ съ своими собственными собаками, и готовъ былъ кормить ее еще сколько угодно времени.

Зато онъ оцѣнилъ чай и табакъ, привезенные отъ русскихъ и назначенные въ продажу, слишкомъ дорогой цѣной и рѣшительно отказывался уступить что-либо.

— Что дѣлать! — кротко сказалъ Кителькутъ въ отвѣтъ на упрекъ. — Мало привезъ отъ русскихъ. Въ одиночку ѣздилъ. Много ли положишь на одну нарту? А у меня много друзей. Еще не одинъ человѣкъ пріѣдетъ. Каждый годъ пріѣзжаютъ. А отказывать — грѣхъ.

— А развѣ давать по табачному листу за выпоротка не грѣхъ? — прямо и грубо спросилъ Яякъ. — Или я на полѣ подбираю шкуры, или у меня горло не такое, какъ у васъ?

Сердце его сжалось, когда онъ думалъ объ условіяхъ,

предложенныхъ Кителькутомъ. Несмотря на свою собачью упряжку, онъ принадлежалъ къ оленнымъ чукчамъ и выросъ у стада. Его единственнымъ товаромъ были выпоротки, красивыя шкурки молодыхъ оленьихъ телятъ, во множествѣ погибающихъ каждую весну вскорѣ послѣ рожденія. Передъ отъѣздомъ на Каменный Мысъ онъ обобралъ выпоротковъ у всѣхъ своихъ друзей и знакомыхъ и обѣщалъ взамѣнъ привести соотвѣтственное количество чаю и табаку. А теперь Кителькутъ давалъ ему такую ничтожную цѣну, что со стороны его довѣрителей непремѣнно должны были возникнуть обвиненія въ утайкѣ. На Чаунѣ никто не повѣритъ, что выпоротка можно отдавать только за одинъ листокъ табаку. О какомъ-нибудь барышѣ въ свою пользу нельзя было и думать.

— Что же! — сдержанно возразилъ Кителькутъ. — Дѣйствительно, телячья шкура сама достается человѣку. Не отъ ружья, не изъ сѣти. Содрана съ трупа, какъ найдена въ полѣ… Безъ труда.

— Да, безъ труда! — съ негодованіемъ возразилъ Яякъ. — А попробовали бы вы, морскіе, походить за стадомъ! Вотъ бы узнали, какъ тутъ нѣтъ труда. Ваша забота — только убить, да домой принести, а наши ноги отъ малыхъ лѣтъ не знаютъ покоя при обереганіи… Ночью безъ сна, зимой въ мятель, лѣтомъ подъ дождемъ — все одна и та же забота.

Вѣчная рознь между приморскими охотниками и тундренными пастухами выразилась въ этомъ короткомъ обмѣнѣ словъ.

Кителькутъ смолчалъ. Въ его расчеты не входило ссориться съ гостемъ.

— Телячья шкурка — наша жизнь! — продолжалъ Яякъ такъ же сердито. — Онъ бы выросъ, былъ бы большой олень; а теперь отъ него только одна шкурка и остается… А ты даешь по листу.

— Такъ лучше не брать, — невинно возразилъ Кителькутъ. — У меня у самого товару мало. А русскіе на ярмаркѣ дадутъ дороже. Лучше отложить до ярмарки.

— Я знаю, — снова заговорилъ Яякъ съ растущимъ гнѣвомъ. — Тебѣ не нужно выпоротковъ. Ты хочешь лисицъ, бобровъ; а гдѣ я возьму бобровъ? Развѣ я кавралинъ[19]; развѣ Ѣзжу за море къ айванамъ (эскимосы)?

— Я торговецъ, — сказалъ Кителькутъ, — самъ не ношу ни лисицъ, ни выпоротковъ. Отдаю чужеплеменникамъ. Что предпочитаютъ русскіе купцы, то предпочитаю и я.

— Торговецъ! — съ негодованіемъ передразнилъ Яякъ. — Только и думаешь, чтобы изъ одной папуши табаку сдѣлать двѣ; не помнишь, что чужое горло тоже жаждетъ горькаго. Мы развѣ не

такъ же мучимся, какъ ты, не имѣя питья? Твой отецъ не поступалъ такъ, Кителькутъ…

II.

Въ наружномъ отдѣленіи шатра тоже были люди. Голосъ, отвѣтившій старику, принадлежалъ молодой дѣвушкѣ, сидѣвшей на корточкахъ у правой стороны, гдѣ было меньше дыма. Откликнувшись на зовъ, она, однако, осталась сидѣть на своемъ мѣстѣ и, въ свою очередь, окликнула другую женскую фигуру, сидѣвшую у самаго огнища, а эта немедленно полѣзла въ темный уголъ за порогомъ и принялась выбрасывать оттуда одно за другимъ короткія полѣнья дровъ. Черезъ нѣсколько минутъ огонь вспыхнулъ ярко и освѣтилъ весь шатеръ. Женщина съ дровами подвѣсила надъ очагомъ на деревянныхъ крючьяхъ огромный закопченный чайникъ и такой же огромный котелъ изъ чернаго желѣза и потомъ опять усѣлась у огнища. Лицо ея было ясно видно при свѣтѣ огня. Ей могло быть лѣтъ сорокъ или сорокъ-пять. На лбу вытянулся широкій шрамъ неправильной формы, — очевидно, слѣдъ зажившей язвы. Носъ былъ тоже испорченъ и какъ-то неестественно согнутъ на сторону. Это были послѣдствія ужасной болѣзни, въѣвшейся въ плоть и кровь всѣхъ племенъ полярнаго сѣверо-востока. Вельвуна была родственница Уквуна и выросла въ его жилищѣ. Съ ранней юности она была безотвѣтной рабыней и слугой у этой обнищалой семьи паріевъ и исполняла всѣ прихоти старой Анеки. Выросши, она попробовала искать счастья въ чужихъ шатрахъ, но духи Этэля[20] были къ ней неблагосклонны и изувѣчили ея лицо. Мужчины пренебрегали ею, и она была принуждена вернуться подъ нищій кровъ, дававшій пристанище ея юношескимъ годамъ. Въ настоящее время она считалась второй женой Уквуна, такъ какъ старикъ не погнушался возложить брачное кровопомазаніе[21] на ея нечистое лицо, рискуя оскорбить чистоту своего домашняго огня[22], для того, чтобы получше закрѣпостить себѣ эту безотвѣтную рабочую силу. Руки Вельвуны, на зло силамъ Этэля, сохранили свою прежнюю крѣпость и исполняли теперь всѣ домашнія работы по женскому хозяйству Анеки. Когда женщины передняго шатра, взамѣнъ за участіе въ добычѣ, требовали отъ семьи Уквуна помощи при ея уборкѣ, Анека постоянно посылала свою младшую подругу. Когда Уквунъ лѣнился привезти дровъ на нартѣ, Вельвуна съ топоромъ въ рукахъ и ремнемъ подъ мышкой отправлялась по берегу собирать хворостъ и возвращалась, сгибаясь подъ тяжестью вязанки. Приготовленіе пищи и запасовъ, выдѣлываніе кожъ и

шитье одежды, — все лежало на ней. И теперь Анека сидѣла, сложа руки въ пологу, вмѣстѣ съ почетными людьми, а Вельвуна возилась въ наружномъ отдѣленіи у дымнаго огнища, съ чайниками и котлами.

Огонь освѣтилъ также и дѣвушку, сидѣвшую справа. Около нея на обрывкѣ шкуры полулежалъ молодой парень, опираясь на локоть. Они очень близко придвинулись другъ къ другу и, повидимому, вели весьма серьезный и оживленный разговоръ, который на минуту прервался отъ Кителькутова окрика, но тотчасъ же возобновился снова. Буря на дворѣ такъ шумѣла, и крыша шатра такъ гудѣла и вздрагивала, что имъ приходилось каждый разъ сдвигать свои лица до прикосновенія, чтобы разслышать сказанныя слова.

— Такъ ты говоришь: пестрые пыжики? — сказала дѣвушка, вопросительно взглядывая въ лицо своему собесѣднику.

— Всѣ пестрые до одного, — подтвердилъ онъ, энергично мотнувъ головой. — Мои сестры иныхъ не носятъ. И каждую осень шьютъ по двѣ новыхъ одежды.

— По двѣ! — протянула дѣвушка недовѣрчиво.

— Право, по двѣ! — сказалъ парень. — Одну для дома, а другую для ѣзды въ гости, — одна другой красивѣе. Спина черная; опушка на груди изъ тройного мѣха — все разнаго цвѣта; штаны съ пестринкой; спереди пестринка и сзади пестринка, у самаго колѣнка, какъ у осенней куропатки.

— Правда, красиво! — согласилась дѣвушка, — черное къ пестрому пристаетъ.

— А тебѣ, — сказалъ парень выразительно, — я буду отбирать самыя лучшія шкуры. У меня и теперь запасены. Какъ пріѣдешь, такъ и сшей.

Дѣвушка радостно улыбнулась.

— Непремѣнно сошью! — сказала она.

— А у каждой женщины есть свои пряговые олени, — продолжалъ молодой человѣкъ. — Только она и ѣздитъ на нихъ. Прибѣгаютъ на зовъ, пьютъ изъ рукъ[23].

— Люблю оленей! — сказала дѣвушка.

— А весной домашніе люди пятнаютъ своимъ клеймомъ молодыхъ телятъ, по два, по три, по пяти, чтобы росли на ихъ счастье. Каждый человѣкъ — женщины, дѣвушки, дѣти… Кто счастливъ, у того размножаются, какъ комары на пригрѣвѣ.

— И ты тоже будешь пятнать, — заключилъ онъ.

— Люблю и телятъ! — сказала дѣвушка.

— Моя мать добрая, мои сестры веселья! — продолжалъ ея собесѣдникъ, становясь все краснорѣчивѣе. — Будутъ тебѣ добрыми подругами. Одна будетъ съ тобой разговаривать въ

шатрѣ, чтобы ты не знала скуки, а другая будетъ дѣлать твою работу. Не услышишь во вѣки худого слова. Будутъ держаться за тебя обѣими руками. Не дадутъ выйти изъ шатра одной…

Дѣвушка наклонила свою голову еще ближе, безъ сомнѣнія, затѣмъ, чтобы лучше разслышать заманчивыя обѣщанія. Лица разговаривавшихъ встрѣтились, и молодой человѣкъ предпочелъ пустить въ ходъ такія объясненія, вразумительность которыхъ не страдала отъ шума метели. Дѣвушка не думала уклоняться отъ его объятій. Она сама закинула ему руку на шею и дважды поцѣловала его въ губы.

— А теперь будетъ! — сказала она, вырываясь и дѣлая видъ, что хочетъ подняться. — Надо закуску ладить. Мать кричать станетъ.

Но молодой человѣкъ удержалъ ее за одежду.

— Сиди, успѣешь! — сказалъ онъ. — Недавно Ѣли, еще не скоро чай. Буду еще разсказывать. — И разговоръ возобновился съ прежнимъ воодушевленіемъ.

Это была нареченная чета. Дѣвушка была дочерью стараго Кителькута; молодой человѣкъ происходилъ изъ оленной семьи и пришелъ съ верховьевъ рѣки Куаты, протекающей по сосѣдству, съ тѣмъ, чтобы по обычаю прожить зиму и лѣто въ шатрѣ тестя и отплатить за невѣсту усерднымъ трудомъ на пользу ея семьи. Стадо его осталось на попеченіи его родныхъ, и онъ уже болѣе полугода былъ вѣрнымъ товарищемъ Нувата на промыслѣ и работѣ. Онъ вставалъ раньше всѣхъ въ домѣ и засыпалъ послѣднимъ, и только въ такіе промежутки невольной праздности, какъ теперь, могъ улучить время, чтобы перекинуться нѣсколькими словами со своей невѣстой. Но онъ покорялся необходимости, работалъ безъ малѣйшаго ропота съ утра до вечера и терпѣливо ждалъ. До конца срока оставалось еще почти полгода, а отцы невѣстъ въ подобныхъ случаяхъ проявляютъ очень большую придирчивость. Малѣйшая неисправность могла безвозвратно лишить его приза. Впрочемъ, пока все шло хорошо. Старикъ былъ доволенъ его стараніемъ, а Нуватъ даже близко подружился съ своимъ будущимъ зятемъ. Старый Кителькутъ, несмотря на отчужденіе между оленными и приморскими чукчами, охотно отдавалъ свою дочь оленеводу, такъ какъ жизнь у стада считается счастливѣе и обезпеченнѣе, хотя и требуетъ болѣе постоянной заботы, чѣмъ существованіе приморскаго охотника.

* * *

Разговоръ въ пологѣ принималъ довольно непріятный оборотъ. Яякъ не щадилъ упрековъ по адресу хозяина. Хитрый старикъ, желая предотвратить ссору, задумалъ отвлечь его мысли въ другую сторону.

— А что? — сказалъ онъ вдругъ, — не покормить ли собакъ? Онѣ со вчерашняго дня не ѣли.

— Ухъ! — немедленно подхватилъ Яякъ. — Бѣда! Мои собаки, съ тѣхъ поръ, какъ пришла вьюга, ни разу не ѣли, какъ слѣдуетъ. Передовая худо смотритъ. Пропадетъ — бѣда: кто найдетъ дорогу къ Щелеватому холму?

Такъ называлось урочище, на которомъ въ ту зиму паслось стадо Яяка.

— Отчего не возьмешь ее въ домъ? — тотчасъ же предложилъ Кителькутъ.

— Не любитъ, боится, — сказалъ Яякъ. — Въ шатрѣ ни за что не станетъ ѣсть. Искони привыкла на снѣгу.

— Эта собака, — продолжалъ Яякъ съ воодушевленіемъ, — умнѣе человѣка, только что словъ нѣтъ, а умомъ все знаетъ. Въ темноту, въ непогоду найдетъ сама каждую дорогу. Прямо приходитъ на старыя огнища. Тутъ и дрова, тутъ и ночлегъ. Безъ нея какъ поѣду домой?… Пойду, посмотрю! — заключилъ онъ, вытаскивая изъ-за спины свою двойную кукашку (мѣховую рубаху).

— Не ходи! — сказалъ старикъ. — Ты не здѣшній, можешь сбиться. Коравія за-одно посмотритъ.

— Коравія! — окликнулъ онъ, опять обращаясь къ выходной стѣнѣ.

— Гой! — откликнулся оттуда мужской голосъ, принадлежавшій молодому человѣку, который бесѣдовалъ съ дѣвушкой.

— Попробуй накормить собакъ! Можетъ, станутъ, — сказалъ старикъ изъ полога.

— Ладно! — отвѣчалъ Коравія. — Сейчасъ!

— Наруби жиру тюленьяго да моржоваго мяса… помельче! — кричалъ старикъ.

— Знаю! — сказалъ Коравія.

— Собакъ гостя хорошенько осмотри!.. Передовую! — не унимался старикъ.

— Эгей! — отозвался Коравія. — Сейчасъ пойду.

Но Яякъ уже надѣлъ кукашку и теперь торопливо натягивалъ косматые сапоги на свои огромныя ноги. Онъ непремѣнно хотѣлъ лично осмотрѣть собакъ.

— Самъ знаешь! — сказалъ старикъ. — Смотри, не уйди въ другую сторону!

Яякъ недовѣрчиво усмѣхнулся.

— Я тоже выросъ въ пустынѣ! — сказалъ онъ.

— Море злѣе суши, — сказалъ старикъ. — Намъ самимъ случается сбиваться у собственной двери. Въ третьемъ году тоже былъ вѣтеръ. Уквунъ пошелъ изъ своего дома къ намъ, прошелъ мимо входа, до утра проходилъ кругомъ шатра. Чуть не замерзъ.

Уквунъ подтвердилъ разсказъ старика молчаливымъ кивкомъ. Яякъ только упрямо тряхнулъ головою и полѣзъ изъ полога.

— Придете, пить станемъ! — напутствовалъ его старикъ.

— Эгей! — отвѣчалъ Яякъ уже изъ наружнаго отдѣленія.

Коравія еще не поднялся съ мѣста. Чтобы придать себѣ бодрости для предстоящаго путешествія, онъ опять обнялъ свою невѣсту и торопливо цѣловалъ уже не однѣ губы, а также и щеки, и шею, выглядывавшую изъ широкаго мѣхового корсажа. Онъ не предполагалъ, что кто-нибудь изъ сидѣвшихъ внутри захочетъ сопровождать его въ такую погоду и вылѣзетъ изъ полога. «Развѣ Нуватъ», — думалъ онъ. — Нувата онъ не опасался.

Но, поднявъ голову, онъ встрѣтилъ нахмуренный взглядъ толстаго Яяка, наблюдавшаго за его занятіемъ при яркомъ свѣтѣ костра.

— Ты зачѣмъ сидишь на мѣстѣ, — сказалъ сердито чаунецъ, — когда надо дѣлать дѣло? Если хочешь держаться за бабьи пазухи, дай мнѣ мясо, — я самъ накормлю своихъ собакъ!

Прежняя горечь прилила къ его сердцу. Онъ тоже имѣлъ виды на красивую дѣвку. Оленные чукчи вообще охотно выбираютъ себѣ невѣстъ между приморскими дѣвушками, которыя считаются болѣе бойкими на всякую работу, способными, въ случаѣ нужды, замѣнить мужчину при каждомъ промыслѣ. Яякъ уже четвертый годъ заговаривалъ со старикомъ по поводу молодой Янты, желая взять ее себѣ во вторыя жены, такъ какъ въ его шатрѣ на Чаунѣ уже жила одна жена. Кителькутъ не говорилъ: «нѣтъ», но сватовство никакъ не могло наладиться. Главное затрудненіе состояло въ томъ, что Яяку не на кого было покинуть свое стадо на время обычной службы за вѣно, а старикъ ни за что не хотѣлъ согласиться на обыкновенный выкупъ.

— Или я тунгусъ, — говорилъ онъ, — что стану продавать дѣвку! Развѣ это собака или нерпа, чтобы брать за нее шкуры на плату?

Переговоры возобновлялись изъ году въ годъ во время обычныхъ пріѣздовъ Яяка. На этотъ разъ онъ принялъ почти окончательное рѣшеніе и намѣревался только еще разъ переговорить со старикомъ, чтобы съ будущей осени явиться объявленнымъ женихомъ и прожить до весны. Зимой стадо не столько нуждалось въ его охранѣ; а на лѣто онъ надѣялся уломать

старика, чтобы тотъ отпустилъ его домой.

И вдругъ теперь онъ застаетъ другого претендента, перебившаго ему дорогу и уже готоваго увезти къ себѣ намѣченную имъ невѣсту. Яякъ началъ подозрѣвать, что Кителькутъ никогда не хотѣлъ серьезно отдать ему Янту и только манилъ его для большей выгоды при торговыхъ сношеніяхъ. Онъ съ горечью припоминалъ, какъ дешево онъ отдалъ старику свои шкуры въ прошлую весну, надѣясь задобрить его для сватовства, и сколько непріятностей онъ имѣлъ потомъ изъ-за этого въ своей родной землѣ. А теперь Кителькутъ дѣвку отдалъ другому; а его хочетъ прижать еще крѣпче, чѣмъ въ прошломъ году. Яякъ такъ разсердился, что чуть не полѣзъ назадъ въ пологъ ругаться со старикомъ.

Больше всего его злило, что Коравія тоже не изъ приморскихъ, а такой же оленный, какъ и онъ самъ. — Что они въ немъ нашли? — говорилъ онъ себѣ съ гнѣвомъ. Старикъ сразу принялъ; дѣвка льнетъ, а на меня смотрѣть не хотѣла. А развѣ мои руки не вдвое толще? У меня въ лицѣ больше крови, чѣмъ у него во всемъ тѣлѣ.

У чукчей, дѣйствительно, крѣпость сложенія и яркая краска въ лицѣ считаются главнымъ условіемъ мужской красоты, и чаунскій богатырь привлекалъ взоры многихъ женщинъ на тундрѣ и на взморьѣ.

Однако, Коравія ничего не отвѣтилъ на грубую выходку соперника. Яякъ былъ гораздо старше его лѣтами; кромѣ того, онъ былъ на положеніи гостя, и ему уступали само почетное мѣсто въ пологу, а бѣднаго жениха далеко не всегда впускали внутрь. Онъ ограничился тѣмъ, что на глазахъ Яяка еще разъ крѣпко поцѣловалъ свою невѣсту, въ видѣ молчаливой демонстраціи, и потомъ торопливо поднялся на ноги и сталъ вытаскивать изъ того же темнаго угла за пологомъ длинный мѣшокъ изъ тюленьей кожи, набитый жиромъ и мясомъ, изрубленнымъ въ мелкіе куски. Онъ еще съ утра приготовилъ кормъ въ ожиданіи, пока вьюга позволитъ выглянуть на дворъ.

— Пойдемъ! — сказалъ онъ, вытаскивая изъ мѣшка длинный ремень и обвязывая его вокругъ пояса. — Другимъ концомъ ты обвяжись, чтобы намъ не растеряться въ темнотѣ.

Яякъ проворчалъ что-то, но обвязался ремнемъ. Коравія уже успѣлъ выйти изъ шатра со своимъ мѣшкомъ.

— Скорѣе! — кричалъ онъ во все горло. — Вѣтеръ не даетъ стоять на мѣстѣ!

Яякъ нахлобучилъ свою шапку поглубже на уши и распластался по землѣ, чтобы выползти изъ шатра въ сѣни. Выходъ былъ плотно закутанъ шкурами и нужно было открывать

его какъ можно уже, чтобы не впустить вьюгу, которая ломилась внутрь, какъ бѣшеная. Яякъ быстро проползъ по землѣ черезъ сѣни, приподнялъ вторую выходную полу, окончательно вылѣзъ на дворъ, опустилъ за собой кожаную покрышку и поднялся на ноги. Вьюга ударила ему въ лицо съ такимъ остервенѣніемъ, что онъ пошатнулся и чуть не опрокинулся назадъ. Кругомъ было темно, какъ въ могилѣ. Вѣроятно, была ночь, хотя въ такую метель трудно отличить раннія сумерки зимняго вечера отъ настоящей ночи. Лицо Яяка, еще разгоряченное отъ продолжительнаго пребыванія въ душномъ пологу, вдругъ оледенѣло и стало саднить отъ холода. Колючія иглы снѣжинокъ, гонимыя вѣтромъ, впивались ему въ щеки, какъ живыя тучи голодныхъ комаровъ, желавшихъ отвѣдать его крови. Онѣ забирались за воротъ, набирались въ рукавицы и отверстія рукавовъ. Струи быстро текущаго холода такъ легко пронизывали мѣховую одежду, что Яяку на минуту показалось, будто онъ совсѣмъ раздѣтъ. Онъ отвернулъ отъ вьюги лицо и сталъ ощупью пробираться между сугробами по направленію къ собакамъ. Вдругъ онъ почувствовалъ, что ремень натянулся.

— Куда прешь? — долетѣлъ крикъ спереди. — Или мнѣ надо волочить за собою два мѣшка?

Голосъ Коравіи, долетѣвшій по вѣтру, все-таки едва былъ слышенъ среди воя и визга вьюги. Молодой человѣкъ, повидимому, хорошо оріентировался въ темнотѣ. Яякъ, напротивъ, отворачивая отъ вѣтра лицо, мало-по-малу сбился съ настоящаго направленія и теперь безъ ремня онъ неминуемо заблудился бы. Онъ поспѣшно повернулъ обратно и пошелъ на голосъ, каждый разъ ощупывая ремень, чтобы видѣть, не натягивается ли онъ.

Это было трудное и утомительное путешествіе, несмотря на то, что приходилось пройти не болѣе двухсотъ шаговъ. Вьюга намела поперекъ дороги сугробы скрипучаго и сухого снѣга. Передняя сторона ихъ быстро твердѣла, а задняя, напротивъ, осыпалась, какъ песокъ, при малѣйшемъ движеніи. Два раза Яякъ оступился и попалъ внутрь сугроба выше пояса; цѣлая куча снѣга забилась ему подъ кукашку и за поясъ шароваръ, онъ отряхивался, какъ могъ, и продолжалъ идти за Коравіей, руководствуясь натяженіемъ ремня.

Собаки были привязаны нѣсколько подальше задняго шатра, въ самомъ глубокомъ мѣстѣ у каменной стѣны. Вьюга намела вдоль стѣны цѣлый снѣжный валъ, и они должны были подняться на него, какъ на гору, и потомъ спуститься внизъ, гдѣ у самаго утеса оставалась узкая полоска незанятаго пространства. Сюда вьюга не такъ хватала, и потому здѣсь было немного свѣтлѣе.

Снѣгъ поблескивалъ тусклымъ бѣлымъ свѣтомъ, и собаки выступали на немъ черными пятнами. Всѣхъ собакъ было около пятидесяти; онѣ были привязаны на короткихъ палкахъ двумя длинными рядами и лежали прямо на снѣгу безъ всякой подстилки. Собаки внутренняго ряда были лучше защищены отъ снѣга. Онѣ лежали, свернувшись клубкомъ, уткнувъ носъ въ брюхо и не подавая признаковъ жизни. Но наружный рядъ помѣщался уже на окраинѣ снѣжнаго вала, и ему приходилось здѣсь довольно плохо. Снѣжная пыль непрерывно осыпалась внизъ съ верхушки вала, и собаки должны были поминутно вставать и отряхиваться, чтобы ихъ не занесло. Нѣкоторыя лѣнились дѣлать это достаточно часто, и въ наказаніе должны были выбираться наружу изъ цѣлаго сугроба, быстро собиравшагося надъ ихъ головой.

Коравія развязалъ мѣшокъ и сталъ кликать собакъ, называя ихъ по именамъ. Обыкновенно собаки привѣтствуютъ появленіе корма неистовымъ визгомъ и воемъ; но на этотъ разъ онѣ отнеслись къ нему довольно холодно. Нѣкоторыя не подняли даже головы, чтобы посмотрѣть на пришедшихъ людей; другія съ тихимъ повизгиваніемъ виляли хвостомъ, не рѣшаясь встать на ноги.

— Сурокъ! Пестрякъ! Кровоѣдъ! — настойчиво взывалъ Коравія, чтобы разбудить тѣхъ собакъ, которыя еще лежали свернувшись.

Якъ набралъ на подолъ верхней кукашки жиру и мяса и пошелъ къ своимъ собакамъ. Ихъ было двѣнадцать; онѣ лежали на самомъ лучшемъ мѣстѣ въ срединѣ внутренняго ряда. Всѣ онѣ встали навстрѣчу хозяину, кромѣ одной, и широко потягивались, расправляя ноги и спину и зѣвая, точь-въ-точь, какъ человѣкъ, которому надоѣлъ слишкомъ долгій сонъ. Якъ поспѣшно разбросалъ имъ кормъ по порціямъ и подошелъ къ лежащей собакѣ.

— Бѣлоногъ! Бѣлоногъ! — настойчиво кликалъ онъ.

Собака подняла голову, но не встала.

— Ухъ! — вздохнулъ хозяинъ. — Что, зябнешь, дружокъ? — спросилъ онъ у своей собаки такъ нѣжно, какъ никогда не разговаривалъ съ людьми. Бѣлоногъ вильнулъ хвостомъ, очевидно, въ знакъ утвержденія.

— Станешь Ѣсть, Бѣлоногъ? — продолжалъ Якъ, какъ будто собака дѣйствительно понимала его рѣчь.

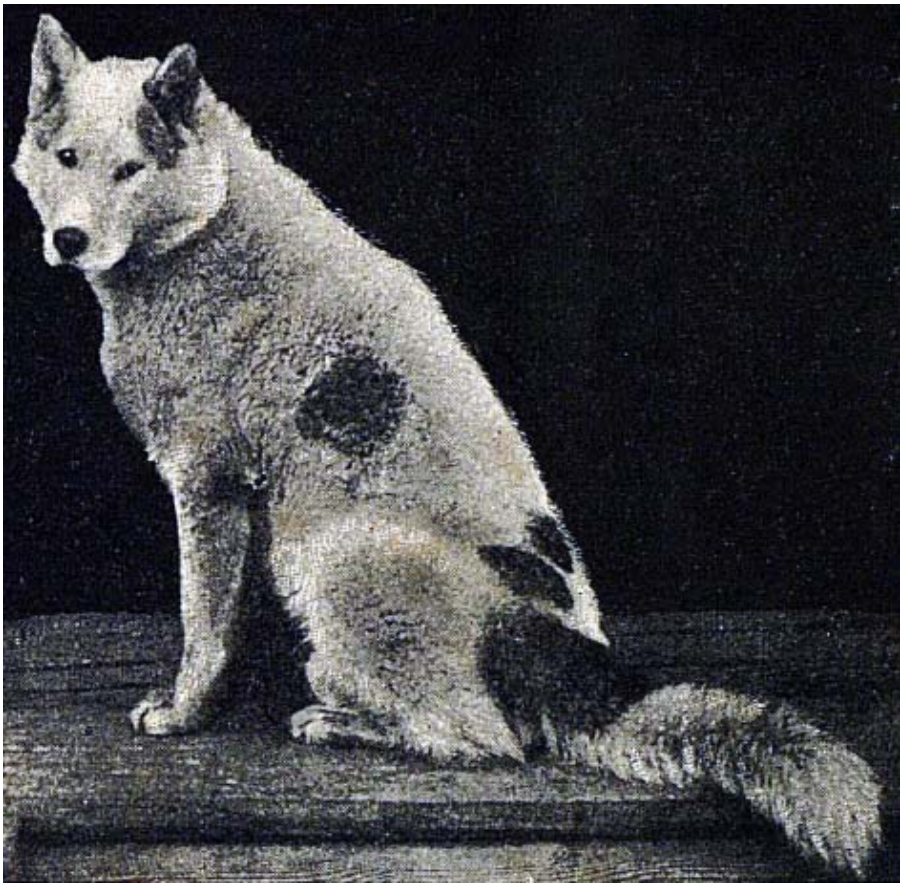
Бѣлоногъ опять вильнулъ хвостомъ. Якъ положилъ передъ его мордой большой кусокъ желтаго тюленьяго жира.

— Ѣшь, Ѣшь, Бѣлоногъ! — понукалъ онъ собаку.

Но Бѣлоногъ лѣниво протянулъ носъ, понюхалъ жиръ и опять

убралъ голову. Яякъ опустился на одно колѣно, вытащилъ ножъ изъ-за пояса и сталъ крошить жиръ на мелкіе куски. Потомъ онъ сталъ кормить собаку изъ рукъ, почти насильно суя ей куски въ ротъ. Бѣлоногъ ѣлъ неохотно, очевидно, только для того, чтобы сдѣлать удовольствіе хозяину, однако съѣлъ весь жиръ. Но на мерзлое мясо онъ отказался даже смотрѣть. Зубы его были плохи, и онъ совсѣмъ не хотѣлъ мучиться надъ окаменѣлымъ кускомъ въ такую стужу. Другія собаки съ трескомъ перегрызали оледенѣлыя волокна моржатины. Многія, впрочемъ, скоро утомились этимъ неблагодарнымъ трудомъ и, подобравъ остатки своей доли подъ себя, снова улеглись на снѣгу, въ ожиданіи болѣе благопріятнаго времени для ѣды. Яякъ постоялъ, посмотрѣлъ и отошелъ въ сторону.

Старанія Коравіи накормить своихъ собакъ дали еще меньшій успѣхъ. Жиръ ѣли почти всѣ собаки, но лежавшія въ наружномъ ряду поголовно отказались отъ мерзлаго мяса, и Коравія убралъ его обратно въ мѣшокъ. Въ снѣгу около собакъ было и безъ того закопано много кусковъ, и онъ не хотѣлъ безъ пользы бросать кормъ. Собаки Уквуна были тутъ же, и Коравія накормилъ ихъ наравнѣ съ собаками своего нареченнаго тестя.



Упряжный песъ.

Двѣ или три собаки отказались отъ всякой ѣды, несмотря на увѣщанія хозяина; Коравія стоялъ надъ ними, не зная, что дѣлать.

— Уснутъ! — пробормоталъ онъ, сомнительно качая головой. — Непремѣнно уснутъ!

— Пойдемъ! — сказалъ Яякъ нетерпѣливо. — Уснутъ, такъ не пробудишь!

Ему было холодно стоять.

— А тебя кто звалъ? — огрызнулся Коравія. — Могъ бы я и одинъ накормить собакъ!

Однако, онъ взвалилъ на плечо полуопустѣвшій мѣшокъ и пустился въ обратный путь по сугробамъ и застругамъ. Яякъ опять шелъ сзади на привязи. Ему стало такъ холодно, что весь гнѣвъ его остылъ. Теперь онъ склоненъ былъ относиться къ молодому человѣку съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ прежде.

— Видишь, какъ претъ! — невольно говорилъ онъ себѣ, чувствуя нетерпѣливое подергиваніе ремня. — Или онъ видитъ въ этой темнотѣ?..

III.

Въ пологу, послѣ ухода Яяка, воцарилось полное молчаніе. Оставшимся рѣшительно не о чемъ было разговаривать. Нуватъ вытянулся свободнѣе на опустѣвшемъ мѣстѣ и, казалось, заснулъ. Даже Кителькутъ задремалъ въ ожиданіи чая. Дѣтямъ тоже надоѣло заниматься выдѣлываніемъ фигуръ на плетенкѣ, и они стали пріискивать новый предметъ для развлеченія.

— Бабушка! — вдругъ обратилась къ Анекѣ дѣвочка, — разскажи сказку.

У керецкой старухи никогда не было дѣтей; однако, съ дѣтьми она умѣла ладить гораздо лучше, чѣмъ со взрослыми. По части сказокъ она представляла неисчерпаемый кладезь. Она подобрала ихъ во время своихъ непрерывныхъ скитаній по приморскимъ поселкамъ и оленьимъ стойбищамъ. Память ея впитывала, какъ губка, каждый разсказъ, услышанный однажды, и сохраняла его на вѣчныя времена, не теряя ни одного слова. Она разсказывала ихъ охотно по первому приглашенію и могла разсказывать цѣлыя сутки сряду, не утомляясь, не останавливаясь и искусно сплетая конецъ одной сказки съ началомъ другой, такъ что слушателю трудно было различить спайку.

— О чемъ разскажу? — тотчасъ же отвѣтила она, обращая свое сморщенное лицо къ дѣтямъ.

Она говорила совершенно правильнымъ чукотскимъ языкомъ, но въ произношеніи ея былъ слышенъ своеобразный скрипучій акцентъ. «Каркаетъ, какъ кукша!»[24] — говорили о ней чукчанки по этому поводу.

Дѣвочка задумалась. Въ это время новый порывъ вѣтра промчалася надъ шатромъ съ такой силой, что чуть не сорвалъ одного изъ пятниковъ.

— Разскажи о вѣтрѣ! — сказала дѣвочка.

— О вѣтрѣ? — переспросила Анека. — Хорошо. Ну, слушайте! — Было селеніе на морѣ, — начала она. — Жилъ человѣкъ съ женой и братомъ. Вѣтеръ такъ и дуетъ, не переставая. Отъ метели не видно рукъ. Голодаютъ. Давно съѣли всѣ шкуры, изгрызли ремни. Совсѣмъ высохли, хотятъ умереть.

— Ухъ! — вздохнула дѣвочка. — Хотятъ умереть.

Въ качествѣ главной слушательницы, она была обязана время отъ времени давать старухѣ сочувственные отклики.

— Холостой братъ говоритъ женатому: — Пойдемъ, поищемъ въ пустынѣ. Что же мы можемъ высидѣть дома?

— Правда! — сказала дѣвочка.

— Да вѣдь вьюга, — говоритъ другой. — Какъ пойдемъ? — Все равно, не для жизни — для смерти пойдемъ! — Связались

ремнями по плечамъ и поясницѣ, пошли. Вѣтеръ дуетъ. Темно, ночная темнота. Идутъ ощупью.

— Идутъ, идутъ, идутъ! — продолжала Анека протяжнымъ голосомъ.

— Да, идутъ, идутъ! — откликнулись дѣти уже вдвоемъ.

— Идутъ!! Въ темнотѣ наткнулись на что-то. Стали щупать: — желѣзо. Обошли кругомъ: — кругло, гладко, словно яйцо. Желѣзный домъ. Ищутъ кругомъ: нигдѣ нѣтъ входа, глухія стѣны…

— А-а! — откликнулись дѣти. — Глухія стѣны!

— Какъ же взойдемъ? — спросилъ женатый братъ холостого. — Входа нѣтъ!..

— Правда, нѣтъ? — спросила дѣвочка.

— «Ужо, ужо!» — говоритъ холостой братъ, — продолжала старуха, хитро прищуривая лѣвый глазъ. — И я говорю: ужо, ужо!

— Холостой братъ помочилъ палецъ въ слюнѣ, обвелъ желѣзно-яичный домъ по самой серединѣ: домъ раскололся. Снялъ верхушку, какъ блюдце, поставилъ на землю.

— А что было въ домѣ? — нетерпѣливо спросила дѣвочка.

— Тамъ жила орлица-великанша, — сказала Анека. — А ты не забѣгай, не то перестану!

Сказка продолжалась обычнымъ путемъ, Двое странствующихъ братьевъ попросили орлицу-великаншу унять вѣтеръ. Она начала было соскабливать небо аутомъ[25], но потомъ вдругъ разсердилась на нескромность старшаго брата, подсмотрѣвшаго ея голыя икры, и схвативъ обоихъ странниковъ за ноги, забросила ихъ на третью вселенную. Тамъ они нашли дѣвичій шатеръ, стали играть съ дѣвушками въ мячъ и пробили мячъ. Оттуда опять вылетѣлъ вѣтеръ и унесъ ихъ съ собой. Онъ принесъ ихъ на берегъ моря, гдѣ старикъ, величиной съ мизинецъ, тесалъ полозья гаткой[26], ручка котораго была сдѣлана изъ цѣлой лиственницы, а лезвее имѣло въ ширину размахъ человѣческихъ рукъ. Они спрятались отъ вѣтра въ его брюхѣ, вышли изо рта и подкрѣпили силы стружками отъ его работы, которыя оказались стружками рыбы. Послѣ этого братья встрѣтили еще много различныхъ приключеній, при чемъ вѣтеръ и спасеніе отъ него постоянно играли выдающуюся роль. Въ концѣ концовъ они нашли стадо дикихъ оленей и, обремененные добычей, благополучно, вернулись домой.

Дѣти слушали, стараясь не проронить ни слова, но старая Рынтына нетерпѣливо пожала плечами.

— Будто это правда! — презрительно сказала она. — Такъ себѣ, бабья болтовня! Вотъ у насъ въ Иченѣ[27] старухи разсказываютъ. Вотъ сказки! Кто начнетъ говорить — нѣтъ конца.

Спать хочется, а отстать неохота. Что спать! Изъ полога никто не хочетъ вылѣзть. Чай сварить некому. Такъ и сидимъ кругомъ съ разинутыми ртами… Говоритъ, говоритъ, словно клубокъ мотаетъ, до утра не оборветъ нитку, а ни одного слова не скажетъ мимо.

Непріязнь Рынтыны къ чужеземкѣ простиралась и на ея разсказы, хотя старая Анека, пожалуй, не уступала и иченскимъ сказочницамъ. Сама Рынтына не могла, повидимому, запомнить ни одного разсказа своихъ хваленыхъ старухъ, и дѣти даже не пробовали обращаться къ ней по этому поводу. Видя, какъ лицо ея дочери обращается къ ненавистной чужеземкѣ, она ощущала настоящія муки ревности.

Лицо Анеки приняло довольно кислое выраженіе, и она уже хотѣла огрызнуться въ отвѣтъ, но вниманіе ея было отвлечено шумомъ въ шатрѣ. Это Яякъ и Коравія возвращались съ кормежки. Собираясь войти въ пологъ, они съ ожесточеніемъ выколачивали снѣжную пыль изъ своей одежды особыми роговыми колотушками. Черезъ нѣсколько минутъ оба они пролѣзли въ пологъ. Коравія тоже озябъ и хотѣлъ согрѣться.

— Наружные!.. Бабы! — закричалъ старикъ, какъ только они усѣлись по мѣстамъ. — Что же чай? Торопитесь! Гость замерзъ!

— Ну, метель! — говорилъ Яякъ, отдуваясь и отфыркиваясь. — Слѣпитъ, зарываетъ голову!

Онъ на время забылъ объ условіяхъ торга и думалъ теперь о томъ, скоро ли пройдетъ вьюга и останется ли въ живыхъ его упряжка.

— А что собаки? — спросилъ Кителькутъ.

— Худо! — сказалъ Коравія. — Только жиръ съѣли, мяса не грызутъ.

— Плохо! — подтвердилъ старикъ. — Высохнутъ на одномъ жирѣ.

— Охъ! — сказалъ Яякъ, помолчавъ. — Когда же перестанетъ вѣтеръ? Хотя бы кто-нибудь пошаманилъ на встрѣчу.

Лицо Кителькута опять омрачилось. Онъ съ опасеніемъ взглянулъ на сына, который, повидимому, спалъ и не поднялъ головы, чтобы взглянуть на пришедшихъ.

— Наружные! Го! — закричалъ онъ, чтобы отвлечь разговоръ въ другую сторону. — Закуску, Ѣду! Живо!

— Вы! кто-нибудь! — настаивалъ Яякъ. — Неужели никто изъ васъ не умѣетъ унять этотъ вѣтеръ? На нашей землѣ было бы, ему бы не дали такъ безумствовать.

Женщины, бывшія въ наружномъ отдѣленіи, просунули сквозь входную полу деревянные лотки съ Ѣдой. Угощеніе было обильное и разнообразное. Видно было, что Кителькутовы

охотники имѣютъ удачу въ каждомъ промыслѣ. Тутъ былъ твердый моржовый жиръ, нарѣзанный ломтиками, китовая кожа, бѣлая и плотная, мясо дикихъ оленей, замороженное, растолченное въ порошокъ и смѣшанное съ застывшимъ топленымъ саломъ, и тому подобные деликатесы. Рынтына разставила лотки на тюленьей шкурѣ по срединѣ полога, и всѣ присутствующіе пододвинулись ближе. Только Нуватъ, котораго старикъ попробовалъ разбудить, промычалъ что-то непонятное и отвернулся къ стѣнѣ. Онъ не хотѣлъ ѣсть. Мужчины и женщины ѣли пальцами, обмакивая каждый кусокъ въ большую чашу тюленьей ворвани, поставленную между лотками. Анека ѣла не менѣе жадно, чѣмъ другіе, но лицо ея было мрачно.

— Видишь! — сказала она вдругъ на своемъ родномъ языкѣ, въ то же время прожевывая кусокъ. — Весь жиръ оставили себѣ. Намъ даютъ самое худое.

— Перестань, — сказалъ Уквунъ тоже по-керецки. — Набивай лучше брюхо!

Онъ, собственно, раздѣлялъ неудовольствіе своей жены, но у него не хватало духу для такого смѣлаго протеста. Кителькутъ, въ свою очередь, нахмурился.

— У васъ зачѣмъ два языка во рту? Развѣ не можете говорить, какъ люди, что должны каркать по-вороньему?

— Она говоритъ, — объяснилъ Яякъ, который тоже понималъ по-керецки, — что вы даете имъ мало жиру, а онъ унимаетъ ее.

Несмотря на свое миролюбивое настроеніе, онъ не хотѣлъ пропустить случая кольнуть Кителькута его скупостью по отношенію къ сосѣдямъ.

Лицо Кителькута покраснѣло, и въ глазахъ его вспыхнулъ гнѣвный огонь.

— Я вѣдь говорилъ, — грозно обратился онъ къ женѣ, — чтобы ровно дѣлить мясо. Ты зачѣмъ не слушаешь?

Рынтына нисколько не смутилась. Она знала, что гнѣвъ старика втайнѣ направленъ противъ сосѣдей, а не противъ нея.

— У нея три рта, а у меня восемь, — возразила она, — и дѣти, и собаки, и гости. Или я стану гостей кормить безъ жиру? Несытые глаза! — обратилась она къ Анекѣ. — Я развѣ хожу считать куски за твоимъ обѣдомъ?

Ссора готова была вспыхнуть, но Яякъ удержалъ Анеку. Онъ издавна имѣлъ на нее какое-то странное вліяніе, и она боялась его гораздо больше, чѣмъ Кителькута, не говоря уже о ея собственномъ мужѣ. Уквунъ въ своихъ непрерывныхъ скитаніяхъ доходилъ и до Чауна и прожилъ когда-то двѣ или три зимы на стойбищѣ своего оленнаго родственника. Можетъ быть, Анека, именно въ то время, имѣла случай ближе узнать характеръ Яяка,

и онъ казался ей не совсѣмъ безопаснымъ для противорѣчія, или просто его огромная фигура подавляла ее. Какъ бы то ни было, она ничего не отвѣтила на упрекъ хозяйки, и трапеза продолжалась въ угрюмомъ молчаніи. Янта и Вельвуна такъ и не входили въ пологъ и только просовывали новые и новые запасы.

Когда закуска была окончена, хозяйка тѣмъ же порядкомъ выставила лотки въ наружное отдѣленіе и, приподнявъ лампу, вытащила изъ-подъ ея подставки невзрачный деревянный ящикъ, служившій хранилищемъ для чайной посуды. Женщины въ наружномъ шатрѣ въ это время торопливо очищали и облизывали корыта. Это была ихъ доля ѣды. Вычистивъ корыта, онѣ съ усиліемъ подтащили и продвинули въ пологъ огромные черные чайники съ кипяткомъ и круто завареннымъ кирпичнымъ чаемъ. Въ пологѣ стало жарко, какъ въ печи. Бѣлый паръ, валившій клубомъ изъ-подъ мѣдныхъ крышекъ, не находя себѣ выхода, скапливался подъ невысокимъ потолкомъ. Свѣтъ лампы какъ будто потускнѣлъ. Люди, сидѣвшіе въ пологу, раздѣлись до послѣдней возможности; всѣ лица и спины лоснились отъ пота. Если бы не чашки съ горячей красной жидкостью, которую они неутомимо похлебывали, оттопыривъ губы и стараясь не пролить ни капли на шкуры, прикрывавшія имъ колѣни, можно было бы подумать, что они собирались сюда для того, чтобы принять паровую ванну. Только Нуватъ лежалъ неподвижно у стѣны, не снимая мѣховой одежды и не чувствуя духоты.

Вьюга на дворѣ гудѣла попрежнему. Взявъ въ руки десятую чашку и собираясь отхлебнуть изъ нея, Яякъ вернулся къ своей первоначальной идеѣ.

— Вы, кто-нибудь, — сказалъ онъ, — постучите въ бубенъ, уймите вѣтеръ!

— А можетъ, ты самъ попробуешь! — сказалъ Уквунъ. — Мы незнающіе.

— Земля не моя, вѣтеръ чужой… Какъ стану унимать? — возразилъ Яякъ. — Какъ — вы незнающіе? Въ такой старости… Попробуйте, по крайней мѣрѣ!

— Хорошо! — согласился Уквунъ. — Пускай! Можно и попробовать… Послѣ ужина! — назначилъ онъ, подумавъ.

Шаманство у чукчей, строго говоря, не составляетъ привилегіи особыхъ лицъ. Каждая семья имѣетъ свой бубенъ, и упражненіе на немъ составляетъ не только право, но и обязанность всѣхъ ея взрослыхъ членовъ и даже дѣтей. Помимо обычныхъ годовыхъ праздниковъ осенью и весной, гдѣ шаманство играетъ наиболѣе выдающуюся роль, въ обыденной жизни каждая чукотская семья прибѣгаетъ къ волхвованію по самымъ разнообразнымъ поводамъ. Нужно ли обезпечить успѣхъ для

поѣздки на ярмарку, предугадать результатъ промысла, выбрать мѣсто заметыванія сѣтей, — звонко обтянутый бубенъ, жженіе оленьей лопатки, камень, подвѣшенный на посохѣ, и т. п. виды колдовства немедленно пускаются въ ходъ. Послѣ каждой удачной охоты непремѣнно устраивается шаманское празднество, родъ тризны или служеніе духу убитой добычи, съ особенными традиціонными обрядами.

Ужинъ появился вскорѣ послѣ чая и состоялъ изъ груды тюленьяго и моржоваго мяса, нарѣзаннаго кусками и сваленнаго въ длинное деревянное корыто. Онъ отличался отъ ужина, недавно предложеннаго собакамъ, только тѣмъ, что мясо на короткое время было опущено въ кипящую воду, гдѣ наружныя части обварились и пріобрѣли весьма непривлекательный темнобурый цвѣтъ и ослизлый видъ, а внутри осталась сырая темнокрасная мякоть. Чашка съ ворванью опять стояла на самомъ видномъ мѣстѣ, и ѣда исчезала такъ быстро, какъ будто до этого цѣлый день никто не съѣлъ ни куска.

— Гдѣ же переночуемъ? — спросилъ послѣ ужина Уквунъ, вытирая губы грязнымъ комочкомъ сухой травы, замѣнявшей салфетку. — Пойдемъ въ мой шатеръ!

Въ его шатрѣ было темно и холодно, и, несмотря на всю любовь къ собственнымъ домашнимъ пенатамъ, онъ былъ не прочь заночевать у Кителькута; но Кителькутъ еще не сказалъ ни одного слова, и ему не приходилось распоряжаться въ чужомъ жилищѣ. Кителькутъ, впрочемъ, и не думалъ останавливать ихъ.

— Пусть у тебя! — напротивъ, подтвердилъ онъ. — Видишь, Нуватъ спать хочетъ. — И онъ указалъ рукой на своего сына, который лежалъ въ прежней позѣ, отказавшись и отъ ужина.

Но, при словахъ отца, Нуватъ вдругъ повернулъ голову.

— Пусть здѣсь! — сказалъ онъ громко. — Я хочу здѣсь!

Кителькутъ хотѣлъ что-то сказать, но промолчалъ. Настаивать долѣе на удаленіи гостей было не совсѣмъ прилично. Кромѣ того, онъ сознавалъ, что все равно, не сегодня, такъ завтра ему, пожалуй, и самому придется, въ качествѣ главы семейства, привлекать Нувата къ участію въ шаманскихъ обрядахъ.

Онъ плотно сжалъ губы, и лицо его стало какъ будто оттѣнкомъ темнѣе.

Янта и Вельвуна, наконецъ, покончили свою работу. Молодая дѣвушка пролѣзла въ пологъ, но помощница ея осталась въ наружномъ отдѣленіи. Въ пологѣ для нея не было мѣста, и она должна была провести всю ночь, свернувшись, какъ собака, на голой землѣ, у остывшаго огнища.

Люди, бывшіе въ пологѣ, начали разсаживаться поудобнѣе, собираясь слушать. Шаманское дѣйствіе должно было

происходить въ полной темнотѣ и могло продолжаться нѣсколько часовъ подъ рядъ. Янта, по обыкновенію, усѣлась около своего жениха. При видѣ молодой четы, сидящей такъ близко другъ подлѣ друга, Яякъ почувствовалъ, что вся его злоба проснулась.

— Вотъ, — заговорилъ онъ, обращаясь къ Кителькуту, — мнѣ дѣвку обѣщалъ, а отдалъ другому. А развѣ я хуже? Такой же оленный.

— Я думалъ, ты не хочешь! — сказалъ уклончиво Кителькутъ. — Если ты не приходилъ за нею, какъ я могъ отдать ее тебѣ? А этотъ человѣкъ сразу укрѣпился въ сватовствѣ.

Яякъ сдѣлалъ надъ собою усиліе.

— Что же, я не сержусь, — сказалъ онъ, наконецъ. — Его счастье! Можетъ, я вправду просилъ плохо. Я не держу худого сердца. Но теперь поступимъ по-старинному.

Кителькутъ поднялъ голову. Онъ началъ понимать, куда клонится рѣчь его гостя.

— Сколько лѣтъ я ѣзжу, — заговорилъ Яякъ еще болѣе смягченнымъ тономъ, — въ хорошей дружбѣ ведемъ дѣла… даемъ другъ другу пробовать чужое, привезенное издалека… Стали, какъ родные. А между тѣмъ, родства нѣтъ. Теперь, если есть согласіе… сойдемся!

Кителькутъ не отвѣчалъ ни слова.

— Вотъ я, вашъ гость, — продолжалъ чаунецъ, — сколько дней ѣхалъ по пустынѣ, не видѣлъ женщины. А вѣдь я тоже быкъ, не корова… Дѣлю ваше мясо, сплю на вашей постели… Вотъ я прошу: — не хотите ли принять меня въ долю?..

Кителькутъ замялся.

— Или отъ меня будетъ плохой плодъ? — продолжалъ Яякъ. — Или я не могу отплатить взаимно? Придите къ Щелеватому холму! На моемъ стойбищѣ много женщинъ, — ни одна не скажетъ: нѣтъ.

Просьба Яяка не заключала въ себѣ ничего необычайнаго. Подобнаго рода взаимно-брачныя отношенія постоянно завязываются у чукчей и соединяютъ участниковъ узами такими же сильными, какъ кровное родство. Чаще всего онѣ заключаются между дальними родственниками и укрѣпляютъ ослабѣвшія родственныя связи.

Но Кителькутъ совсѣмъ не имѣлъ въ виду принять чаунца въ члены своей семьи.

— Къ сожалѣнію, — сказалъ онъ, — у меня нѣтъ женщинъ. Одна жена, да и та стара. Сообщаться молодымъ со старухами — грѣхъ.

— А дочь? — возразилъ Яякъ. — Она прежде была дѣвка, вольная; а теперь ея радость — въ рукахъ мужчины.

— Но не въ моихъ! — сказалъ старикъ. — Я ее отдалъ другому.

— Пусть! — сказалъ Яякъ. — Союзники нужны молодымъ, а не старымъ. Можетъ мнѣ и вотъ этотъ быть брачнымъ товарищемъ. — И онъ указалъ рукой на Коравію, сидѣвшаго на противоположной сторонѣ. Янта, при этомъ жестѣ, быстро попятилась и спряталась за спиной своего жениха. Она смертельно боялась огромнаго чаунца, и теперь, когда онъ заявлялъ такое прямое притязаніе на ея любовь, съ ужасомъ думала, что мужчины могутъ и уступить его просьбѣ. Она украдкой приводила въ порядокъ свою одежду, питая смутное намѣреніе, при неблагопріятномъ поворотѣ дѣла, выскочить изъ полога и изъ шатра и бѣжать, куда глаза глядятъ, на зло вьюгѣ, свирѣпствовавшей вокругъ.

— Я еще не взялъ ее, — сказалъ Коравія въ отвѣтъ на предложеніе Яяка. — Еще дѣвушка, не жена!.. Самъ живу въ шатрѣ тестя.

— Я развѣ вамъ мячъ, — сердито крикнулъ Яякъ, — чтобы перекидывать отъ одного къ другому? Воинъ — не игрушка! Одинъ говоритъ: не моя; другой говоритъ: не моя. Ну, если ничья, пусть я возьму. — И онъ сдѣлалъ такое движеніе, какъ будто хотѣлъ протянуть руку въ сторону Янты.

Коравія быстро подвинулся и окончательно заслонилъ собою невѣсту.

— Или ты хочешь силою пріобрѣсти родство? — возразилъ онъ. — Если мы не хотимъ… Должно быть, считаешь насъ всѣхъ бабами? Тогда не нужно просить о союзѣ.

Нуватъ вдругъ повернулся и сѣлъ на шкурѣ.

— И зачѣмъ ты у насъ просишь? — сказалъ онъ громко, обращаясь къ Яяку. — Проси у Уквуна; онъ — братъ твой, и у него двѣ жены!..

Насмѣшка была очевидна. Родственный союзъ съ такимъ человѣкомъ, какъ Уквунъ, никому не могъ льстить, а изъ женъ его одна была дряхлая старуха, а на другой лежало клеймо отверженія. Яякъ съ угрожающимъ видомъ протянулъ руку. Еще минута, и въ тѣсномъ помѣщеніи полога завязалась бы общая драка. Но въ эту минуту въ переднемъ шатрѣ послышался трескъ и стукъ паденія какихъ-то твердыхъ предметовъ на мерзлую землю. Что-то быстро захлопало, какъ огромный парусъ. Порывъ вьюги ворвался въ шатеръ и пролетѣлъ изъ угла въ уголъ. Послышался грохотъ и звонъ, какъ будто круглый желѣзный предметъ покатился по землѣ и ударился о дерево.

Мужчины кое-какъ натянули кукашки и выскочили вонъ. Оказалось, что порывъ вѣтра сорвалъ одну изъ шатровыхъ полъ и

сломалъ лѣвый пятникъ, который былъ тоньше другихъ. Обломки шеста и длинная деревянная дуга, поддерживавшая стѣнку шатра, валялись на землѣ. Вѣтеръ, ворвавшись въ шатеръ, уронилъ котельный треногъ прямо на голову Вельвуны, но, къ счастью, не ушибъ ее; только вся вода, приготовленная ею на утро, вылилась прочь, а котелъ упалъ на землю и откатился въ уголъ, подъ сани.

Для того, чтобы исправить безпорядокъ, нужно было достать новый шестъ. Коравія вылѣзъ на дворъ и ощупью сталъ рыться въ грудѣ деревянныхъ обломковъ позади шатра. Другіе связывали порванныя веревки и натягивали кожу шатра на старое мѣсто. Прошло около часа, пока имъ удалось исправить весь ущербъ, произведенный вѣтромъ.

— Наргинэнъ сердится, — сказалъ Уквунъ, когда они вернулись, наконецъ, въ пологъ. — Собрались шаманить, а стали драться. Еще счастье, что весь шатеръ не упалъ на голову.

Всѣ молчали.

Бубенъ лежалъ подъ потолкомъ на деревянной грядкѣ. Уквунъ снялъ его, испробовалъ звонкость оболочки колотушкой изъ китоваго уса и приготовился приступить къ священнодѣйствію.

IV.

Шаманское дѣйствіе было въ полномъ разгарѣ. Обѣ лампы были погашены и въ пологѣ было темно, какъ въ гробу; но темнота эта жила и какъ будто двигалась, вся переполненная звуками. Частый и дробный стукъ колотушки раздавался, какъ набатъ.

Уквунъ надрывался отъ усердія, извлекая изъ своего горла самые странные и сложные напѣвы: подражалъ храпу моржа и клекоту орла, рычалъ медвѣдемъ и гоготалъ гагарой, завывалъ въ унисонъ вьюгѣ, бушевавшей на дворѣ. Но напрасно слушатели кричали: — Гычь, гычь! Правда! — поощряя его и вмѣстѣ съ тѣмъ стараясь выставить передъ призываемыми духами его силу въ болѣе выгодномъ свѣтѣ. Духи бури, пролетавшей мимо, не обращали, повидимому, никакого вниманія на его призывъ и никакъ не хотѣли задержаться на минуту и откликнуться. Быть можетъ, имъ хотѣлось еще потѣшиться надъ беззащитной тундрой, и они не одобряли затѣи Уквуна, клонившейся къ ихъ умиротворенію.

— Э-ге-ге-ге-гей! Гей, гей! — протянулъ, наконецъ, Уквунъ. — Гей, гей! Я человѣкъ, я ищущій, я зовущій!..

Онъ рѣшилъ отъ простыхъ напѣвовъ перейти къ

заклинаніямъ, которыя считаются гораздо болѣе дѣйствительными.

— Маленькая рыбка Вэканъ! — запѣлъ онъ громкимъ и протяжнымъ речитативомъ. — Гей, гей! Выросла, стала больше кита. Гей! Она лежитъ среди открытаго моря; шея ея стала, какъ островъ, спина ея вытянулась материкомъ. Гей, гей, гей! Если ты, пролетая, задѣлъ концомъ крыла о землю Люрэнъ, дай отвѣтъ!

Но буря опять пронеслась мимо, не откликаясь на призывъ.

— Надъ истокомъ бѣгущей воды, на вершинѣ бѣлаго хребта, у гремящаго ледника, живетъ молнія, мать горнаго эха, она летаетъ по небу, гремя желѣзными крыльями… Изъ-подъ ногъ ея брызжетъ алый огонь… Если ты вылетѣлъ изъ ея узкихъ ущелій, дай отвѣтъ!

Но отвѣта не было попрежнему.

— За предѣломъ земли, освѣщенной солнцемъ, за рубежомъ печальной страны вечера лежитъ область вѣчнаго мрака. Призракъ мѣсяца замѣняетъ тамъ солнце… Она закрыта, какъ огромный шатеръ; внутри ея духи справляютъ служеніе… Если ты вырвался изъ чернаго шатра духовъ, оборвавъ всѣ завязки выхода, и катился кубаремъ по широкой тундрѣ, чтобы пролетѣть съ разгона устье большой рѣки, дай отвѣтъ!..

— На остромъ мысу, гдѣ сходятся материки, море поворачиваетъ въ обратный путь[28]… Въ промежуткѣ водъ сплетаются пути народовъ… За сдвигающимися скалами лежитъ птичья земля[29]… Если ты успѣлъ развѣять сѣрыя перья, промчавшись сквозь челюсти каменной ловушки, прихлопнувшей столько крылатыхъ стай, дай отвѣтъ!

— Скажи, скажи, скажи! Кто разгребаетъ огромной лопатой снѣгъ на краю пустыни, чтобы ослѣпить глаза всякой живой твари?.. Скажи!..

Порывъ вѣтра, проносившійся мимо, вдругъ какъ будто закружился надъ верхушкой шатра. Послѣ нѣкотораго колебанія онъ измѣнилъ направленіе и сталъ спускаться внизъ, проникнувъ сквозь плотную наружную оболочку и приближаясь къ пологу; духи рѣшились не противостоять болѣе настойчивымъ заклинаніямъ призывателя и теперь хотѣли дать отвѣтъ. Люди, сидѣвшіе въ пологу, слышали все яснѣе и яснѣе исполинскіе вздохи вихря, похожіе на шипѣніе огромныхъ мѣховъ. Черезъ минуту вихрь ворвался въ пологъ, пронизалъ его съ верхняго лѣваго угла до праваго нижняго, во второй разъ пробивъ толстую мѣховую оболочку, ушелъ въ глубину и потонулъ въ отдаленныхъ нѣдрахъ земной утробы.

Люди, сидѣвшіе въ пологу, однако, не ощутили ни малѣйшаго вѣянія снѣжнаго воздуха. Настоящій реальный вѣтеръ

остался снаружи, а въ пологъ явился только его *увырытъ*[30], который весь исчерпывался звуками. Порывъ вихря, промчавшійся сквозь пологъ, былъ потокомъ визгливыхъ воплей и задыхающагося воя, который, прокатившись мимо, опустился куда-то вглубь и исчезъ такъ же быстро, какъ возникъ.

— Э-гей, ге, ге, гей! — опять протянулъ Уквунъ. — Онъ говоритъ, что прилетѣлъ съ сѣвера.

Повидимому, шумъ, промчавшійся сквозь пологъ, имѣлъ для него болѣе опредѣленный смыслъ, чѣмъ для всѣхъ остальныхъ.

Чаунецъ нетерпѣливо фыркнулъ. Духи какъ будто шутили надъ Уквуномъ, ибо сообщеніе ихъ было извѣстно всѣмъ присутствующимъ безъ всякой сверхъестественной помощи.

— Солнце, подыми вверхъ руки! — началъ снова Уквунъ, — покажи мѣсяцу свои рукавицы[31]...По твоей рукѣ я полѣзу вверхъ, достигну зыбкаго лона облаковъ, съ облаковъ подымусь до прозрачнаго неба; по твердому небу пройду въ небесную щель... Сквозь щель достигну Звѣзды Воткнутаго Дерева[32]... Люди Разсвѣта, помогите мнѣ!.. Люди Зари, помогите мнѣ... Люди Восхода, помогите мнѣ... Люди Утра, помогите мнѣ!.. Къ Утренней Зарѣ Вечерняя ходитъ въ гости, плаваетъ внизъ по Песчаной рѣкѣ[33]... Утренняя Звѣзда идетъ кочевымъ караваномъ... У Охотниковъ за лосями[34] возьму троесплетенный арканъ, у Блестящей Звѣзды[35] — желѣзныя путы... Макушка неба, дай свои ножницы... остричь и выщипать его маховыя перья... Накину на него троепрядный арканъ, опутаю его желѣзными путами, желѣзной цѣпью обвяжу поперекъ тѣла!..

Каждую фразу своего заклинанія Уквунъ повторялъ трижды, сопровождая ее самыми вычурными переливами тоновъ, какіе только могъ произвести его голосъ. Колотушка стучала въ натянутую кожу бубна съ такой силой, что можно было удивляться, какъ она не порветъ эту тонкую и непрочную оболочку.

— Съ подвѣтренной стороны къ моему шатру подошелъ быкъ съ семивѣтвистыми рогами, — продолжалъ Уквунъ. — Нюхаетъ горечь моего дыма, вдыхаетъ запахъ моего логовища... Повези меня на долгій поискъ, обскачу всѣ земли, осмотрю тундры и хребты, отыскивая шатеръ, поставленный его женой...

— Старый моржъ одинецъ заснулъ на льдинѣ, зацѣпившись клыками за край тороса[36]... Понеси меня черезъ широкое море! Осмотрю всѣ заливы и глубокія заводи, отыскивая пологъ, развѣшенный его женой.

— Сѣрая сова съ широкими крыльями ищетъ пищи среди трещинъ убоя!.. На ея крыльяхъ полечу на поискъ, обыщу девять небесъ и девять разныхъ міровъ, чтобы найти костеръ,

разведенный его женой.

— Гдѣ ты? Гдѣ ты? — завопилъ Уквунъ неистовымъ голосомъ. — Явись, явись, явись!..

Въ сторонѣ полога, противоположной Уквуну, послышался какой-то необыкновенный звукъ, похожій на истерическую икоту.

Янта вздрогнула и крѣпче прижалась къ жениху, такъ какъ звукъ раздавался какъ разъ надъ ея головой.

Вслѣдъ за первымъ звукомъ послышался другой, и непосредственно за этимъ раздалось такое оглушительное фырканье, что оно заглушило даже стукъ колотушки Уквуна, неистовствовавшей въ противоположномъ углу. Духъ свѣжаго вѣтра, очевидно, чувствовалъ себя не особенно хорошо въ душной атмосферѣ полога. Когда фырканіе, наконецъ, прекратилось, надъ головой людей поплылъ отрывистый рядъ странныхъ, дрожащихъ, задыхающихся, почти судорожныхъ звуковъ, которые пытались складываться въ короткія и непонятныя слова[37].

— Котэро, тэро, муро, коро, поро! — силился выговорить духъ на какомъ-то неизвѣстномъ языкѣ.

Уквунъ на минуту прекратилъ барабанный бой.

— Что? — сказалъ онъ, обращаясь къ невѣдомому существу, говорившему въ темнотѣ.

— Поро! — сказалъ духъ.

— Ко! (не понимаю), — отвѣтилъ Уквунъ.

— Поро! поро! — продолжалъ духъ съ оттѣнкомъ нетерпѣнія. Онъ, повидимому, особенно настаивалъ на этомъ словѣ.

— Отъ рожденія своего я глупъ, — съ сокрушеніемъ сказалъ Уквунъ. — Предъ языкомъ духовъ имѣю заткнутыя уши. Если бы вы говорили понятными словами!..

— Поро! — отвѣчалъ упрямо духъ. Онъ, очевидно, не хотѣлъ произносить никакого другого слова.

— Ухъ! — сказалъ Уквунъ съ отчаяніемъ. — Умъ мой грубъ для пониманія. Если бы привести толкователя, его мудрость дала бы помощь.

По обычаю чукотскихъ шамановъ, онъ просилъ духовъ призвать переводчика для того, чтобы передать языкъ заоблачныхъ сферъ въ обыкновенныхъ человѣческихъ словахъ.

Порывъ вѣтра опять пронесся сквозь пологъ, но на этотъ разъ не прошелъ сквозь, а задержался у той стѣнки, откуда недавно раздавался голосъ духа.

— Вотъ я пришелъ! — послышался новый голосъ. — Пришелъ я! Пришелъ. Да! Говорите, чего хотите! Я хочу торопиться!

Новый посѣтитель говорилъ на чукотскомъ языкѣ; но тембръ его голоса поразительно походилъ на голосъ духа, говорившаго раньше. Это былъ все тотъ же беззвучный, задыхающійся шопотъ,

съ трудомъ выходившій изъ невидимаго горла и успѣвавшій произносить только первую половину словъ. Вторая половина терялась въ фырканьи и сопѣніи, и слушателю предоставлялось самому возстановлять смыслъ произносимой рѣчи.

— Котэро, тэро, поро! — заговорилъ первый духъ, успѣвшій перемѣститься влѣво и теперь осѣнявшій голову Яка.

— Онъ говоритъ: я Духъ Милосердія![38] — давился и захлебывался переводчикъ. — Если живете мирно, не затѣвайте ссоръ!

Кителькутъ, сидѣвшій недалеко отъ Уквуна, шумно перемѣнилъ свое положеніе. Въ словахъ таинственнаго гостя содержался неопредѣленный намекъ на его споръ съ пріѣзжимъ чаунцомъ.

— Маынра кули, рэтыкъ, потэро, котэто, тэро! — заговорилъ первый духъ.

— Онъ говоритъ, — сказалъ переводчикъ, — я Духъ Милосердія. Если другъ друга не жалѣете, то зачѣмъ вамъ промыселъ?..

Теперь духи, повидимому, намекали на неравномѣрное распредѣленіе жира на стойбищѣ. Какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, они хотѣли оказать покровительство тому человѣку, который являлся посредникомъ передъ ихъ лицомъ. Несмотря на неопредѣленность, намеки духовъ были, однако, такъ хорошо понятны всѣмъ слушателямъ, какъ будто были выражены самыми ясными словами.

— Пустое! — вдругъ сказалъ Кителькутъ; — это керецкій духъ, не чукотскій!..

Голосъ его звучалъ непоколебимымъ упрямствомъ. Старый торговецъ считалъ духовъ, говорившихъ въ пологу, такими же реальными существами, какъ людей, которыхъ онъ встрѣчалъ въ сосѣднихъ селеніяхъ, но зато и относился къ нимъ почти такъ же свободно, какъ къ людямъ. Безчисленную сѣть обрядовъ, которая перешла къ нему по преемству отъ дѣдовъ и отцовъ, онъ въ точности соблюдалъ, какъ наслѣдственное достояніе своей семьи: зажигалъ священные огни, собиралъ и уничтожалъ остатки ѣды, совершалъ возліянія кровью, мазалъ саломъ связки амулетовъ, приносилъ въ жертву собакъ. Но онъ совсѣмъ не хотѣлъ измѣнять характеръ своихъ житейскихъ поступковъ и отношеній сообразно велѣніямъ свыше, которыя притомъ въ чукотскомъ быту получаются черезчуръ часто, чтобы придавать имъ слишкомъ серьезное значеніе. Кителькутъ относительно боговъ и духовъ успѣлъ выработать себѣ смутно сознаваемую, но тѣмъ не менѣе глубоко засѣвшую теорію, по которой боги, получая съ него дань, какая имъ слѣдовала по праву, уже не должны были вмѣшиваться

въ его отношенія къ людямъ и жизни. Въ довершеніе всего, духи, призванные Уквуномъ, обнаруживали явное пристрастіе къ интересамъ задняго шатра, и онъ былъ вполнѣ убѣжденъ, что это какіе-то не настоящіе духи, по всей вѣроятности, домашніе покровители Анеки, которая ихъ привезла съ собой изъ своей родины.

Но Уквуну слова стараго торговца показались чуть не святотатствомъ.

— Грѣхъ! — тотчасъ же откликнулся онъ изъ своего угла. — Не говори! Только меня подводишь! Ты противишься, а на мнѣ могутъ выместить!

Въ голосѣ его звучалъ страхъ. Чукотскіе духи, недовольные поведеніемъ слушателей, имѣютъ обыкновеніе вымещать на шаманахъ свой гнѣвъ.

— Что онъ проситъ? — отрывисто спросилъ Кителькутъ.

Онъ готовъ былъ дать духамъ выкупъ, чтобы они не мѣшались въ его дѣла.

Уквунъ снова пустилъ въ ходъ колотушку и бубенъ и принялся пѣть и барабанить съ удвоеннымъ усердіемъ, видимо, желая загладить неловкія слова хозяина. Но духи, повидимому, обидѣлись замѣчаніемъ Кителькута и рѣшили хранить суровое молчаніе, и никакія усилія Уквуна не могли заставить ихъ явиться снова. Это продолжалось съ четверть часа.

Вдругъ слушатели, нетерпѣливо слушавшіе безплодныя завыванія Уквуна, вздрогнули всѣ сразу. Въ отвѣтъ на пѣніе старика въ противоположномъ углу полога раздался другой голосъ, тоже пѣвшій напѣвы, посвященные призыву внѣшнихъ силъ. Это не былъ голосъ духа, онъ для этого былъ слишкомъ чистъ и громокъ. Онъ вырывался изъ груди своего обладателя съ такой полнотой и свободой, которая говорила прежде всего о крѣпкихъ легкихъ и хорошо развитыхъ связкахъ горла и во всякомъ случаѣ не имѣла ничего общаго съ захлебывающимся хрипѣніемъ гостей Уквуна. Звуки этого голоса наполняли пологъ, обтекали его стѣны и углы, рвались наружу и, не находя выхода, носились взадъ и впередъ, трепеща, какъ пойманныя ласточки, пока, наконецъ, присутствующимъ не начало казаться, что онъ раздается уже не во внѣшнемъ мірѣ, а гдѣ-то внутри, подъ ихъ собственнымъ черепомъ.

Уквунъ былъ пораженъ не менѣе, чѣмъ другіе, и, сдѣлавъ двѣ или три попытки состязаться съ новымъ пѣвцомъ, сбился съ тона, оборвался и замолкъ. Онъ прекратилъ также свой барабанный бой, который теперь не имѣлъ никакого смысла. Новый рядъ напѣвовъ тоже прекратился на мгновеніе.

— Пусти! — громко сказалъ повелительный голосъ Нувата, —

такъ какъ это былъ онъ. — Слышно было, какъ они съ Уквуномъ помѣнялись мѣстами. Вслѣдъ за этимъ колотушка снова застучала въ бубенъ съ лихорадочной быстротой, и цѣлый взрывъ переливающихся тоновъ голоса разразился надъ слушателями. Молодой шаманъ замѣнилъ стараго и, въ свою очередь, хотѣлъ помѣриться съ духами вѣтра.

Однако, Нуватъ не сталъ тратить много времени на предварительныя эволюціи. Напѣвы Уквуна расчистили передъ нимъ дорогу, и онъ чувствовалъ въ себѣ достаточную степень возбужденія, чтобы прибѣгнуть прямо къ заклинаніямъ.

— Мой челнокъ, — запѣлъ онъ, — легокъ и быстръ! На лету обгоняетъ птицъ. Маленькая птичка каянальгинъ, — обгоняетъ и ее. Двѣ мои души[39] сказали: мы возьмемся за ручки по обѣ стороны челна и полетимъ въ невѣдомыя страны! Хорошо мнѣ летѣть съ вами, сидя на растянутой шкурѣ, среди круглой деревянной ограды, грести веслами изъ китоваго уса… Го, го, го, гой!

Онъ аккомпанировалъ себѣ на натянутой кожѣ, которую воспѣвала его пѣснь, но теперь полоска китоваго уса слегка касалась звонкой поверхности и извлекала изъ нея тихіе рокочущіе перекаты, какъ будто отъ этой упругой перепонки отскакивали маленькіе круглые шарики, непрерывно возвращаясь назадъ, чтобы оттолкнуться снова. Эти звуки не заглушали, а только еще болѣе оттѣняли значеніе словъ Нувата.

— Голова Летающаго въ темнотѣ — моя голова… Его руки — мои руки… Его ноги — мои ноги… Тѣло его я присвоилъ себѣ, а мое собственное тѣло стало старымъ пнемъ, упало на стрѣлку мыса среди наноснаго лѣса… Пѣснь моя прекрасна. Души мои летаютъ въ разныя стороны, обозрѣваютъ все сущее, сами невидимыя, и приносятъ въ мою грудь знаніе, какъ пищу въ гнѣздо.

— Издавна стремлюсь я летѣть на своемъ кругломъ парусѣ вверхъ, вверхъ!..

Голосъ его внезапно оборвался. Слушатели затаили дыханіе, ожидая, что будетъ дальше.

Послышалось легкое хрипѣніе, потомъ шуршаніе бубна, упавшаго на шкуру вмѣстѣ съ державшей его рукой. Дальше не было ни звука. Душа молодого шамана, очевидно, покинула на время его смертную оболочку и отправилась въ таинственное путешествіе, которое онъ воспѣвалъ передъ этимъ съ такимъ увлеченіемъ.

Прошла минута или двѣ молчаливаго ожиданія.

— Зажгите свѣтъ! — сказалъ Кителькутъ суровымъ тономъ. — Станемъ, по крайней мѣрѣ, курить.

— Вельвуна, Вельвуна! — немедленно закричала хозяйка, — дай огня! Нерпичья морда, зажги лучинку! Драный носъ!.. Или ты оглохла?

Но Вельвуну не такъ-то легко было разбудить. Утомленная дневной работой и равнодушная къ шаманскимъ церемоніямъ, которыя, впрочемъ, были отдѣлены отъ нея мохнатой стѣной полога, она спала, какъ убитая, растянувшись на землѣ и пододвинувъ къ догорающему огню свои ноги въ истертыхъ оленьихъ сапогахъ, которые, повидимому, вовсе не защищали отъ холода. Янта поспѣшно выползла и принесла огня. Багровое око лампы блеснуло подъ пологомъ и освѣтило молодого шамана, лежавшаго въ углу. Кителькутъ быстро нагнулся въ сторону сына; но Уквунъ тотчасъ же накинулъ ему на лицо шаль, нарочно приготовленную для этого. Лицо человѣка, оставленнаго душами, не слѣдовало показывать глазамъ другихъ людей. Кителькутъ успѣлъ замѣтить, что глаза молодого шамана были закрыты и крѣпко стиснутые зубы нѣсколько выставлялись изъ-за полуоткрытыхъ губъ.

Молодой человѣкъ лежалъ навзничь, опираясь плечами и головой о мѣховую стѣну полога. Одна рука его стиснула рукоять бубна, лежавшаго рядомъ; другая, державшая тонкій хлыстикъ китоваго уса съ лопаткообразнымъ расширеніемъ на концѣ, упала на грудь и нѣсколько свѣшивалась въ сторону.

Люди въ пологу поспѣшно выкурили свои трубки и стали молча ожидать пробужденія шамана. Кругомъ нихъ царила полная тишина, нарушаемая только отдаленнымъ завываніемъ бури и тихимъ, но напряженнымъ шипѣніемъ свѣтлаго пламени. Суровый взоръ Кителькута и боязливый взглядъ Янты были одинаково внимательно прикованы къ неподвижной человѣческой фигурѣ, голова которой смутно обрисовывалась изъ-подъ покрывала.

Наконецъ, изъ-подъ шали послышался слабый, но протяжный вздохъ. Души Нувата возвращались изъ воздушнаго странствія.

— Погасите огонь! — поспѣшно сказалъ Уквунъ.

Руки его были заняты. Онъ наполнялъ крѣпкимъ табакомъ, не имѣвшимъ примѣси скобленнаго дерева, трубку, которую слѣдовало подать молодому шаману немедленно по пробужденіи.

— Скорѣе! — прибавилъ Уквунъ нетерпѣливо. — Вотъ встаетъ!

Нуватъ дѣйствительно сдернулъ съ своего лица шаль и приподнялся на своемъ сидѣньѣ въ ту самую минуту, когда Янта утопила въ тягучихъ нѣдрахъ ворвани послѣднюю частицу пылающей моховой свѣтильни.

— Э-гей! — снова вздохнулъ Нуватъ. Рука его, сжимавшая

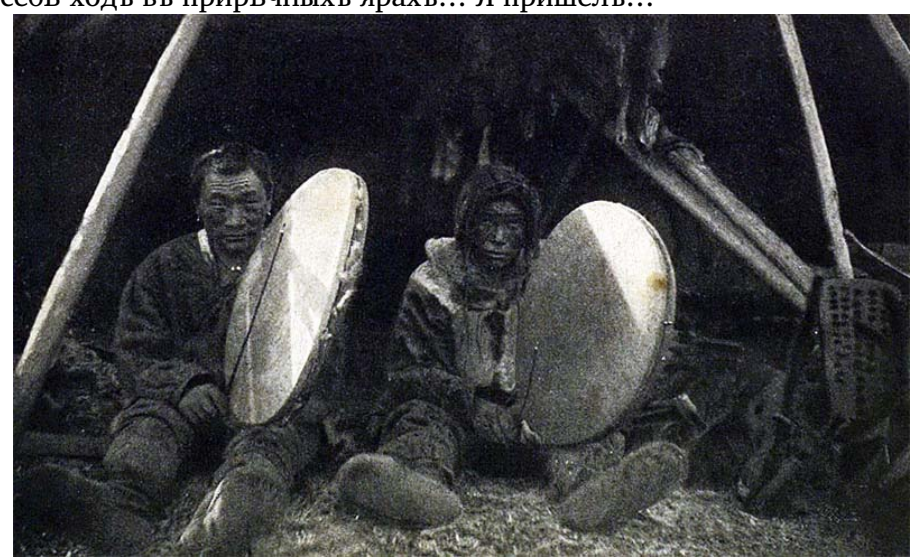
еще колотушку, поднялась и машинально потянулась къ бубну, но тотчасъ же опустилась внизъ. Тоненькій усовый хлыстикъ только слегка шаркнулъ по перепонкѣ, вызывая глухой и непріятный скрипъ… Уквунъ сунулъ въ ротъ молодому шаману закуренную трубку. Нуватъ жадно сдѣлалъ нѣсколько затяжекъ подъ рядъ. При слабомъ свѣтѣ, вспыхивавшемъ и снова погасавшемъ надъ деревяннымъ жерломъ трубки, лицо Нувата, на мгновеніе выступая изъ тьмы, казалось присутствующимъ смертельно блѣднымъ и похожимъ на лицо мертвеца. Глаза его все еще были закрыты.

Но возбуждающее дѣйствіе крѣпкаго курева мгновенно возвратило ему сознаніе и силу.

— Э-ге-ге-гей! — вздохнулъ онъ въ третій разъ уже полной грудью.

Вслѣдъ за этимъ послѣдовалъ оглушительный залпъ ударовъ колотушки, какъ будто молодой шаманъ выбивалъ побѣдный маршъ въ честь своего возвращенія изъ заоблачныхъ сферъ.

— Я пришелъ, пришелъ, пришелъ! — заговорилъ онъ нараспѣвъ. — Я спустился съ неба на салазкахъ падающей звѣзды, я всплылъ надъ моремъ, какъ плавательный мѣхъ, пробился изъ-подъ земли, какъ рогъ чортова оленя[40], когда онъ прорываетъ себѣ ходъ въ прирѣчныхъ ярахъ… Я пришелъ…



Шаманство.

Онъ находился въ состояніи сильнѣйшаго возбужденія. Голосъ его дрожалъ и вибрировалъ, фразы перемежались истерическими вздохами. Ему какъ будто не хватало воздуха и, протягивая послѣдній слогъ заключительнаго слова фразы, онъ

вдругъ рѣзко обрывалъ его, дѣлалъ глубокій и жадный глотокъ воздуха и только тогда переходилъ къ слѣдующей фразѣ.

— Я поднимался за предѣлы вселенной, — говорилъ Нуватъ, — ноги мои топтали изнанку неба; глаза мои видѣли шатры верхнихъ странъ; прильнувъ къ своей ладьѣ, я носился надъ невѣдомыми странами; незримый, я смотрѣлъ…

— Я видѣлъ, какъ ущербленный мѣсяцъ столкнулся съ нарождавшимся, и одинъ изъ нихъ упалъ мертвымъ…

— Я видѣлъ, какъ Восходъ и Закатъ состязались, прыгая взапуски черезъ черное ущелье, утыканное острыми осколками костей…

— Я видѣлъ, какъ играли въ мячъ люди сполоховъ…[41] Ноги ихъ не знаютъ покоя… Снѣгъ подъ ихъ ногами переливается огнемъ.

— Я видѣлъ дочерей Разсвѣта, одѣтыхъ въ испещренное платье. Воротъ ихъ опушенъ солнечнымъ лучомъ. Отверстія рукавовъ наполнены сіяніемъ.

— Я видѣлъ Владычицу міра, Богатую Женщину, сидящую на грудѣ бобровъ… Изъ ноздрей ея при каждомъ вздохѣ выходитъ по десяти бобровъ, и она складываетъ ихъ въ сумы и раскладываетъ по сторонамъ, воздвигая пестрый шатеръ…

— Я видѣлъ красоту верхняго міра, но Наргинэнъ мнѣ сказалъ: не будь здѣсь, спустись!

— Я спустился до глубины третьей бездны, гдѣ живутъ тѣни всего сущаго, — говорилъ Нуватъ.

— Я видѣлъ тѣнь нашей земли, призракъ моря, отраженіе прибрежныхъ скалъ… Души нашихъ шатровъ спустились туда прежде меня и прильнули къ утесу между разбросанными камнями.

Слушатели сидѣли, затаивъ дыханіе. Передъ глазами ихъ воочію развертывались новыя и странныя картины, описываемыя Нуватомъ; онѣ носились вмѣстѣ съ нимъ надъ вселенскими безднами, прицѣпившись къ скользкимъ ручкамъ утлаго челнока-бубна.

— Люди мертваго племени приносили жертвы за шатрами, — продолжалъ Нуватъ. — Огонь ихъ костра поднимался вверхъ тонкимъ столбомъ, не имѣющимъ дыма. Я подошелъ и сталъ ѣсть вмѣстѣ съ ними.

— Вотъ примчались двое съ полуночной стороны. Они пріѣхали на пестрыхъ оленяхъ. Подстилки ихъ саней отрепаны отъ долгой ѣзды. Копыта оленей стерлись отъ скачки. Я посмотрѣлъ на нихъ, умъ мой смутился, и тѣло мое ослабѣло и стало, какъ вода.

— Отчего глаза ихъ обращены назадъ? — спросилъ я, —

брюхо оленей распорото, кишки волочатся сзади?

— Когда они подъѣхали къ костру, я увидѣлъ ихъ лица. У одного была веревка на шеѣ; глаза его были глазами Катыка, шея его была шеей удавленника. Кого они искали среди подземныхъ жителей?.. Снѣгъ сталъ таять и потекъ, какъ кровь; цѣлое озеро натекло между шатрами.

— Кровь, кровь! — закричалъ Нуватъ, внезапно возвысивъ голосъ. — Я вижу кровь на столбахъ нашего дома.

Присутствующіе снова вздрогнули. Слова Нувата, повидимому, уже не относились къ области его видѣній.

— Какая кровь? — спросилъ Коравія неувѣренно.

— Тамъ въ шатрѣ на столбахъ свѣжее пятно, — крикнулъ Нуватъ. — Пустите! Я хочу посмотрѣть.

И онъ стремительно бросился впередъ и выскочилъ въ переднее отдѣленіе шатра.

Яркій свѣтъ ударилъ ему въ глаза и на мгновеніе ослѣпилъ его. Вельвуна, проснувшись у полупогасшаго костра, теперь подбросила охапку дровъ. Пламя пылало и поднималось неправильными языками къ тремъ толстымъ столбамъ, сходившимся вверху и составлявшимъ основу Кителькутова жилища.

Коравія послѣдовалъ за своимъ товарищемъ.

— Ну, гдѣ же кровь? — говорилъ онъ съ удивленіемъ. — Смотри, столбы чисты.

Но Нуватъ, при свѣтѣ огня внезапно очнувшійся отъ своихъ грезъ къ сознанію дѣйствительности, и самъ не понималъ своего предыдущаго порыва.

— Мнѣ холодно! — сказалъ онъ вмѣсто отвѣта. — Войдемъ въ пологъ!

Коравія зажегъ лучинку у костра и унесъ ее съ собой. Теперь, когда очарованіе было нарушено, можно было зажечь лампу въ темнотѣ полога. Выходка Нувата, впрочемъ, не произвела на слушателей особенно глубокаго впечатлѣнія. Лицо Кителькута было совершенно спокойно. Эти люди, существовавшіе плодами охоты, слишкомъ привыкли видѣть и проливать кровь, чтобы лишнее упоминаніе о ней могло разстроить имъ нервы.

Мысли ихъ, повидимому, отклонялись совсѣмъ въ другую сторону.

— А что же вѣтеръ? — спросилъ Яякъ съ разочарованіемъ въ голосѣ. — Ты развѣ не видѣлъ духа вѣтровъ?

Нуватъ опять сѣлъ на свое мѣсто и старался сосредоточиться въ самомъ себѣ, чтобы уловить нить своихъ видѣній. Черезъ нѣсколько секундъ это ему удалось. Но онъ уже не чувствовалъ достаточнаго подъема духа, чтобы проникнуться величіемъ

видѣнныхъ имъ картинъ. Кромѣ того, онъ чувствовалъ сильную усталость, и сонъ, давившій его весь вечеръ, теперь вернулся съ удвоенной силой. Онъ закрывалъ глаза, чтобы лучше припомнить, и чувствовалъ, какъ вѣки его слипаются и внезапный туманъ задергиваетъ образы, возникающіе въ мозгу. Однако, такъ или иначе, нужно было докончить требуемое прорицаніе.

— Я не нашелъ духа вѣтровъ, — вяло заговорилъ онъ, — ни на тверди верхнихъ небесъ, ни въ преисподней вселенной. Тогда я полетѣлъ по нашей землѣ. Нашелъ его среди Бѣлаго моря: сидитъ на торосѣ и машетъ рукавами. Изъ одного сыплется снѣгъ, изъ другого вылетаетъ вѣтеръ…

Говорю ему: — Старикъ, зачѣмъ дѣлаешь вѣтеръ!

— У меня не хватаетъ въ упряжкѣ одной собаки.

— Какой собаки? — спросилъ Кителькутъ.

— Я спросилъ тоже, — сказалъ Нуватъ. — Онъ говоритъ: духи и люди любятъ все пестрое.

— Пеструю собаку? — сказалъ Кителькутъ, соображая. — Если бы вѣтеръ утихъ, можно не пожалѣть.

Вопросъ этотъ касался обрядовой и практической стороны религіи, и онъ сразу почувствовалъ твердую почву подъ ногами.

Яякъ насупился. Въ его упряжкѣ тоже была пестрая собака. Онъ подумалъ, что и ему не мѣшало бы принести жертву «хозяину» этой страны, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ онъ вообще относился къ нему довольно беззаботно. Но собаку онъ отдать не могъ въ виду предстоящаго путешествія, а относительно русскихъ товаровъ, которые такъ нравятся духамъ, онъ даже не зналъ съ увѣренностью, что именно достанется на его долю.

Шаманское дѣйствіе кончилось. Нуватъ, положивъ бубенъ на мѣсто, откуда онъ былъ взятъ, уже улегся на своемъ прежнемъ мѣстѣ у стѣны. Другіе тоже укладывались, кто какъ могъ. Въ пологѣ было такъ тѣсно, что едва хватало мѣста для того, чтобы улечься всѣмъ. Янта помѣстилась рядомъ съ дѣтьми на хозяйской сторонѣ. Уквунъ съ женой помѣстились посрединѣ, скрючивъ ноги, чтобы не опрокинуть огромнаго котла съ холоднымъ бульономъ, который стоялъ рядомъ съ лампой. Зато было такъ тепло, что спавшіе не нуждались въ одѣялахъ и могли, разоблачившись отъ лишней одежды, нѣжить свое тѣло на мягкихъ шкурахъ, между тѣмъ какъ на дворѣ попрежнему ревѣла вьюга и продолжала свирѣпствовать вся ярость разыгравшейся зимней непогоды.

V.

На другой день вьюга, дѣйствительно, немного утихла. Вѣтеръ прилеталъ съ океана съ прежнимъ ожесточеніемъ, но небо стало свѣтлѣе. Тучи тонкой снѣжной пыли, носившейся кругомъ, вдругъ окрасились блескомъ восходящей зари. Весь воздухъ наполнился сіяніемъ. Лучи дневного свѣта таяли и расплывались въ пучинѣ бушевавшей воздушной стихіи, какъ свѣтлыя чары, понемногу смягчавшія ея необузданную ярость. Теперь можно было ожидать, что къ вечеру непогода совсѣмъ уляжется.

Нуватъ и Коравія немедленно стали собираться къ сѣтямъ. Январскій день коротокъ, и они должны были торопиться, если хотѣли успѣть засвѣтло управиться съ работой. Коравія уже вывелъ свою упряжку туда, гдѣ начинался спускъ со взгорья. Собаки, наскучившія долговременнымъ пребываніемъ на привязи, выли, подымались на дыбы и рвались изо всѣхъ силъ, желая поскорѣе пуститься въ путь. Нуватъ увязалъ въ чумъ[42] ремни, пешни[43], ружья и другія вещи, нужныя для промысла, и сталъ войдать[44] полозья. Кое-какъ съ большими усиліями, при помощи двухъ тормазныхъ палокъ, они спустили нарту со взгорья, и черезъ минуту полозья уже стучали и грохотали по высокимъ застругамъ на открытомъ льду далеко отъ каменной стѣны мыса. Собаки неслись, какъ бѣшеныя. Коравія то и дѣло просовывалъ *приколъ* (тормазъ) между копыльями нарты, чтобы нѣсколько замедлить ихъ быстроту. Онъ боялся, чтобы онѣ не надорвались съ натуги. Но остріе тормаза не пробивало твердой коры убоя, и собаки совсѣмъ не чувствовали задержки. Нуватъ никакъ не могъ усидѣть на нартѣ. Отъ быстрой ѣзды онъ пришелъ въ возбужденное состояніе. Онъ самъ ощущалъ такую же потребность движенія, какъ и собаки. То-и-дѣло онъ вскакивалъ съ нарты и, подхвативъ копье, бѣжалъ рядомъ, опираясь на тупой конецъ ратовья, чтобы увеличить размахъ своего шага, или, ловко пробираясь между застругами, обгонялъ упряжку и убѣгалъ впередъ, къ великому соблазну собакъ, которыя, задыхаясь отъ соревнованія, мчались сзади съ нетерпѣливымъ визгомъ. Менѣе чѣмъ черезъ часъ они уже были у первой линіи торосовъ, гдѣ начинались сѣти.

Промыселъ, по обыкновенію, былъ удаченъ; уже изъ пятой проруби они вытащили тюленя, запутавшагося въ сѣти, подвѣшенной, какъ колыбель, снизу деревянной четвероугольной рамы. Они весело переходили отъ кожухи къ кожухѣ[45], быстро пробивая пешнями толстый ледъ, уже намерзшій на пол-аршина

послѣ того, какъ добыча уснула въ водѣ. На шестомъ переѣздѣ собаки вдругъ взяли духъ и, свернувъ вправо, опять помчались, какъ угорѣлыя.

— Нахъ! нахъ![46] — кричалъ Коравія, давая знать передовой собакѣ, чтобы она вернулась на прежній путь. Но она даже не оборачивала головы въ его сторону.

— Не тронь! — сказалъ Нуватъ. — Медвѣжій духъ взяли. Посмотри на Дьявола!

Дѣйствительно, лѣвая собака третьей пары, носившая это имя и натасканная (выдрессированная) для отыскиванія медвѣдей, проявляла необычайное возбужденіе. Она пригибалась къ землѣ, вытягивая въ то же время голову, чтобы понюхать воздухъ, потомъ съ размаху дергала свару[47], изо всѣхъ силъ стараясь перервать ремень и освободиться отъ привязи.

Передъ ними тянулась поперечная линія торосовъ, совершенно занесенныхъ вьюгой и превратившихся въ толстый снѣжный валъ, изъ котораго мѣстами выглядывали верхушки льдинъ. Собаки еще прибавили бѣгу и съ визгомъ неслись впередъ, поминутно подскакивая на заднихъ лапахъ. Вдругъ изъ узкаго прохода между двумя вертикально стоявшими льдинами выскочилъ огромный медвѣдь и кинулся въ сторону. Это былъ старый самецъ; шерсть на немъ имѣла рыжеватый оттѣнокъ, особенно на спинѣ. Онъ былъ величиной почти съ быка, ниже на ногахъ, но зато длиннѣе. Особенно массивными казались лапы, благодаря густой косматой шерсти, длиной почти въ четверть.

Несмотря на свою величину, которая должна была сопровождаться и соотвѣтственной силой, медвѣдь не проявилъ никакого мужества и малодушно пустился на утекъ, не лучше какого-нибудь зайца. Онъ бѣжалъ съ удивительной быстротой для такой массивной туши, опустивъ голову къ землѣ и на каждомъ шагу подрагивая своимъ неуклюжимъ задомъ. Онъ удалялся отъ торосовъ тоже вправо, подъ прямымъ угломъ къ тому направленію, откуда пріѣхали охотники. Собаки хотѣли свернуть по его слѣду, но сбились и перепутали потягъ[48]. Нарта набѣжала сзади, и черезъ минуту вся упряжка билась на снѣгу, свиваясь огромнымъ живымъ клубкомъ.

Нуватъ съ копьемъ въ рукахъ уже былъ впереди.

— Отпускай собакъ! — крикнулъ онъ на ходу.

Коравія бросился къ потягу и выстегнулъ Дьявола и еще двухъ собакъ. Потомъ онъ сталъ распутывать потягъ, но собаки рвались впередъ, волочили его по снѣгу и тѣмъ значительно затрудняли работу. Выпроставъ, наконецъ, всю упряжку, онъ поднялъ голову. Ни медвѣдя, ни Нувата, ни отпущенныхъ собакъ уже не было видно. Но и его свора ринулась впередъ съ такой

быстротой, что онъ едва успѣлъ вскочить на нарту. Ухватившись за дугу[49], онъ гикнулъ особеннымъ пронзительнымъ тономъ, которымъ приморскіе чукчи возбуждаютъ быстроту собакъ въ погонѣ за дичью, и торопливо сталъ выдергивать ружье изъ нартяной покрышки.

Ноги Нувата оказались легче всѣхъ ногъ, бѣжавшихъ въ эту минуту по убою. Спущенныя собаки такъ и остались сзади; а разстояніе между нимъ и медвѣдемъ быстро сокращалось. Медвѣдь запыхался; онъ еще ниже опустилъ голову, и длинный красный языкъ вывалился у него, какъ у собаки, и почти волочился по снѣгу.

Бѣлый медвѣдь не считается у чукчей особенно опаснымъ противникомъ, благодаря своей глупости и неповоротливости. Надѣясь на свою ловкость, Нуватъ безстрашно ринулся впередъ, держа копье на перевѣсъ. Но медвѣдь до конца проявилъ прежнюю трусость. Видя или, лучше сказать, слыша приближеніе охотника, такъ какъ его огромная голова на неповоротливой шеѣ была обращена совсѣмъ въ другую сторону, онъ вдругъ упалъ на колѣни и уткнулся головой въ снѣгъ. Нуватъ, добѣжавъ, ткнулъ его изо всей силы сзади. Желѣзное лезвіе скользнуло по бедру и глубоко вошло въ животъ. Медвѣдь издалъ громкій хрипящій звукъ, но не думалъ подняться на ноги. Молодой охотникъ вытащилъ копье и опять ткнулъ медвѣдя въ бокъ подъ лѣвую лопатку.

Все это потребовало такъ мало времени, что когда Коравія пріѣхалъ, все было кончено. Медвѣдь, правда, оказался очень живучъ; но его живучесть имѣла пассивный характеръ. Онъ барахтался на снѣгу, дрыгая всѣми четырьмя лапами, и ни за что не хотѣлъ издыхать. Собаки лаяли и рвались укусить эти движущіяся лапы. Вмѣсто того, чтобы удерживать собакъ, Коравія схватилъ ружье и выстрѣлилъ медвѣдю въ ухо.

— Вотъ тюленья душа! — говорилъ Нуватъ съ нѣкоторымъ разочарованіемъ. — Дважды ткнулъ, хоть бы огрызнулся.

Онъ казался выше и тоньше, какъ будто его тѣло сжалось и вытянулось отъ быстраго движенія. Мѣховой колпакъ висѣлъ у него на спинѣ, и обнаженная голова была вся опушена инеемъ и походила немного на шкуру его добычи. Но грудь его поднималась чуть-чуть выше обыкновеннаго. Собаки, напротивъ того, совсѣмъ запыхались и жадно грызли оледенѣлый снѣгъ.

— Хорошая шкура! — сказалъ Коравія. — Отецъ обрадуется. Прямо десять табаковъ (фунтовъ табаку).

— Повеземъ домой! — сказалъ Нуватъ. — Сѣти досмотримъ завтра. Надо править благодарственную тризну.

Они распороли брюхо медвѣдя, вывалили на снѣгъ

внутренности, кромѣ сердца и печени, и вылили кровь. Потомъ соединенными усиліями взвалили медвѣжью тушу на нарту. Нуватъ опять взялъ копье.

— Ты поѣзжай напрямки! — сказалъ онъ. — А я сбѣгаю, загребу тюленей и спущу сѣти.

И онъ побѣжалъ къ сѣтямъ такъ легко, какъ будто весь день просидѣлъ на мѣстѣ и только теперь поднялся на ноги.

Вьюга совсѣмъ улеглась. Солнце, выглянувшее на минуту на горизонтѣ, опять закатилось; но небо еще сіяло мягкой и блѣдной синевой. Заструги блестѣли, какъ вымытыя. Черная стѣна каменнаго мыса широко поднималась на югѣ. Даже сѣдловина горнаго перевала за рубежомъ тундры чуть синѣла на краю небесъ.

Собаки Коравіи бѣжали крупной рысью, но онъ гикалъ и свисталъ, непрерывно понукая ихъ для того, чтобы доѣхать домой засвѣтло.

— У, гусь, гусь, гусь! — кричалъ онъ. — Олень, олень, олень! Пестрякъ, олени! Валипъ, олени! Дьяволъ, олени! О, домой, домой, домой!

Потомъ онъ вдругъ соскакивалъ и, схвативъ нарту за дугу, тащилъ ее изо всѣхъ силъ, помогая своей упряжкѣ; вскакивалъ лѣвой ногой на полозъ и, повиснувъ на дугѣ, отталкивался отъ земли правой ногой на всемъ бѣгу, перескакивалъ взадъ и впередъ черезъ нарту съ искусствомъ опытнаго жонглера, поддерживалъ ее на раскатахъ и поворотахъ; однимъ словомъ, проявлялъ полную мѣру той необычной дѣятельности, которая достается на долю каждому каюру, управляющему упряжкой въ двѣнадцать собакъ съ двадцатипудовымъ грузомъ на длинной, узкой и неустойчивой нартѣ, готовой каждую минуту опрокинуться на бокъ безъ поддержки человѣка.

VI.

Яякъ съ утра сталъ дѣятельно приготовляться къ отъѣзду. Онъ думалъ уѣхать на слѣдующее утро; но ему было необходимо тщательно осмотрѣть состояніе своей нарты и упряжки, прежде чѣмъ пуститься въ далекій путь по безлюдной пустынѣ. Онъ внимательно осмотрѣлъ одну за другой всѣхъ своихъ собакъ, изслѣдуя ихъ пахи, чтобы убѣдиться, что они не имѣютъ ссадинъ и достаточно защищены отъ мороза густою шерстью. Потомъ вынулъ изъ своей нарты двѣнадцать шлей и цѣлую кучу собачьихъ сапогъ, небольшихъ кожаныхъ мѣшечковъ, предназначенныхъ для надѣванія на собачьи ноги, когда ихъ

подошвы протрутся до крови о шероховатую поверхность убоя. Эта обувь была прорвана во многихъ мѣстахъ, шлеи тоже нуждались въ починкѣ. Онъ принесъ ихъ въ шатеръ Уквуна и молча кинулъ по направленію къ Вельвунѣ. Онъ не забылъ вчерашней обиды и отъ женщинъ Кителькута не хотѣлъ принимать больше услугъ. Осмотрѣвъ упряжь, онъ втащилъ свою нарту въ задній шатеръ и принялся изслѣдовать вязки[50] и перевязывать темляки[51], расхлябавшіеся отъ многочисленныхъ спусковъ и подъемовъ предыдущей дороги. Приведя въ порядокъ нарту, онъ навойдалъ полозья и вытащилъ ее на дворъ, чтобы зарыть въ сугробѣ. Ему было такъ противно снова заговорить съ Кителькутомъ о своихъ торговыхъ дѣлахъ, что онъ инстинктивно откладывалъ это объясненіе какъ можно дальше. Поэтому онъ принесъ съ подгорья длинный и прямой обрубокъ сосны и сталъ вырубать изъ него полозья. Уквунъ нашелъ это дерево среди сплавного приморскаго лѣса, который изъ году въ годъ накапливался на крайней стрѣлкѣ мыса, и припасъ его въ подарокъ Яяку, такъ какъ на Чаунѣ не было подходящаго лѣса на полозья. Зато Яякъ привезъ своему двоюродному брату пыжиковъ на кукашку и черныхъ камусовъ[52] на двѣ пары обуви.

Расколовъ дерево пополамъ, Яякъ сталъ обтесывать станъ полозьевъ, желая уменьшить ихъ вѣсъ для перевозки на Чаунъ. Онъ такъ тянулъ эту работу, что, когда отложилъ въ сторону гатку[53], солнце склонялось къ вечеру. Медлить дольше было невозможно, такъ или иначе слѣдовало покончить съ торгомъ. Закатъ уже наступалъ, а рано утромъ онъ думалъ уѣзжать. Онъ еще разъ сходилъ къ собакамъ, какъ будто для того, чтобы набраться бодрости отъ лицезрѣнія своего любимаго Бѣлонога, и потомъ немедленно прошелъ къ переднему шатру.

Кителькутъ сидѣлъ передъ входомъ и тоже тесалъ что-то гаткой.

— Ну, гдѣ у тебя? — сказалъ Яякъ, насупившись и не глядя на старика. — Сколько чего хочешь дать, такъ давай!

— Ты самъ знаешь, сколько, — тотчасъ же отвѣтилъ Кителькутъ. — Возьмешь, такъ дамъ.

Они уже нѣсколько разъ пробовали договариваться о торгѣ. Яякъ привезъ на промѣнъ около двухсотъ телячьихъ шкурокъ и, кромѣ того, пятьдесятъ большихъ шкуръ. Прежде всего ему нужно было желѣзо: два небольшихъ котла, два топора и два большихъ ножа. Старикъ предлагалъ ему за его шкуры, кромѣ желѣзныхъ издѣлій, еще десять кирпичей чаю и двадцать папушъ табаку. Собственно говоря, такія условія не были особенно обидны. Весь вопросъ былъ въ табакѣ. Вмѣсто большихъ папушъ, такъ называемыхъ «сумныхъ неломанныхъ», т. е. сохранившихъ

неприкосновенность первоначальной связки, у старика были весьма сомнительныя мелкія папушки, изъ которыхъ чья-то коварная рука болѣе или менѣе искусно убавила около трети первоначальнаго количества. На нихъ-то и намекалъ Яякъ, когда минувшимъ вечеромъ упрекалъ Кителькута въ томъ, что онъ изъ одной папуши норовитъ сдѣлать двѣ.

— Давай! — сказалъ Яякъ неохотно.

Старикъ ушелъ внутрь шатра и черезъ минуту вынесъ всѣ товары, перечисленные выше. Онъ, очевидно, приготовилъ ихъ заранѣе. Онъ былъ увѣренъ, что Яякъ въ концѣ концовъ согласится на его условія, и хотѣлъ, чтобы совершеніе сдѣлки прошло какъ можно скорѣе. Чаунецъ взялъ котлы и сталъ ихъ разсматривать и ощупывать крѣпость стѣнокъ и дна; потомъ снялъ съ пояса свой маленькій, совершенно источенный ножикъ и сталъ пробовать достоинство ножей и топоровъ.

Собственно говоря, въ этомъ не было никакой нужды. Онъ уже нѣсколько разъ тщательно изслѣдовалъ эти издѣлія и признавалъ ихъ качество довольно удовлетворительнымъ. Большіе блестящіе ножи якутской работы, въ кожаныхъ ножнахъ, пестро изукрашенныхъ бѣлой и желтой жестью, ему положительно нравились. Даже и теперь онъ вдругъ почувствовалъ искушеніе надѣть одинъ изъ ножей себѣ на поясъ вмѣсто своего стараго ножа, но удержался и угрюмо переложилъ кучку желѣзныхъ издѣлій на свою сторону. За желѣзомъ послѣдовали чайные кирпичи; но и противъ нихъ онъ ничего не могъ сказать. Теперь дошла очередь до табаку. Онъ принялъ отъ старика кожаную сумку, зашитую тонкимъ ремешкомъ по устью, и долго ощупывалъ ее со всѣхъ сторонъ и взвѣшивалъ на рукахъ, какъ будто не рѣшаясь заглянуть внутрь. Табаку рѣшительно было мало. Въ умѣ его опять промелькнулъ разсчетъ, что если изъ такой малой сумки раздать родственникамъ и друзьямъ, то на его долю ничего не останется. Наконецъ, онъ съ рѣшительнымъ видомъ развязалъ ремень и, порывшись, вытащилъ одну папушку изъ тѣхъ, которыя лежали на днѣ. Мелкая табачная пыль, поднявшаяся со дна, заставила его чихнуть.

— О и табакъ! — сказалъ Кителькутъ. — Чисто сахаръ!..

Этимъ сравненіемъ, часто употребляемымъ на сѣверѣ, онъ хотѣлъ выразить, что его табакъ въ своемъ родѣ такъ же вкусенъ, какъ сахаръ. Отъ своихъ русскихъ друзей старикъ научился показывать товаръ лицомъ.

Яякъ ничего не отвѣтилъ. Онъ съ мрачнымъ лицомъ разсматривалъ папушу, которую держалъ въ рукѣ. Какъ на грѣхъ, ему попалась чуть ли не самая дрянная во всей сумѣ, какая-то короткая, сиротливаго вида папушка, обдерганная и

обкромсанная со всѣхъ сторонъ и неестественно раздутая посрединѣ. Корешки листьевъ были перевязаны ниткой, ссученной изъ оленьихъ жилъ, конечно, весьма недавняго происхожденія. Яякъ отвязалъ нитку и бросилъ въ сторону, потомъ развернулъ папушу. Раздутость объяснилась очень просто: въ середину папуши былъ затиснутъ пучекъ табачныхъ кореньевъ, почти совершенно негодныхъ для куренія. Яякъ вытащилъ коренья, положилъ ихъ на ладонь, пристально поглядѣлъ на нихъ, и вдругъ его нижняя челюсть затряслась.

— Еще скажутъ, что я самъ… — проговорилъ онъ, всхлипывая, какъ огромный ребенокъ. — Будутъ говорить на Чаунѣ, что листья я самъ выкурилъ, а коренья привезъ друзьямъ…

При видѣ этихъ слезъ даже Кителькутъ почувствовалъ смущеніе.

— Это не я! — счелъ нужнымъ оправдаться онъ. — Это русскіе сдѣлали… Мои руки не ломали папушъ.

Но Яякъ уже не плакалъ.

— Развѣ ты безъ глазъ? — гнѣвно спросилъ онъ.

— Я былъ пьянъ, — сказалъ старикъ почти кроткимъ тономъ.

Воспоминаніе о водкѣ окончательно вывело Яяка изъ себя. Онъ вдругъ швырнулъ табакъ на землю съ такой силой, что листья разлетѣлись во всѣ стороны.

— Не надо! — заревѣлъ онъ во все горло. — Бездѣльникъ! Отдай назадъ мои шкуры!

По обычаю, немедленно по пріѣздѣ, онъ сдалъ свои шкуры старику на храненіе, и теперь онѣ лежали въ мѣшкахъ въ общемъ хранилищѣ Кителькута сзади полога.

Старикъ въ свою очередь разсердился.

— Ты зачѣмъ швыряешь чужое добро, моховая морда[54]? — крикнулъ онъ, дѣлая шагъ по направленію къ противнику. — Вотъ схвачу за шею, да швырну съ утеса, мѣшокъ съ гнилымъ мясомъ!

Онъ стоялъ передъ Яякомъ, выпрямивъ свой станъ, еще сохранившій полную мужскую крѣпость. Онъ былъ почти такого же роста, какъ и чаунскій богатырь, но значительно тоньше и костлявѣе. Въ борьбѣ и дракѣ онъ долженъ былъ явиться, пожалуй, не менѣе опаснымъ противникомъ, чѣмъ и самъ Яякъ.

— Обманщикъ! — кричалъ чаунецъ. — Отдай назадъ мои шкуры! — и съ характернымъ чукотскимъ движеніемъ онъ оскалилъ зубы и крѣпко закусилъ рукавъ мѣховой рубахи, точь-въ-точь какъ собака, которая угрожаетъ другой собакѣ.

— Возьми! — сказалъ старикъ, возвращая все свое хладнокровіе. — Къ чорту твоихъ телятъ!

Онъ опять ушелъ въ шатеръ и вернулся, таща за собой два длинныхъ и узкихъ мѣшка, сдѣланныхъ изъ цѣльной шкуры

тюленя, распоротой поперекъ брюха въ видѣ устья.

— Съ этого времени не ѣзди и не проси о торгѣ! — сказалъ онъ. — Какое сокровище! — насмѣшливо прибавилъ онъ, выбрасывая изъ мѣшковъ рыжія и пестрыя шкуры. — Подумаешь, бобры!

Въ самомъ дѣлѣ, выпоротки въ его глазахъ имѣли такъ мало цѣнности, что онъ почти не жалѣлъ о несостоявшейся сдѣлкѣ.

Изъ-подъ угорья послышался свистъ и сухое шарканье полозьевъ.

— Сто-ой! сто-ой! — кричалъ Коравія, останавливая собакъ. — Йаго! Съ медвѣдемъ! — раздался его громкій и веселый окликъ. — Бабы, напоите!

Обычай требовалъ, чтобы женщины совершили на голову привезенной добычи возліяніе теплой воды, прежде чѣмъ подвезти ее къ дому.

— Съ медвѣдемъ! Йаго! — радостно крикнули Кайменъ и его жена, игравшіе на площадкѣ, и кубаремъ скатились съ угорья.

Кителькутъ бросилъ на снѣгъ полуопорожненные мѣшки и быстро сбѣжалъ внизъ, совершенно забывъ объ Яякѣ.

— Кто убилъ? — кричалъ онъ, подбѣгая къ нартѣ.

— Нуватъ, — сказалъ Коравія.

— А гдѣ Нуватъ? — поспѣшно спросилъ старикъ.

— Къ сѣтямъ ушелъ! — сказалъ Коравія.

— А съ нимъ ничего не случилось? — спросилъ подозрительно Кителькутъ.

Коравія поднялъ голову, удивляясь странности вопроса.

— Если бы случилось, развѣ я оставилъ бы сзади? — отвѣтилъ онъ. — Да вонъ онъ бѣжитъ! — прибавилъ онъ, указывая на движущуюся точку, показавшуюся на горизонтѣ.

Старикъ съ облегченіемъ вздохнулъ и принялся разсматривать и ощупывать добычу.

— Ну, шкура! — говорилъ онъ съ довольнымъ видомъ. — Кривой Федька пріѣдетъ, меньше, какъ за пятнадцать[55], не отдамъ.

Они стали помогать собакамъ тащить медвѣжью тушу наверхъ, поддерживая и подтягивая нарту съ обѣихъ сторонъ. Кайменъ шелъ рядомъ съ нартой и тоже помогалъ тащить ее вверхъ своими маленькими ручками. Въ сущности, впрочемъ, онъ самъ тащился за нартой на особенно крутыхъ мѣстахъ, такъ какъ скользкія подошвы его сапогъ, сдѣланныя изъ оленьихъ щетокъ[56], постоянно съѣзжали внизъ, и онъ то и дѣло падалъ носомъ на мягкую шерсть убитаго медвѣдя.

Яякъ сошелъ съ угорья вслѣдъ за старикомъ, чтобы посмотрѣть на великолѣпную добычу. У него тоже было сердце

охотника. Теперь онъ шелъ сзади нарты.

Когда, на крутомъ подъемѣ, собаки подернули недружно, и нарта раскатилась назадъ, онъ снизошелъ даже до того, чтобы подхватить тяжелый задокъ и удержать его на вѣсу.

Очутившись наверху, онъ опять посмотрѣлъ на свои выпоротки, небрежно брошенные на снѣгу, и они вдругъ показались ему въ высшей степени жалкими.

— Возьми! — сказалъ онъ Кителькуту, который помогалъ Коравіи разгружать медвѣдя. — Убери обратно! А я возьму табакъ.

— Хорошо! — сказалъ торговецъ. — Только помни! Больше не мѣняй ума! Все равно не отдамъ назадъ.

Онъ убралъ шкуры въ шатеръ.

Чаунецъ собралъ желѣзо и табакъ и отнесъ къ своей нартѣ. У него теперь явился новый планъ, и онъ рѣшился отложить свой отъѣздъ еще на день. На завтра Кителькутъ долженъ былъ справлять тризну медвѣдю и вмѣстѣ съ тѣмъ принести благодарственную жертву за избавленіе отъ вьюги. По древнему обычаю, гость, присутствующій на такомъ праздникѣ, имѣетъ право просить у хозяина въ подарокъ любую вещь по своему желанію. Яякъ намѣревался заявить на праздникѣ притязаніе на недостающее ему количество табаку и надѣялся, что Кителькутъ не рѣшится отказать ему. Отказъ въ подобной просьбѣ считается у чукчей тяжкой обидой, влекущей полный разрывъ дружественныхъ сношеній. Чаунецъ довольно справедливо думалъ, что старикъ получаетъ отъ него черезчуръ много выгодъ, чтобы оттолкнуть его отъ себя безъ всякой уважительной причины. Обычай требуетъ также соотвѣтственныхъ даровъ и со стороны гостя; но для нихъ не назначается никакого опредѣленнаго срока, и Яякъ думалъ привезти отдарокъ въ будущій свой пріѣздъ. До будущаго года было далеко, и Яякъ мало думалъ объ этомъ. Онъ охотно взялъ бы у Кителькута табакъ въ видѣ долга, если бы между чукчами существовало обыкновеніе давать въ долгъ.

VII.

На другой день жители поселка проснулись съ первымъ лучомъ разсвѣта. Женщины въ шатрѣ Кителькута чуть не съ полночи начали возиться, вытапливая сало изъ толченыхъ костей оленя и приготовляя жертвенную похлебку изъ тюленьей крови, смѣшанной съ кореньями и жиромъ. Рынтына наварила цѣлую гору самаго разнообразнаго мяса, какое только нашлось въ ея

пищевыхъ мѣшкахъ. Яякъ провелъ ночь въ заднемъ шатрѣ; но немедленно по пробужденіи онъ явился къ Кителькуту вмѣстѣ съ Уквуномъ и его женами. Женщины расчистили снѣгъ сзади шатра и соединенными усиліями перетащили туда медвѣжью тушу. Янта вынесла идоловъ, представлявшихъ одновременно снарядъ для добыванія огня, и разставила ихъ въ рядъ. Рынтына извлекла изъ какого-то сокровеннаго тайника огромную связку наслѣдственныхъ амулетовъ, большею частью представлявшихъ невзрачные кусочки дерева, раздвоенные съ одного конца; были тутъ также черные камни странной формы, нѣсколько вороньихъ и песцовыхъ череповъ и даже одна человѣческая челюсть въ кожаномъ чехлѣ, почернѣвшемъ отъ времени. Все это было навязано на одну длинную веревку, въ видѣ чудовищныхъ четокъ, покрыто толстымъ слоемъ копоти и лоснилось отъ жира.

— Онъ просилъ пеструю собаку, — сказалъ Кителькутъ рѣшительнымъ тономъ, — приведите Пестряка!

Пестрякъ была лучшая собака той упряжки, на которой ѣздилъ Коравія. Коравія выстегнулъ собаку изъ своего потяга. Пестрякъ, думая, что его распрягаютъ, весело повиливалъ хвостомъ; онъ совсѣмъ не предчувствовалъ своей участи.

— Бѣдняжка! — сказалъ Нуватъ. — Хоть покормите его передъ смертью! — И онъ отрѣзалъ кусокъ отъ жертвеннаго мяса и бросилъ собакѣ. Потомъ надѣлъ ей на шею петлю и взялъ въ руки конецъ, Кителькутъ обвязалъ заднія ноги собаки другимъ ремнемъ и подалъ конецъ Янтѣ.

— Тяните! — сказалъ онъ, беря въ руки копье.

Коравія отвернулся — онъ не могъ видѣть смерти этой собаки, которую ежедневно кормилъ и ласкалъ. Пестрякъ, растянутый на двухъ веревкахъ, почувствовалъ себя неудобно и жалобно визгнулъ, какъ будто жалуясь на жестокое обращеніе съ собою.

Кителькутъ наставилъ копье подъ лѣвую лопатку и нанесъ ударъ. Собака пронзительно завизжала, рванулась въ сторону и стала биться, стараясь закусить ремень, стягивавшій ей горло. Черезъ минуту она уже лежала на снѣгу, подергиваясь въ послѣдней судорогѣ. Кителькутъ зачерпнулъ рукой нѣсколько капель крови изъ свѣжей раны и брызнулъ сначала вверхъ Богу Творцу, живущему на макушкѣ неба, на Звѣздѣ Воткнутаго Дерева, потомъ на востокъ — Разсвѣту, потомъ на сѣверъ — Вѣтру-Хозяину, главному владѣтелю этой холодной земли, потомъ внизъ — землѣ и подземнымъ духамъ. Жертву повернули головой къ востоку и подложили ей подъ голову и задъ по маленькой вѣткѣ тальника, еще сохранившей нѣсколько увядшихъ листьевъ.

Нуватъ зарѣзалъ ножемъ небольшого щенка на жертву духу убитаго медвѣдя. Женщины развели огонекъ надъ головой медвѣдя, потомъ совершили возліяніе кровяной похлебкой и стали разбрасывать во всѣ стороны мясо и сало, накрошенное мелкими кусочками. Рынтына вынула изъ котла свитокъ кишки, начиненной жиромъ, и, разрѣзавъ ее на кусочки, украсила ими уши и зубы медвѣдя; засунула также по кусочку въ пасть убитымъ собакамъ. Идолы и амулеты были вымазаны жиромъ и испятнаны свѣжей жертвенной кровью. Участвующіе взяли по куску жертвеннаго мяса и стали ѣсть. Первая часть церемоніи была окончена.

Вельвуна, хватаясь руками за веревки, стала карабкаться на верхушку шатра для того, чтобы заглушить шкурами дымовое отверстіе. Другіе участники уносили внутрь шатра жертвы и идоловъ. Нуватъ и Янта, какъ наслѣдники семейнаго служенія, положивъ на тарелки мяса, медленно пошли кругомъ шатра.

— Го-го! Го-гокъ! — громко кричали они, отпугивая враждебныхъ духовъ отъ своего жилища. Потомъ они отошли въ сторону и, выкопавъ въ снѣгу ямку, положили туда по кусочку отъ каждаго сорта мяса, покропили его вареной кровью и тщательно зарыли и заровняли съ поверхностью. Окончивъ послѣднее жертвоприношеніе, они тоже вернулись въ шатеръ.

Всѣ отверстія шатра были наглухо закрыты. Небольшой огонекъ, курившійся на очагѣ, уже успѣлъ наполнить дымомъ переднее отдѣленіе. Яркіе и прямые снопы солнечныхъ лучей, проникавшіе сквозь крошечныя дырки кожаной оболочки, прорѣзывали эту густую атмосферу длинными пучками, тонкими у основанія, но постепенно расширявшимися и оканчивавшимися круглымъ свѣтовымъ пятномъ на противоположной стѣнѣ или разбивавшимися о частый переплетъ шатровыхъ столбовъ, жердей и пятниковъ.

Мужчины были въ обыкновенной носильной одеждѣ, но женщины надѣли поверхъ своихъ керкеровъ[57] широкіе балахоны, разукрашенные разноцвѣтной бахромой и пучками сѣрой и черной шерсти.

Кителькутъ съ бубномъ въ рукѣ и съ длинной деревянной палкой, вмѣсто обыкновенной пластинки китоваго уса, сталъ передъ огнемъ со стороны входа, обратившись лицомъ къ внутреннему отдѣленію. Съ другой стороны огня стала Рынтына на оленьей шкурѣ, обратившись лицомъ къ мужу.

— Го-гокъ! — закричалъ Кителькутъ, ударивъ палкой по деревянному станку бубна.

— Го-гокъ, го-гокъ, го-гокъ! — дружно и громко отвѣтили всѣ присутствующіе.

Началась торжественная пляска. Нуватъ и Янта, согнувъ колѣни и разставивъ носки врозь, прыгали взадъ и впередъ вокругъ огня. Кителькутъ и его жена медленно и размѣренно плясали другъ противъ друга, присѣдая то вправо, то влѣво, съ протянутыми руками и съ различными странными тѣлодвиженіями. Оба они пѣли свой особый, одинаково сложный и трудный для исполненія напѣвъ, который перешелъ къ нимъ по наслѣдству: — Кителькуту отъ отца, а Рынтынѣ отъ матери, — постепенно возвышая голосъ и ускоряя темпъ пѣнія, но продолжая свои движенія въ прежнемъ размѣренномъ порядкѣ. Одинъ за другимъ всѣ присутствующіе приставали къ нимъ, начиная каждый свою особую пѣснь и постепенно возвышая голосъ. Весь шатеръ наполнился звуками. Неискусный въ священныхъ обрядахъ, Коравія пѣлъ свою обычную пѣсню, которой онъ сокращалъ себѣ время у оленьяго стада и у тюленьей сѣти. Уквунъ стоялъ, прислонясь лицомъ къ столбу, и пѣлъ тихимъ и тонкимъ голосомъ странный и грустный напѣвъ съ безчисленными горловыми переливами и неожиданными переходами тоновъ. Анека, скорчившись, сидѣла на землѣ и, закрывъ лицо ладонями, пропускала сквозь неплотно сжатые пальцы безконечный рядъ прерывистыхъ, прыгающихъ, всхлипывающихъ и булькающихъ звуковъ. Ея ротъ какъ будто былъ наполненъ водой, и она давилась при каждой нотѣ. Якъ гудѣлъ глухо и монотонно, изрѣдка разнообразя свое пѣніе громкими и сердитыми выкриками. Онъ какъ будто все еще бранился съ Кителькутомъ изъ-за табаку, но выражалъ свой гнѣвъ, вмѣсто членораздѣльныхъ словъ, протяжными, скрипучими и невразумительными звуками. Только Нуватъ, окончивъ свою часть пляски, усѣлся на землѣ съ скучающимъ видомъ. Онъ чувствовалъ свое вдохновеніе истощеннымъ послѣ позапрошлой ночи и не ощущалъ желанія будить своихъ духовъ новыми призывами. Старый Кителькутъ искоса поглядѣлъ на сына, продолжая наколачивать бубенъ палкой. Ему вдругъ пришло въ голову, что, можетъ быть, его опасенія насчетъ Нувата были преувеличены.

Наконецъ, Кителькутъ усталъ и сошелъ съ своего мѣста. Но служеніе не прекращалось. Мужчины смѣняли другъ друга за бубномъ, а женщины чередовались въ пляскѣ. Шумъ все усиливался. Женщины тоже стали показывать свое искусство на натянутой кожѣ. Уквунъ послалъ Вельвуну за своимъ собственнымъ бубномъ. Теперь уже всѣ женщины прыгали одновременно около огня, издавая ужасные нечеловѣческіе вопли. Два бубна гремѣли и дребезжали взапуски, какъ будто стараясь заглушить другъ друга. Въ Янту вдругъ вселился духъ

убитаго медвѣдя, и она отчаянно затопала ногами и завертѣлась на мѣстѣ съ фырканіемъ, хрипомъ и пѣной у рта, какъ она неоднократно видѣла у другихъ женщинъ на такихъ празднествахъ. Кто уставалъ, садился на землю и, отдохнувъ немного, снова присоединялся къ шабашу. Собаки на дворѣ выли въ семьдесятъ здоровыхъ глотокъ и на семьдесятъ разнообразныхъ голосовъ. Можно было подумать, что онѣ тоже справляютъ праздникъ.

Въ самый разгаръ церемоніи Якъ вдругъ громко хлопнулъ въ ладоши.

— Вижу! Табакъ! — крикнулъ онъ, обращаясь къ Кителькуту съ обычной формулой просьбы.

Крики и шумъ умолкли, какъ будто по командѣ. Домашніе Кителькута смутились отъ неожиданности, а Уквунъ съ любопытствомъ ждалъ, что отвѣтитъ старикъ. Но Кителькутъ отчасти предвидѣлъ выходку чаунца и твердо рѣшился не разставаться ни съ одной лишней папушей табаку. Онъ захватилъ лѣвой рукой колотушку вмѣстѣ съ бубномъ, а правую поднесъ къ горлу.

— Хоть горло перерѣжь! — произнесъ онъ формулу отказа, сразу отрекаясь отъ всякой торговли и знакомства съ Якомъ и подтверждая свое утреннее приглашеніе не ѣздить больше за торгомъ на Каменный Мысъ. Онъ не могъ не припомнить въ эту минуту, что шкуры Яка лежатъ въ его мѣшкахъ въ темномъ углу шатра и составляютъ теперь его полную, законно пріобрѣтенную собственность.

Услышавъ отказъ, Якъ молча подобралъ свою шапку и вышелъ изъ шатра.

Служеніе послѣ его ухода продолжалось довольно долго, но совершалось уже безъ прежняго воодушевленія. Всѣхъ озабочивала мысль о только что происшедшемъ.

Нуватъ, не принимавшій почти никакого участія ни въ пляскѣ, ни въ пѣніи, вышелъ изъ полога провѣдать собакъ. Якъ стоялъ на площадкѣ передъ шатромъ. Онъ, видимо, ожидалъ перваго, кто выйдетъ изъ шатра.

— Скажи своему отцу, — заговорилъ онъ тихимъ, но тѣмъ болѣе зловѣщимъ голосомъ, — Кителькуту скажи: — Вотъ вы отвергли меня, стараго знакомца оттолкнули прочь, товарища-однокорытника выгнали, какъ собаку. Пускай! Завтра уѣду, рано утромъ удалюсь съ вашего стойбища! Пускай! Больше не будемъ видѣть другъ друга! Пускай, пускай, пускай! — твердилъ онъ, не находя другихъ словъ и стараясь не давать воли своему гнѣву.

— Онъ сказалъ: перерѣжь горло! — вдругъ вырвалось у него громкимъ запальчивымъ крикомъ. — Наргиненъ слышалъ. Да

будетъ! Всѣ ножи, топоры, копья, всѣ острыя вещи слышатъ!..

И онъ отошелъ въ сторону, повидимому, опасаясь прибавить болѣе, и скрылся въ глубинѣ задняго шатра.

Собаки, успѣвшія успокоиться, опять залились оглушительнымъ воемъ, какъ будто желая подчеркнуть послѣднія слова раздраженнаго чаунца.

Нуватъ задумчиво посмотрѣлъ ему вслѣдъ и съ недовольнымъ видомъ почесалъ лобъ.

Въ этотъ вечеръ семья Кителькута совершала ужинъ мирно и молчаливо. Якъ сидѣлъ въ шатрѣ Уквуна и не показывался наружу, и Коравія накормилъ, по обыкновенію, его собакъ вмѣстѣ съ своими. Молодые промышленники хотѣли улечься рано. Нуватъ былъ еще задумчивѣе обыкновеннаго и то и дѣло потиралъ рукою лобъ. Онъ никакъ не могъ отдѣлаться отъ непріятнаго чувства, навѣяннаго словами чаунца.

Черезъ пять минутъ лампа была погашена, и домашніе Кителькута огласили пологъ громкимъ храпомъ самаго различнаго тембра и характера. Нуватъ выбралъ себѣ ложе рядомъ съ отцомъ, но заснуть не могъ.

— Отецъ! — наконецъ, окликнулъ онъ старика. — Ты не спишь?

— Нѣтъ! — отвѣтилъ Кителькутъ. — Чего тебѣ?

Наступило короткое молчаніе. Нуватъ, видимо, искалъ словъ, чтобы начать разговоръ.

— Отецъ! — наконецъ, сказалъ онъ. — Яяку пришелъ великій гнѣвъ.

Кителькутъ ничего не отвѣтилъ. Однако, можно было слышать въ темнотѣ, какъ онъ повернулся на постели лицомъ къ сыну, очевидно, для того, чтобы удобнѣе разговаривать.

— Чаунскій человѣкъ имѣетъ худое сердце! — настойчиво продолжалъ Нуватъ.

— Собака злится, никто ее не боится! — проворчалъ нехотя старикъ.

— Я видѣлъ его лицо, — сказалъ Нуватъ. — Вся его кровь почернѣла!

— Чтобы ей протухнуть до тюленьей черноты! — выругался старикъ.

Наступила вторая пауза.

— Отчего ты ему не далъ табаку? — нерѣшительнымъ тономъ спросилъ Нуватъ.

— А ты знаешь, сколько мы должны Кулючину? — сказалъ старикъ. — Другимъ станемъ раздавать, собственный долгъ не покроемъ… Развѣ хорошо?

Нуватъ не отвѣчалъ.

— Я выпилъ у Кулючина десять бутылокъ, — продолжалъ отецъ, — и еще хочу выпить на ярмаркѣ. Ты думаешь, онъ даетъ даромъ?

— Хотя бы малую прибавку Яяку! — тихо сказалъ Нуватъ.

— Пустое! — сказалъ старикъ. — Выпоротки — худой товаръ. Кулючинъ говоритъ: выпоротки не стоятъ водки; привези лисицъ!

— Хоть бездѣлицу! — настаивалъ Нуватъ. — Погладить по сердцу, утолить гнѣвъ!

— Не дамъ! — сказалъ старикъ. — Всѣ пустыя руки не наполнишь, всѣхъ пустыхъ угрозъ не переслушаешь!

— Кто щуритъ глаза, тому медвѣдь — мышью, — возразилъ Нуватъ пословицей.

— А я тебѣ вотъ что скажу, парень, — сердито началъ старикъ, — мой умъ твоего не хуже. Или я ничего не видѣлъ на свѣтѣ?

Нуватъ молчалъ.

— Много видѣлъ! — продолжалъ старикъ. — Однажды гнались за моржами. Старый моржъ забросилъ зубы черезъ край байдары, отпоролъ на маховую сажень: налилось воды до набоевъ. Насъ было восьмеро; семеро стали безъ рукъ, а я ткнулъ копьемъ ему въ пасть и проткнулъ до затылка.

— Злой человѣкъ страшнѣе моржа, — сказалъ Нуватъ.

— А то еще было, — медленно продолжалъ старикъ. Гнѣвъ его успокоился, но въ темнотѣ, повидимому, передъ нимъ проходили воспоминанія его минувшей жизни. — Возвращаясь отъ русскихъ, я ѣхалъ… У Айона[58] прилетѣла вьюга… Пять сутокъ просидѣлъ подъ застругой… Духи плевали мнѣ въ глаза ледяною пѣной… Провѣяли надо мной весь снѣгъ тундры. Всѣ собаки остались подъ убоемъ, а я ушелъ и остался живъ….

Нуватъ молчалъ.

— Однажды вѣтеръ со взгорья раскололъ ледяное поле, — продолжалъ старикъ, — унесло меня на льдинѣ; по открытому морю носило… носило… Десять дней сосалъ торосъ вмѣсто талой воды, жевалъ ремни вмѣсто варенаго мяса, видѣлъ горы земли Крекая[59], а прибило-таки къ этому берегу, вышелъ, остался живъ.

— Живой врагъ хуже враждебнаго духа! — сказалъ Нуватъ.

— Пустое! — сказалъ старикъ. — Злыхъ людей тоже видѣлъ много. Вѣкъ свой живу между племенами; половину ночей проспалъ на чужихъ изголовьяхъ. Если будешь трусить, какъ хочешь ходить по землѣ?

— Не за себя боюсь! — сказалъ Нуватъ съ легкой дрожью въ голосѣ. Его укололъ такой прямой укоръ въ трусости.

— Помнишь Ималинъ? — вдругъ сказалъ старикъ. — Гдѣ

вмѣсто бѣлыхъ песцовъ голубые? Островъ на морѣ?

— Помню! — отозвался Нуватъ, — гдѣ люди носятъ одежду изъ птичьихъ шкуръ…

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ отецъ бралъ его съ собою во время лѣтней поѣздки за торгомъ, и они заѣзжали на этотъ небольшой островъ на полупути между двумя великими материками.

— Ты еще не былъ на свѣтѣ, — сказалъ Кителькутъ, — да и у меня самого животъ только-что оброслъ пухомъ. Мы ходили за пушниной съ покойнымъ Леутомъ, на байдарѣ, шесть человѣкъ… Возили табакъ. Тогда табакъ былъ дорогъ, не такъ, какъ теперь. За моремъ давали суму за суму: табакъ вынутъ, набьютъ лисицами. На обратномъ пути зашли на Ималинъ. Мы съ Леутомъ двое пошли черезъ островъ, пѣшкомъ, съ котомками за спиной. Перешли черезъ островъ; на берегу поселокъ. Вышла ссора… *Ротастые* (эскимосы) захотѣли ограбить. Было десять нападавшихъ, а мы и то отбились и унесли въ цѣлости товары.

— Завтра онъ уѣдетъ! — задумчиво сказалъ Нуватъ. — Говоритъ — рано утромъ.

— Пусть ему вѣтеръ дуетъ сзади! — сказалъ старикъ.

— Но когда-нибудь можете встрѣтиться! — выразительно сказалъ Нуватъ.

— Какая встрѣча, — безпечно возразилъ Кителькутъ. — Гдѣ онъ ѣздитъ, — и гдѣ я? Его глаза не увидятъ приморской дороги. Вотъ уѣдетъ, забудемъ навѣки, какъ будто не было.

Нуватъ не чувствовалъ себя особенно удовлетвореннымъ.

— Ну, ладно! — сказалъ онъ, наконецъ. — Пусть онъ уѣдетъ пока!..

Опять наступило молчаніе.

— Отецъ! — вдругъ сказалъ молодой человѣкъ, — отчего мое сердце вздрагиваетъ, какъ пузырь куропатки?[60] — Онъ произнесъ эти слова такимъ страннымъ тономъ, что Кителькутъ вздрогнулъ.

— Что ты слышишь? — спросилъ онъ. Ему показалось, что Нуватъ прислушивается къ чему-то.

— Не знаю! — сказалъ Нуватъ опасливо. — Духъ пролетѣлъ мимо меня.

Отецъ недовольно фыркнулъ.

— Пусть же летаетъ! — сказалъ онъ угрюмо. — А мы станемъ спать! Завтра надо вставать, какъ можно раньше. — И онъ сердито отвернулся отъ сына и черезъ минуту уже присоединилъ свой тонкій и равномѣрный храпъ къ общему храпящему хору. Быть можетъ, онъ только показывалъ видъ, что спитъ.

Нуватъ продолжалъ лежать на постели съ открытыми

глазами, всматриваясь въ темноту и вслушиваясь во что-то беззвучное, не имѣвшее никакого голоса для обыкновеннаго смертнаго уха.

VIII.

На другой день Коравія при брезжущемъ разсвѣтѣ уже войдалъ свою нарту, собираясь отправиться къ сѣтямъ. Яякъ тоже вышелъ изъ сосѣдняго шатра и сталъ возиться около своей нарты. Онъ, очевидно, готовился къ отъѣзду, выносилъ изъ шатра сумки и связки ремней, тюленьи шкуры и т. п. и раскладывалъ ихъ по нартѣ вдоль и поперекъ. Кителькутъ еще вчера распорядился, чтобы всѣ его вещи были перенесены къ Уквуну, и ему не было надобности заглядывать въ передній шатеръ. Яякъ, повидимому, и не думалъ объ этомъ и сосредоточилъ все вниманіе на томъ, чтобы уложить свое имущество такъ, чтобы оно занимало какъ можно меньше мѣста. Кителькутъ тоже вышелъ изъ своего шатра.

— А ты чего не запрягаешь? — довольно сурово сказалъ онъ Коравіи. Въ его принципы входило строго обращаться съ своимъ нареченнымъ зятемъ.

— Нуватъ говоритъ: подожди! — отвѣчалъ Коравія, кивая головой на своего товарища, который сидѣлъ на корточкахъ по другую сторону шатра, обхвативъ колѣни съ своимъ обыкновеннымъ задумчивымъ видомъ.

— Зачѣмъ ждать? — обернулся съ удивленіемъ Кителькутъ къ сыну.

— Пусть тотъ уѣдетъ сначала, — сказалъ молодой человѣкъ, — а мы потомъ.

Старикъ вдругъ разсердился.

— Я что, баба? — крикнулъ онъ. — Что ты меня караулишь? Развѣ мои руки слабы? Я ѣзжу по тундрѣ отъ одного конца до другого, — или тамъ тоже ты хочешь быть моимъ сторожемъ?

Онъ нарочно кричалъ такъ громко, что Яякъ не могъ не слышать его словъ.

— Мои руки берегутъ мое тѣло! — продолжалъ старикъ. — Вамъ же добываю и вожу, а вы сидите дома.

— Пусть тотъ уѣдетъ первый! — упрямо повторялъ Нуватъ.

— Я знаю! — кричалъ старикъ. — Ты лѣнишься рано загремѣть пешней. Теперь молодые люди стали лѣнивы.

Лицо Нувата окрасилось легкой краской. Для молодого человѣка нѣтъ ничего позорнѣе упрека въ лѣни, высказаннаго устами отца. Онъ не отвѣтилъ ни слова и, взявъ свое неизмѣнное копье, медленно направился къ спуску. Передъ тѣмъ, какъ

спуститься, онъ, однако, оглянулся назадъ. Чаунецъ уже растягивалъ свой потягъ, собираясь запрягать собакъ. Молодой человѣкъ вдругъ быстро устремился внизъ и, сбѣжавъ съ угорья, помчался впередъ съ такой быстротой, какъ будто онъ хотѣлъ убѣжать отъ тревожныхъ мыслей, осаждавшихъ его душу.

Коравія уѣхалъ немедленно. Ему нужно было торопиться, чтобы догнать легконогаго товарища. Яякъ тоже запрягъ своихъ собакъ, но почему-то медлилъ. Передній конецъ его потяга былъ привязанъ крѣпкимъ ремнемъ къ короткому колу, врытому въ снѣгъ для того, чтобы собаки не могли неожиданно сдернуть нарту и умчаться въ путь безъ хозяина. Кителькутъ сидѣлъ у входа въ шатеръ и тесалъ копылъ отъ нарты, ожидая, чтобы его бывшій пріятель, а теперешній врагъ, наконецъ, уѣхалъ. Но какъ только нарта Коравіи превратилась въ маленькую точку, мелькающую на горизонтѣ, Яякъ оставилъ свою нарту и съ рѣшительнымъ видомъ подошелъ къ переднему шатру.

— Кителькутъ! — окликнулъ онъ старика, сдѣлавшаго видъ, что онъ такъ углубленъ въ свое занятіе, что не замѣчаетъ приближенія чаунца.

— Вуй! — отвѣтилъ торговецъ, не подымая головы.

— Ты вчера сказалъ мнѣ, чтобъ я уѣхалъ!

— Самъ знаешь! — сказалъ старикъ. — Впрочемъ, развѣ ты думаешь здѣсь жить вѣчно?

Онъ поглядѣлъ на чаунца. Яякъ былъ въ дорожной одеждѣ; на поясъ себѣ онъ повѣсилъ, кромѣ своего маленькаго стараго ножика, еще одинъ изъ большихъ ножей въ пестрыхъ ножнахъ, которые купилъ у старика.

— Такъ дай мнѣ прибавку! — сказалъ чаунецъ. — Ты мнѣ мало далъ за шкуры.

— Я говорилъ тебѣ, чтобы ты не заговаривалъ больше о шкурахъ, — сказалъ торговецъ. — Я ихъ купилъ.

— Дай прибавку! — сказалъ Яякъ, повысивъ голосъ.

— Не дамъ! — коротко отвѣтилъ старикъ.

— Ну, такъ я самъ возьму! — крикнулъ чаунецъ, дѣлая шагъ впередъ.

Кителькутъ отбросилъ въ сторону тесло и поднялся на ноги.

— Попробуй! — сказалъ онъ выразительно, становясь поперекъ входа.

И шкуры, и товары были сзади него въ шатрѣ. Онъ ни капли не боялся Яяка и вмѣстѣ съ тѣмъ ощущалъ въ эту минуту такую страстную привязанность къ своимъ товарамъ, какъ будто бы они были частью его собственнаго тѣла. Если бы сзади него были жена или ребенокъ, онъ не заслонилъ бы ихъ грудью съ болѣе непоколебимой готовностью.

Яякъ стоялъ, не зная, что дѣлать. Кителькутъ смотрѣлъ ему прямо въ глаза, и этотъ спокойный взглядъ отнималъ у него рѣшимость.

— Зачѣмъ ты ожидалъ, чтобы мои молодые люди ушли? — сказалъ Кителькутъ. — Развѣ мы волки, чтобы нападать втроемъ на одного? Что же! Хочешь бороться, попробуемъ! Кто изъ насъ хуже! — Онъ думалъ, что Яякъ, считая себя обиженнымъ, по обычаю предложитъ ему единоборство. Кителькутъ славился своимъ искусствомъ въ борьбѣ и былъ вполнѣ увѣренъ, что совладаетъ съ чаунцомъ, несмотря на его массивную тушу. Онъ постоялъ немного, но, видя, что Яякъ не распоясывается, презрительно улыбнулся и повернулся для того, чтобы войти въ шатеръ, такъ и не поднявъ тесла, валявшагося у его ногъ. Онъ нимало не думалъ, что одинокій и лишенный друзей чаунецъ осмѣлится напасть на него въ его собственномъ жилищѣ, почти на глазахъ его сына и зятя. Но вдругъ онъ увидѣлъ прямо надъ своей головой обнаженный ножъ, сверкавшій въ огромной рукѣ Яяка. Быстрѣе кошки старикъ повернулся и поймалъ своими обѣими руками руку, державшую ножъ. Въ то же самое мгновеніе Рынтына, возившаяся у огнища, вскочила съ короткимъ воплемъ и, схвативъ чаунца за лѣвую руку, повисла на ней всѣмъ своимъ вѣсомъ. Соединенный двойной толчокъ былъ такъ силенъ, что богатырь упалъ на колѣни. Еще мгновеніе, и его бы повалили навзничь. Передъ нимъ мелькнуло видѣніе позорной казни, которой, конечно, предадутъ его побѣдоносные враги. Весь міръ вдругъ принялъ багровый оттѣнокъ въ его глазахъ. Шея его стала еще толще и короче отъ натуги. Отчаяннымъ нечеловѣческимъ усиліемъ онъ опять поднялся на ноги и такъ дернулъ лѣвой рукой, что Рынтына отлетѣла черезъ весь шатеръ и, ударившись съ размаху головой о шатровый столбъ, растянулась безъ движенія. Яякъ схватился лѣвой рукой за правую руку противника, стараясь отодрать ее прочь. Началась отчаянная борьба за ножъ. Противники топтались среди шатра, стараясь перетянуть и повалить другъ друга. Руки ихъ сплелись въ какой-то чудовищный узелъ, изъ средины котораго торчало лезвіе ножа. Яякъ имѣлъ преимущество въ вѣсѣ и, пользуясь имъ искуснѣе, чѣмъ можно было ожидать, успѣлъ оттащить старика къ самому входу. Всю свою бдительность онъ направлялъ теперь на длинныя ноги Кителькута, который умѣлъ сбивать съ ногъ самыхъ сильныхъ людей неожиданнымъ ударомъ носка. Къ его удивленію и гнѣву, руки старика оказались почти такъ же сильны, какъ и его собственныя. Онѣ застыли въ одномъ непрерывномъ напряженіи и какъ будто совсѣмъ потеряли способность гнуться. Желѣзные пальцы Кителькута впивались въ его кисти съ такой силой, что

онъ чуть не кричалъ отъ боли.

Никто изъ нихъ не былъ увѣренъ, что онъ останется побѣдителемъ. Наконецъ, Кителькутъ поднялъ голову и пронзительнымъ голосомъ позвалъ на помощь. Ему откликнулись только собаки. Янта спустилась подъ гору, чтобы собирать дрова, и не могла его слышать, а шатеръ Уквуна былъ такъ безмолвенъ, какъ будто жители его были мертвы. Старикъ не захотѣлъ крикнуть во второй разъ. Онъ сталъ тянуть свою шею, стараясь приблизить лицо къ рукамъ противника. Яякъ дернулъ внезапно старика къ себѣ; лицо Кителькута коснулось его лѣвой руки, и онъ изо всей силы запустилъ свои зубы въ твердое и жилистое мясо чаунца. Несмотря на смертельную опасность, онъ почувствовалъ, какъ дрожь сладострастія пробѣжала по его спинѣ при этой волчьей ухваткѣ. Десны его стянулись, какъ отъ оскомы, потомъ онъ ощутилъ во рту сладковатый вкусъ теплой крови.

Яякъ такъ крикнулъ отъ боли, что оболочка шатра заколебалась отъ сотрясенія; онъ вырвалъ свою руку изъ зубовъ противника и мотнулъ ею въ воздухѣ. Въ эту минуту онъ вспомнилъ, что у него на боку виситъ еще одинъ ножъ. Скрежеща зубами, онъ еще разъ напрягъ всю силу правой руки подъ двойными тисками рукъ противника и сталъ судорожно ощупывать лѣвой рукой свой запасной ножикъ. Кителькутъ удвоилъ усилія, стараясь вырвать большой ножъ. Онъ совсѣмъ забылъ про маленькій и думалъ, что Яякъ прижимаетъ къ себѣ лѣвую руку, чтобы остановить кровь. Ему казалось, что онъ перекусилъ ему жилу; онъ былъ теперь увѣренъ въ побѣдѣ. Но Яякъ выдернулъ, наконецъ, запасной ножикъ изъ кожаныхъ ноженъ и ткнулъ противника въ грудь около лѣваго соска. Онъ не имѣлъ мѣста для розмаха и только могъ надавить своей огромной пятерней на короткую роговую рукоятку, стараясь, чтобы ножъ вошелъ поглубже. Если бы могъ, онъ втиснулъ бы въ тѣло противнику и самую рукоятку. Лезвее было сильно отточено и очень узко; оно вошло, какъ по маслу. Старикъ опустилъ руки и грянулся навзничь.

Яякъ съ громкимъ крикомъ торжества взмахнулъ въ воздухѣ освобожденной правой рукой, потомъ наступилъ колѣномъ на грудь старика и однимъ ударомъ перерѣзалъ ему горло, почти отдѣливъ голову отъ туловища. Онъ исполнилъ свою угрозу и вмѣстѣ съ тѣмъ по исконному чукотскому обычаю обезопасилъ себя отъ загробнаго мщенія духа противника, открывъ ему свободный выходъ сквозь прорѣзъ горла.

Въ это время почти надъ самой его головой раздался пронзительный женскій крикъ. Онъ быстро вскочилъ на ноги, сжимая въ рукѣ окровавленный ножъ, и обернулся ко входу.

Прямо передъ нимъ стояла Янта и смотрѣла на него расширенными отъ ужаса глазами. Она, очевидно, возвращалась съ дровами и до сихъ поръ не подозрѣвала о случившемся. За спиной у нея виднѣлась большая вязанка дровъ, перетянутая веревкой.

Якъ пристально посмотрѣлъ на молодую дѣвушку, Онъ, повидимому, еще не принялъ опредѣленнаго рѣшенія и колебался, какъ поступить съ нею. Вдругъ хищная улыбка искривила его губы, онъ вложилъ ножъ въ ножны и сдѣлалъ два шага по направленію къ Янтѣ. Дѣвушка закрыла глаза и безсильно склонилась впередъ вмѣстѣ съ дровами. Ужасъ совершенно парализовалъ ея силы. Якъ протянулъ руки и подхватилъ ее; потомъ, нетерпѣливо дернувъ конецъ веревки, поддерживавшей дрова, распустилъ узелъ. Дрова съ грохотомъ упали на землю. Чаунецъ схватилъ въ охапку свою добычу и потащилъ ее къ пологу. Вдругъ двѣ маленькія человѣческія фигурки выскочили ему навстрѣчу и проскользнули къ выходу изъ шатра. Это были Кайменъ и его жена. Дѣти спали въ пологу все утро и пробудились только при шумѣ борьбы, завязавшейся въ шатрѣ. Немного приподнявъ шкуру у входа, они молча наблюдали ужасную сцену, происходившую передъ ихъ глазами. Спросонокъ они никакъ не могли понять, въ чемъ дѣло, но, увидѣвъ убійство, они застыли отъ страха и боялись пошевельнуть однимъ членомъ, чтобы не выдать своего присутствія.

Однако, когда Якъ приблизился къ пологу, они не стали ожидать больше и, выкарабкавшись наружу, обратились въ бѣгство. Мальчикъ благополучно проскользнулъ мимо Яка. Дѣвочка съ размаха наткнулась на огромныя ноги убійцы, но успѣла проскочить въ промежутокъ между ними и послѣдовала за своимъ товарищемъ. Черезъ мгновеніе ихъ уже не было въ пологѣ. Можно было только слышать дробный топотъ ножекъ Каймена и его пронзительные крики: — Нуватъ, Нуватъ, убиваютъ! — быстро удалявшіеся отъ шатра. Отъ дѣвочки не было слышно даже и этого.

Якъ простоялъ мгновеніе въ нерѣшительности.

— Какъ онъ кричитъ! — сказалъ онъ съ неудовольствіемъ, поворачивая голову въ ту сторону, откуда доносились крики Каймена. Онъ вдругъ нагнулся и протолкнулъ полубезчувственную дѣвушку внутрь полога сквозь отверстіе входа. Потомъ выдернулъ изъ-за пояса свой новый ножъ, на лѣвой сторонѣ котораго застылъ красный кровяной слѣдъ, и ринулся изъ шатра. Когда онъ вернулся назадъ черезъ нѣсколько минутъ, правая сторона ножа тоже была въ крови. Это не была кровь

Кителькута.

Это была частица той крови, которая нѣсколько мгновеній простояла въ видѣ небольшой красной лужи на поверхности убоя, потомъ быстро всосалась внутрь, оставивъ на снѣгу маленькое круглое отверстіе, желтое по краямъ и коричневое внутри, похожее на ту рану, откуда вытекла эта кровь.

IX.

Коравія и Нуватъ осмотрѣли уже болѣе половины сѣтей. Теперь они подвигались по направленію къ дому, осматривая тѣ сѣти, которыя нарочно оставили для обратнаго пути. Впрочемъ, одинъ Коравія работалъ, какъ слѣдуетъ. Нуватъ разсѣянно и слабо двигалъ пешней, то и дѣло попадая не туда, или вдругъ останавливался надъ свѣжею прорубью, держа въ рукахъ головки сѣтныхъ шестовъ, которые слѣдовало поскорѣе вытащить наружу. Одну тюленью тушу онъ совсѣмъ вывалилъ изъ сѣти, и она немедленно упала на дно, откуда ее уже нельзя было достать. Онъ то и дѣло посматривалъ въ сторону берега, гдѣ чернѣлась каменная стѣна мыса.

— А это кто идетъ? — вдругъ сказалъ онъ, прикрывая глаза рукой, чтобы лучше видѣть. Коравія, спускавшій въ это время въ воду хоботъ сѣти, поднялъ голову.

Отъ Каменнаго Мыса по направленію къ нимъ двигалась какая-то точка.

— Кто это идетъ? — повторилъ онъ съ недоумѣніемъ, въ свою очередь присматриваясь. — Человѣкъ или звѣрь?

— Бѣжимъ! — сказалъ Нуватъ. — Бѣда! скорѣе!

Онъ подхватилъ копье и бросился впередъ.

Коравія побѣжалъ за нимъ, не давъ себѣ труда отвязать собакъ отъ остраго ледяного обломка, вокругъ котораго былъ захлеснутъ передній конецъ потяга.

По мѣрѣ того, какъ они подвигались впередъ, точка росла и выяснялась. Это была, несомнѣнно, человѣческая фигура, которая направлялась къ нимъ, но движенія ея носили очень странный характеръ. Она какъ будто все порывалась бѣжать, но каждый разъ падала впередъ и не могла подняться въ теченіе сравнительно долгаго промежутка и потомъ, поднявшись, снова пыталась бѣжать и снова падала.

Черезъ минуту Нуватъ узналъ Янту.

— Что случилось? — закричалъ онъ издали, устремляясь впередъ съ такой быстротой, какъ будто его ноги обладали крыльями.

Янта опять упала и, вмѣсто того, чтобы подняться, сѣла на снѣгу. Она изнемогала отъ усталости. Одежда ея была въ безпорядкѣ, мѣховой корсажъ былъ разорванъ до пояса, и голая грудь виднѣлась наружу. Она смотрѣла передъ собою совершенно безумнымъ взглядомъ. Однако, при приближеніи Нувата она сдѣлала попытку что-то выговорить, но губы ея шевелились, не произнося ни звука.

— Что ты сказала? — кричалъ Нуватъ, подбѣгая.

— Онъ послалъ меня! — выговорила, наконецъ, Янта.

— Кто послалъ? — спросилъ Нуватъ, задыхаясь отъ волненія и быстраго бѣга. — Отецъ?

— Отецъ умеръ! — сказала дѣвушка. — Онъ послалъ, человѣкъ съ ножомъ: «Поди!.. скажи Нувату и Коравіи, — я взялъ недоплату. Теперь мы въ расчетѣ»… — Она произносила слово по слову, съ промежутками, какъ будто съ трудомъ соображая, что ей слѣдовало сказать.

— Захвати дѣвку и собакъ! — крикнулъ Нуватъ Коравіи, который подбѣгалъ сзади.

И онъ помчался, сколько хватило въ его ногахъ быстроты, по направленію къ мысу.

— Что случилось? — съ ужасомъ спросилъ Коравія, останавливаясь передъ своей невѣстой.

Увидѣвъ жениха, Янта разразилась такими рыданіями, какъ будто ея сердце хотѣло разорваться.

— Убилъ! — выкрикивала она. — Отца убилъ, мать, сестру, брата… Всѣхъ зарѣзалъ.

Коравія тоже сѣлъ на снѣгъ. У него подкосились ноги. Въ прибавку къ сообщенію Янты въ головѣ его мелькнула страшная догадка.

— А ты какъ убѣжала? — спросилъ онъ, запинаясь.

— Не убѣжала! — рыдала дѣвушка. — Онъ самъ послалъ за вами… Зоветъ васъ, будетъ ждать.

Коравія вскочилъ на ноги. Теперь его сердцѣ горѣло неудержимой жаждой мести. Онъ хотѣлъ было броситься вслѣдъ за Нуватомъ, но подумалъ, что на собакахъ доѣдетъ быстрѣе. Скрѣпя сердце, онъ воротился назадъ, собираясь бѣжать къ оставленной упряжкѣ. Но Янта ложно истолковала его движеніе. Она думала, что онъ хочетъ послѣдовать за Нуватомъ. Она тоже вскочила на ноги и обхватила станъ молодого человѣка съ энергіей утопающаго.

— Не ходи! — кричала она. — Не ходите! Онъ и васъ убьетъ! Тебя, Нувата… А меня возьметъ совсѣмъ, увезетъ на Чаунъ! Не хочу на Чаунъ!.. Ножъ, ножъ! — Она билась въ судорогѣ, цѣпляясь за платье жениха, ловила его руки, обнимала ноги. Коравіи

казалось, что если онъ вырвется и оставитъ ее одну на снѣгу, она тутъ же умретъ. Онъ кончилъ тѣмъ, что взвалилъ свою невѣсту себѣ на спину и побѣжалъ къ упряжкѣ, немного сгибаясь подъ тяжестью и прилагая всю свою осторожность, чтобы не раскатиться на убоѣ.

Нуватъ бѣжалъ и бѣжалъ, стараясь какъ можно скорѣе достигнуть поселка. Онъ не остановился, чтобы выслушать разсказъ Янты. Но онъ и безъ того зналъ, что случилось въ его домѣ. Онъ думалъ на бѣгу, что, можетъ быть, еще застанетъ Яка. Онъ совсѣмъ забылъ, что чаунецъ могъ овладѣть однимъ изъ ружей, хранящихся въ шатрѣ Кителькута, и только судорожно сжималъ древко своего копья.

Черезъ часъ онъ уже взбѣжалъ по тропинкѣ, ведущей отъ морского берега наверхъ. Собаки жалобно выли позади шатровъ, но ни одинъ человѣкъ не вышелъ ему навстрѣчу. Яка нигдѣ не было видно, и собаки его тоже не стояли на томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ были привязаны утромъ. За сотню шаговъ отъ шатра Нуватъ наткнулся на трупъ Каймена. Мальчикъ лежалъ ничкомъ на самой тропинкѣ. Онъ какъ будто уснулъ, но затылокъ его буквально былъ просверленъ страшнымъ ударомъ ножа. Нуватъ бросилъ только бѣглый взглядъ на мертвое тѣло и прошелъ мимо. Въ переднемъ шатрѣ царствовалъ безпорядокъ. Нѣсколько кожаныхъ мѣшковъ, набитыхъ рухлядью, валялось на остывшемъ огнищѣ вперемежку со шкурами. Яякъ, конечно, не сталъ дожидаться возвращенія молодыхъ людей, несмотря на его слова, переданныя Янтой. Удовлетворивъ свою месть, онъ захватилъ чай и табакъ, принадлежавшіе Кителькуту, и уѣхалъ. Мѣховъ, ружей, ремней и т. п. вещей онъ не тронулъ, но русскіе товары онъ считалъ законными трофеями своей побѣды. Впрочемъ, Нуватъ не сталъ разсматривать своихъ имущественныхъ ущербовъ. Онъ сталъ на колѣни около трупа матери и взялъ ее за руку. Рука была холодна и уже перестала гнуться. Старуха лежала въ той же позѣ, какъ упала, отброшенная мощной рукой чаунца. На ея растрепанныхъ сѣдыхъ волосахъ, немного повыше лѣваго виска, запеклось нѣсколько капель крови. Нуватъ хотѣлъ подойти къ отцу, но вздрогнулъ и остановился. Глаза старика были открыты и еще смотрѣли сквозь смертельную дымку, заволокшую ихъ. Голова, полуотрубленная ударомъ ножа, неестественно закинулась назадъ. Нувату показалось, что мертвыя губы отца силятся сказать что-то, но не могутъ. Но онъ пересилилъ свое чувство и, перейдя къ старику, присѣлъ на корточки. Потомъ съ рѣшительнымъ видомъ протянулъ руку къ его перерѣзанному горлу и вынулъ изъ раны нѣсколько капель крови. Кровь была мерзлая и запекшаяся. Нуватъ отогрѣлъ ее своимъ дыханіемъ и

изобразилъ этой кровью на своемъ лбу и щекахъ наслѣдственные знаки своей семьи[61]. Онъ хотѣлъ послѣдній разъ пріобщиться къ крови своихъ предковъ, пролитой подъ его ногами на этой холодной землѣ. Потомъ онъ вышелъ вонъ и подошелъ къ шатру Уквуна. Задній шатеръ хранилъ такое же безмолвіе, какъ утромъ, но въ наружномъ его видѣ была перемѣна. Кругомъ его пологихъ стѣнъ былъ обведенъ длинный и тонкій ремень, связанный у входа[62].

— Уквунъ! — громко крикнулъ Нуватъ. — Уквунъ!

Въ шатрѣ послышалось движеніе, но никто не отвѣтилъ на окликъ.

— Уквунъ, покажись! — продолжалъ Нуватъ — или я подожгу шатеръ.

Внутри шатра раздался женскій плачъ и неясныя жалобы. Такъ плакали и жаловались коряцкія жены, когда грозный Левтылигалинъ[63] требовалъ сдачи предъ входомъ въ Квэдланъ. Движеніе въ шатрѣ усилилось и черезъ минуту старый Уквунъ просунулъ голову изъ входа, потомъ съ видимымъ трудомъ пролѣзъ подъ ремень. Въ лѣвой его рукѣ была бѣлая шкура, одна изъ тѣхъ шкуръ, которыя Яякъ далъ ему въ обмѣнъ за полозья, а въ правой — короткій посохъ. Онъ бросилъ шкуру на землю и сталъ на нее, опираясь на посохъ. На немъ была бѣлая кукашка и шаровары изъ бѣлыхъ оленьихъ камусовъ. Шея его была повязана новымъ ситцевымъ платкомъ пестраго узора. Это была его смертная одежда. Пять лѣтъ тому назадъ ему дешево достались на торгу бѣлыя шкуры; онъ заставилъ своихъ женъ сшить себѣ изъ нихъ одежду и, несмотря на свою бѣдность, никому не продалъ ее.

— Гдѣ Яякъ? — спросилъ Нуватъ.

— Уѣхалъ! — тихо сказалъ старикъ. Онъ смотрѣлъ себѣ подъ ноги и избѣгалъ поглядѣть въ лицо Нувату.

— Зачѣмъ вы допустили перебить нашу семью? — спросилъ Нуватъ. Тонъ его голоса былъ совершенно спокоенъ.

— Я немощный старикъ, а тамъ женщины! — сказалъ Уквунъ, указывая рукой сперва на себя, а потомъ внутрь шатра.

— Вы даже не выходили наружу! — сказалъ Нуватъ. По множеству мелкихъ признаковъ, онъ могъ теперь опредѣлить весь ходъ убійства такъ ясно, какъ если бы самъ присутствовалъ при немъ.

— Я боленъ! — сказалъ Уквунъ. — Насилу хожу.

Онъ дѣйствительно, шатался и съ трудомъ держался на ногахъ, опираясь на посохъ. Нуватъ покачалъ головою.

— Пусть же не говорятъ люди, что дѣти Рожденнаго сукой ушли изъ этого свѣта безъ свиты! — сказалъ онъ.

Семья Кителькута вела свою родословную отъ Амлю, рожденнаго черной сукой на берегу земли Нэтэнъ. Уквунъ поднялъ голову и въ первый разъ посмотрѣлъ въ лицо Нувату. Онъ увидѣлъ, что рѣшеніе Нувата непоколебимо. Его грязно-смуглыя щеки поблѣднѣли до самой глубины морщинъ. Онъ какъ будто еще постарѣлъ на десять лѣтъ. Однако, онъ сохранилъ внѣшнее спокойствіе.

— Что же! — сказалъ онъ. — Я и такъ старъ. Если я сталъ тебѣ дичью, кончай скорѣе!

Слова эти заключали въ себѣ формулу добровольной смерти. Уквунъ предпочиталъ получить смертельный ударъ, какъ многіе изъ его предковъ, съ собственнаго своего согласія, чѣмъ биться и трепетать подъ ножомъ, какъ убиваемый олень.

— Ну! — коротко сказалъ Нуватъ.

Уквунъ перетащилъ шкуру, служившую ему подстилкой, къ самому порогу и, обвязавъ себѣ лицо платкомъ, усѣлся на ней. Посохъ онъ положилъ рядомъ съ собою. Онъ закрылся полою шатровой оболочки, какъ покрываломъ, и его почти совсѣмъ не было видно.

— Давай! — сказалъ онъ глухо.

Нуватъ протянулъ ему лезвее копья. Уквунъ ощупалъ его руками.

— Можешь! — послышался голосъ изъ-подъ покрывала.

Онъ наставилъ остріе копья противъ своего сердца. Нуватъ съ силою нажалъ копье; два бѣлыхъ сапога вдругъ показались изъ-подъ покрывала и сдѣлали нѣсколько судорожныхъ движеній, какъ будто собираясь встать, потомъ вытянулись неподвижно на шкурѣ. Нуватъ выдернулъ копье и бросилъ его въ сторону. Старикъ недаромъ сѣлъ поперекъ входа. Онъ хотѣлъ заградить убійцѣ входъ въ свое жилище и спасти своихъ женъ. Но Нуватъ рѣшилъ, что и матери его тоже нужны спутницы. Не желая переступать черезъ тѣло старика, онъ вынулъ изъ-за пояса ножъ и сдѣлалъ широкій разрѣзъ въ лѣвой стѣнѣ шатра, потомъ проскользнулъ туда такъ же быстро и неслышно, какъ пробирается горностай по мышинымъ галлереямъ подъ снѣгомъ. Черезъ минуту изъ шатра раздался отчаянный вопль Анеки, прервавшійся на половинѣ. Вельвуна даже не крикнула ни разу.

Когда Коравія прискакалъ на своихъ собакахъ, все уже было кончено. Нуватъ стоялъ у входа въ задній шатеръ.

Коравія по дорогѣ успѣлъ приблизительно узнать отъ Янты о томъ, что произошло въ шатрѣ Кителькута. Несмотря на свое разстройство, онъ удивился, видя Нувата неподвижно стоящимъ передъ заднимъ шатромъ.

— Гдѣ другіе люди? — спросилъ онъ своего шурина, подходя

къ нему.

Нуватъ не отвѣчалъ. Онъ продолжалъ пристально смотрѣть на одну и ту же точку. Прослѣдивъ взглядъ своего товарища, Коравія увидѣлъ двѣ неподвижныя ноги въ бѣлыхъ сапогахъ, торчавшія поперекъ входа. Онъ догадался, что онѣ принадлежатъ Уквуну.

— Кто его? — спросилъ онъ съ ужасомъ.

Нуватъ нетерпѣливо передернулъ плечами.

— Всѣхъ? — тихо спросилъ Коравія.

Нуватъ кивнулъ головой.

— Зачѣмъ? — спросилъ Коравія.

— Развѣ дѣти Рожденнаго сукой должны уйти изъ этого свѣта безъ спутниковъ? — сказалъ Нуватъ почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, что и недавно передъ этимъ.

— Пусть! — сказалъ Коравія. — Но гдѣ Яякъ?

— Я видѣлъ это! — сказалъ Нуватъ, не отвѣчая на вопросъ. — Когда на своемъ кораблѣ я перелеталъ изъ вселенной во вселенную и ноги души моей попирали небесную твердь, я видѣлъ это. Кругомъ меня неслись облака багроваго свѣта. Кровавые сполохи разстилались отъ запада до востока. Призраки блестящимъ желѣзомъ убивали другъ друга. Когда я вернулся, всѣ столбы моего шатра были испачканы кровью, лицо моего отца было, какъ лицо мертвеца. Наргиненъ показалъ мнѣ все, но я не хотѣлъ смотрѣть, какъ слѣдуетъ.

— Яякъ, Яякъі — говорилъ Коравія, занятый своей мыслью.

— Я слышалъ это! — продолжалъ Нуватъ, не обращая вниманія на его слова. — Вольные голоса[64] приносили мнѣ издали грозныя вѣсти. Духи шептали мнѣ на ухо днемъ и ночью. Мать Горнаго Эха откликалась изъ ущелья, остерегая. Въ безлюдной пустынѣ неслись крики, зовущіе на помощь. Въ ночной темнотѣ раздавались предсмертные стоны. Земля и небо, девять вселенныхъ, подземныя и надземныя бездны остерегали меня, а я не хотѣлъ ничего понять.

— Погонимъ Яяка! — твердилъ Коравія. — Темнѣетъ. Будетъ темно ѣхать.

— Не хочу! — сказалъ, наконецъ, Нуватъ, вслушавшись въ слова товарища. — Довольно я крови пролилъ на землѣ.

— Я погонюсь! — горячо сказалъ Коравія. — Пусть я одинъ. Ты уже исполнилъ свою долю. Оставайся съ сестрой. Пусть голова Яяка на мои руки.

— Не надо! — сказалъ Нуватъ настойчиво. — Довольно крови пролито на эту мерзлую землю. Семь душъ сегодня ушли, запачканныя въ красное. А убійцу видитъ Наргиненъ.

Коравія хотѣлъ что-то возразить.

— А я тебѣ говорю, — повелительно сказалъ Нуватъ, — не ищи и не убивай больше! Наргиненъ видитъ и слышитъ, и знаетъ самъ. Говорю тебѣ, если станешь искать жизни убившаго, потеряешь и свою. И родъ до конца истребится, ибо съ кѣмъ останется Янта безъ тебя?

— А ты? — сказалъ Коравія съ удивленіемъ.

— Меня зовутъ, — сказалъ таинственно Нуватъ. — Я не могу идти съ вами.

Коравія хотѣлъ сказать что-то, но посмотрѣлъ на лицо Нувата и смолкъ. Ему показалось, что Нуватъ не здѣсь, около него, а гдѣ-то, Богъ знаетъ, какъ далеко, и что онъ совсѣмъ не услышитъ его словъ. Янта стояла рядомъ съ нимъ, онъ указалъ ей глазами на брата. Дѣвушка тихо обошла сзади и стала съ другой стороны Нувата.

— Другъ! — сказала она, кладя руку на плечо молодого человѣка. — Развѣ ты меня хочешь оставить? Возьми и меня съ собой! Изъ всей семьи ты одинъ остался надо мной.

— Вотъ твоя семья! — сказалъ Нуватъ, указывая на ея жениха. — Сдѣлай ее женою, Коравія! Время твоего выкупа кончилось.

Онъ, повидимому, не подозрѣвалъ, какою цѣною Янта купила себѣ пощаду сегодня утромъ.

— Поѣзжайте къ себѣ домой! — сказалъ Нуватъ. — Не ходите по этому морю. Будьте оленными. Живите на «горѣ»[65]. Вотъ ваши собаки. Дорожную пищу возьмите отъ сѣтей на льду. Не заходите въ шатры, не берите ничего. Пусть все останется тѣмъ, ушедшимъ… — И онъ сдѣлалъ рукой неопредѣленный жестъ. Потомъ, доставъ изъ своей семейной кибитки длинный ремень, обвязалъ свой шатеръ точно такъ же, какъ былъ обвязанъ шатеръ Уквуна. Потомъ подошелъ къ заднему шатру и, натянувъ оболочку, плотнѣе укрылъ ноги Уквуна, такъ, чтобы скрыть ихъ отъ посторонняго взора.

Коравія посмотрѣлъ на эти жилища, теперь превратившіяся въ могилы, и на эту молчаливую фигуру, тихо переходившую отъ одной двери къ другой, и ему стало страшно. Ему припомнились разсказы стариковъ, какъ во время Великаго Мора Духъ смерти ходилъ по ночамъ между покинутыми шатрами, считая свою добычу. Онъ не сталъ спорить долѣе и, повернувъ свою нарту къ морю, усадилъ на нее невѣсту. Кромѣ нея, онъ ничего не увозилъ изъ поселка. Онъ разсчитывалъ провести ночь на льду у сѣтей, а на разсвѣтѣ, запасшись тюленьимъ жиромъ и мясомъ, вернуться вновь на твердую землю и пуститься въ путь. Черезъ минуту его собаки уже мчались по ледянымъ полямъ. Когда онъ обернулся, чтобы бросить прощальный взглядъ на опустѣлый поселокъ,

высокая фигура Нувата стояла на краю взгорья и, казалось, смотрѣла имъ вслѣдъ.

* * *

Черезъ два мѣсяца послѣ описанныхъ выше событій, настоятель чукотской миссіи (кстати сказать, живущій въ Нижнеколымскѣ, въ шестистахъ верстахъ отъ ближайшаго чукотскаго поселка) вздумалъ сдѣлать «объѣздъ по миссіи». Уже третью весну онъ все собирался съ мужествомъ для трудной и небезопасной поѣздки по Ледовитому морю и каждый разъ возвращался съ полдороги. На этотъ разъ онъ твердо рѣшилъ добраться, по крайней мѣрѣ, до мыса Эрри. Экспедиція путешественниковъ, состоявшая изъ десяти человѣкъ, на шести собачьихъ упряжкахъ, послѣ восьми ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, пересѣкла по льду морскую губу, отдѣляющую островъ Айонъ отъ Шелагского мыса. Русскіе не взяли съ собой запаса ѣды для себя и корма для собакъ; они надѣялись найти и то, и другое у Кителькута. Но ихъ ожидало жестокое разочарованіе. Шатры стояли на мѣстѣ, но изъ-подъ косматыхъ шкуръ никто не вылѣзъ, чтобы привѣтствовать путниковъ. Только нѣсколько одичалыхъ собакъ, еще бродившихъ по поселку, отозвались хриплымъ воемъ на разноголосый лай колымскихъ упряжныхъ псовъ.

Пріѣзжіе остановились поодаль и послѣ нѣкотораго колебанія отправились на рекогносцировку. Шатры были попрежнему обвязаны ремнями, но весеннія вьюги ворвались внутрь и занесли толстымъ слоемъ снѣга огнище и домашнюю утварь, разбросанную на землѣ. Изъ-подъ снѣга все же виднѣлись человѣческія руки и ноги, полуобглоданныя собачьими зубами. Путешественники, пораженные ужасомъ, бѣжали къ своимъ нартамъ. Проведя въ невыразимой тревогѣ безсонную ночь и дождавшись разсвѣта, они поспѣшно пустились въ обратный путь, стараясь поскорѣе добраться до своихъ собственныхъ поселеній. Имъ казалось, что времена чукотскихъ войнъ возвратились обратно, тѣ грозные годы, когда по всей землѣ отъ Анадыра до Колымы и отъ Пильгина до Индигирки всюду можно было находить подобные поселки, населенные мертвецами.

Въ западной сторонѣ много лѣтъ не знали истинныхъ виновниковъ рѣзни. Русскіе говорили, что таинственные шелаги, нѣкогда приходившіе на байдарахъ громить рыбачьи деревни на Колымѣ, снова переплыли море, чтобы разгромить поселокъ на мысу, заимствовавшемъ отъ нихъ свое названіе[66]. Оленные чукчи западной тундры, напротивъ, приписывали это кровавое

дѣло таньгамъ, съ которыми ихъ предки вели борьбу и о чьихъ свирѣпыхъ дѣлахъ такъ много разсказываютъ старинныя легенды, подразумѣвая подъ этимъ именемъ одновременно русскихъ, коряковъ и чуванцевъ, нѣкогда совмѣстно дававшихъ контингентъ для военной силы Якунина (майора Павлуцкаго).

Жители Чауна и Куаты имѣли на этотъ счетъ болѣе точныя свѣдѣнія.

Коравія съ невѣстой благополучно добрался до своего собственнаго шатра. Если онъ питалъ еще мстительные замыслы противъ Яка, то въ ближайшее лѣто долженъ былъ навсегда отказаться отъ нихъ.

Наргиненъ, видѣвшій страшное дѣло рукъ чаунскаго богатыря и слышавшій послѣдній крикъ Кителькута, послалъ убійцѣ не менѣе жестокую смерть, чѣмъ жертвамъ. Двоюродный братъ Яка, тотъ самый, которому онъ недавно собирался поручить свое стадо, составилъ заговоръ противъ его жизни, въ союзѣ съ другимъ молодымъ пастухомъ, выросшимъ въ семьѣ Яка. Оба они съ молодыхъ лѣтъ жили подъ защитой его огня и питались отъ его стадъ, но считали себя въ правѣ лишить жизни человѣка, посягнувшаго на такое ужасное дѣло. Истиннымъ мотивомъ заговора, впрочемъ, было желаніе овладѣть многочисленнымъ стадомъ, принадлежавшимъ Яку. Заговорщики боялись напасть на богатыря при дневномъ свѣтѣ и рѣшили убить его ночью во время сна. Двоюродный братъ, ночевавшій съ нимъ въ одномъ пологу, улучивъ удобную минуту, ударилъ его топоромъ по головѣ. Ударъ былъ нанесенъ ощупью и не могъ раздробить крѣпкій черепъ Яка. Исполинъ успѣлъ схватить свой ножъ и выскочить на дворъ. Несмотря на тяжелую рану, онъ оказался не подъ силу убійцамъ, погнавшимся за нимъ, и уже успѣлъ распороть бокъ своему двоюродному брату. Перевѣсъ, несомнѣнно, склонялся на его сторону. Въ это время какой-то человѣкъ, проходившій мимо съ копьемъ въ рукахъ, поспѣшилъ на помощь убійцамъ и пригвоздилъ великана къ землѣ своимъ копьемъ. Горло Яка было перерѣзано тѣмъ самымъ ножомъ, которымъ онъ когда-то отрѣзалъ голову старому торговцу на Каменномъ Мысу. Замѣчательно, что прохожій человѣкъ, помогавшій убійству, тутъ же исчезъ неизвѣстно куда, какъ будто провалился сквозь землю. Другіе убійцы, впрочемъ, не стали его разыскивать. Имъ было довольно заботы на своемъ стойбищѣ. Они, однако, успѣли хорошо разсмотрѣть его лицо, такъ какъ на дворѣ было совершенно свѣтло. Это былъ молодой человѣкъ, высокій и худощавый, съ продолговатымъ лицомъ и задумчивыми глазами. Они со страхомъ припоминали, что уста его во все время не открылись ни разу, какъ будто онъ былъ нѣмъ.

Легенда о шелагской рѣзнѣ, на слѣдующую зиму разсказанная сказочниками въ Уэленѣ[67] во время долгихъ декабрьскихъ ночей, говоритъ, что это былъ духъ Нувата, посланный Наргиномъ для того, чтобы отомстить за смерть его отца.

Никто никогда не могъ сказать, что сдѣлалось съ настоящимъ живымъ Нуватомъ. Кочевники на западной тундрѣ говорятъ, правда, будто въ послѣдніе годы на самомъ крайнемъ изъ Медвѣжьихъ острововъ на Ледовитомъ океанѣ завелся житель. Охотники за бѣлыми медвѣдями, посѣщающіе каждую весну островъ Креста, будто бы нашли тамъ оленя, издохшаго отъ раны. Изъ раны торчала желѣзная стрѣла особой формы съ небольшимъ листовиднымъ остріемъ, вырубленнымъ изъ стараго котельнаго желѣза, какія до сихъ поръ весьма употребительны у приморскихъ чукчей. Старухи на тундрѣ уже стали говорить, что въ декабрьскія ночи вѣтеръ, прилетающій съ сѣвера, со стороны Медвѣжьихъ острововъ, приноситъ съ собой глухой и частый стукъ бубна, какъ будто гдѣ-то, въ недоступной дали, таинственный шаманъ призываетъ своихъ духовъ.

Съ другой стороны, торговые чукчи съ Якана, возвращавшіеся на байдарѣ изъ обычной лѣтней поѣздки къ американскимъ Икыргаулямъ[68] и прибитые бурей къ берегу, недалеко отъ проклятыхъ скалъ Кичетуна, гдѣ прячутся въ пещерахъ морскіе оборотни[69], подстерегая неосторожнаго морехода, видѣли на пескѣ человѣческій слѣдъ. Онъ уходилъ прямо къ пещерамъ, пользующимся такой дурной славой, и они не рѣшились отыскивать того, кому онъ принадлежалъ. Если угодно, одинъ изъ этихъ разсказовъ можно связать съ исчезновеніемъ Нувата.

Еще одинъ членъ семьи Кителькута спасся отъ гибели. Яякъ, догнавъ Каймена и умертвивъ его, не захотѣлъ преслѣдовать его жены; быть можетъ, онъ опасался, что другая, болѣе цѣнная добыча, лежавшая въ пологу Кителькута, можетъ уйти отъ него тѣмъ временемъ. Дѣвочка убѣжала внутрь страны по направленію къ горамъ, темнѣвшимъ на югѣ. Шесть ночей она провела на снѣгу безъ крова и пищи. Но ей удалось перебраться черезъ перевалъ и достигнуть человѣческаго жилища.

Вышеупомянутая легенда разсказываетъ, что огромная черная сука, бывшая прародительницей Кителькутова рода, явилась ей на первомъ же ночлегѣ и съ тѣхъ поръ все время оказывала ей покровительство. Днемъ она шла впереди, указывая ей дорогу, а ночью согрѣвала ее своимъ тѣломъ и кормила молокомъ изъ своихъ сосцовъ. Какъ бы то ни было, дѣвочка благополучно добралась до оленной семьи, поставившей свой зимникъ на рубежѣ лиственничнаго лѣса на верховьяхъ рѣки Выйона, текущей съ вышеупомянутаго хребта на юго-западъ. Коравія

узналъ объ ея спасеніи только черезъ годъ. Но онъ не захотѣлъ отнимать родственницу своей жены у пріютившихъ ее людей, тѣмъ болѣе, что тамъ уже нашелся для нея новый женихъ.

На стрѣлкѣ Каменнаго Мыса до сихъ поръ нѣтъ жителей. Двѣ семьи тюленьихъ охотниковъ, пришедшія черезъ два года искать промысла въ этихъ водахъ, обильныхъ добычей, поставили свои шатры верстъ на пятнадцать къ востоку у другой оконечности скалистой гряды, выходящей къ морю. Шатры убитыхъ людей стоятъ на своей каменной площадкѣ въ прежнемъ мрачномъ безмолвіи; бури сорвали съ деревянной основы большую часть кожаной оболочки. Песцы изглодали все то, что валялось на землѣ. Теперь отъ шести труповъ осталось только нѣсколько разбросанныхъ костей. А надъ ними нѣсколько кожаныхъ клочьевъ, развѣвающихся на конической верхушкѣ переплета жердей, указываютъ человѣку, проѣзжающему мимо, то мѣсто, гдѣ когда-то жили и промышляли двѣ погибшія семьи.

Якутскъ, 1898 г.

Кривоногій

Эуннэкай медленно брелъ по склону высокаго «камня», опираясь на длинное ратовище чэруны[70] и съ трудомъ переставляя свои кривыя ступни. Его небольшое и тщедушное тѣло сгибалось подъ тяжестью огромной котомки, навьюченной на спину и поддерживаемой однимъ узкимъ ремнемъ, перетянутымъ черезъ грудь. Товарищи ушли впередъ со стадомъ и сложили свои ноши на его безсильныя плечи. Участь вьючнаго животнаго была его постоянной долей. Все равно, онъ не могъ быть помощникомъ при вѣчной погонѣ за разбѣгающимися оленями, и ему приходилось волей неволей облегчать другихъ пастуховъ отъ излишней тяжести и брать ее на себя. Его лѣвая нога отъ колѣна до лодыжки ныла и болѣла, какъ будто хотѣла переломиться. Спина тоже ныла, уродливая грудь, выгнутая, какъ у птицы, сжималась, словно въ тискахъ. Ремень отъ котомки скатывался на шею и душилъ, какъ петля.

Ноша Эуннэкая имѣла такіе почтенные размѣры, что не всякій вьючный олень могъ бы ее нести. Тутъ было безчисленное множество обуви, которая во время лѣтнихъ скитаній по острымъ камнямъ хребтовъ такъ и горитъ на ногахъ пастуховъ, нѣсколько перемѣнъ мѣховой одежды, три верхнихъ балахона изъ невыдѣланной оленьей кожи, нѣсколько длиннѣйшихъ ратовищъ, подобныхъ тому, которое Эуннэкай держалъ въ рукахъ, большой котелъ, копье, пара большихъ ножей въ полъ аршина длиной.

Несмотря на то, что іюльское солнце палило отвѣсными лучами даже вѣчно холодные камни Становаго хребта, Эуннэкай былъ одѣтъ въ неизмѣнную мѣховую кукашку и такіе же шаровары, а голова его была покрыта рыжей шапкой изъ шкуры двойнаго пыжика. Эуннэкай такъ привыкъ къ этой одеждѣ, что разсматривалъ ее, какъ свою природную шкуру. Отъ зноя онъ не страдалъ. Тенантумгинъ, оленій Богъ, давшій всѣмъ звѣрямъ косматую одежду, одарилъ ее чудесной способностью — лѣтомъ линять и становиться тоньше, чтобы обладатели ея не слишкомъ страдали отъ жара. Эуннэкай былъ созданъ нагимъ и долженъ былъ самъ придумывать для себя защиту отъ измѣнчивости стихій и, конечно, его выдумка не отличалась такимъ совершенствомъ, какъ созданіе великаго родоначальника и творца полярной земли.

Эуннэкай шелъ и раздумывалъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ оглодалъ послѣднюю косточку, брошенную его братомъ Каулькаемъ, изъ которой онъ пытался извлечь еще какой-нибудь съѣдобный матеріалъ, мясо не касалось его устъ. Впрочемъ, онъ

не очень страдалъ отъ голода. Чукчи вообще ѣдятъ разъ въ день, а молодые люди, пасущіе стада, сплошь и рядомъ голодаютъ по два и по три дня, особенно въ лѣтнее время. Эуннэкай привыкъ разсматривать голодъ, какъ нормальное условіе своей жизни. И въ этомъ отношеніи онъ тоже былъ выносливѣе своихъ оленей.

Солнце поднималось выше и выше, а шагъ Эуннэкая становился все медленнѣе. Утромъ, когда онъ впервые тронулся въ путь, онъ шагалъ не такъ тихо и долго не терялъ изъ виду стада, двигавшагося впереди. Олени поминутно останавливались и щипали свѣжіе листочки на вѣтвяхъ мелкихъ кустиковъ, зелень которыхъ они такъ любятъ. Пастухи то и дѣло отбѣгали въ сторону, чтобы собрать во едино разбредающихся животныхъ. Стадо подвигалось впередъ довольно медленно. Но потомъ Эуннэкай отсталъ и потерялъ-таки его изъ вида. Съ тѣхъ поръ прошло много времени, и стадо должно быть успѣло сдѣлать болѣе половины пути по направленію къ бѣлой наледи, дающей желанную защиту отъ комаровъ. А Эуннэкаю предстояло идти еще очень долго. Окружающая мѣстность была знакома ему, какъ его пять пальцевъ. Не даромъ онъ родился и выросъ въ пустынѣ. Онъ узналъ каждый уступъ окружавшихъ его вершинъ, каждый изгибъ маленькой горной рѣчки, бѣжавшей по сѣрымъ каменьямъ въ узкой ложбинѣ, и зналъ, что ему придется сдѣлать еще много поворотовъ, пока вдали блеснутъ бѣлые края широкой наледи, не тающей даже подъ іюльскимъ солнцемъ.

Столбъ комаровъ съ пронзительнымъ жужжаніемъ вился надъ головою Эуннэкая, словно призывая къ аттакѣ. Комары торопились воспользоваться благопріятными минутами. Время отъ времени Эуннэкай медленно проводилъ рукою по лицу и, раздавивъ десятка полтора комаровъ, размазывалъ кровь по щекѣ или по лбу. Лицо его было покрыто засохшими пятнами такой крови. Но и помимо этихъ пятенъ, смуглое лицо Эуннэкая было до такой степени испачкано грязью, что даже среди никогда не моющихся чукчей заслужило ему названіе Чарарамкина, т. о. грязнаго жителя. Глаза его были узки и прорѣзаны наискось, губы некрасиво оттопырились, низкій лобъ, сильно наклоненный назадъ, переходилъ въ худо сформированный несимметричный черепъ. Надъ безобразіемъ Эуннэкая смѣялись молодыя дѣвушки на всѣхъ тѣхъ стойбищахъ, гдѣ когда-либо показывалась его жалкая фигура.

Рѣчка, по которой лежалъ путь Эуннэкая, носившая ламутское имя Муруланъ, постоянно разбивалась на множество мелкихъ ручьевъ, совершенно наполняя ложбину, пролегавшую между двухъ невысокихъ, но обрывистыхъ горныхъ цѣпей.

Тропа то и дѣло обрывалась и переходила съ лѣваго берега на

правый и обратно, перерѣзывая одинъ за другимъ эти безчисленные ручьи. Эуннэкай переходилъ ихъ въ бродъ въ своихъ толстыхъ мѣховыхъ штанахъ, впитывавшихъ воду, какъ губка, и жалкой дырявой обуви, сгибаясь въ три погибели подъ тяжестью ноши и только стараясь, чтобы мелкое, но яростное теченіе не сбило его съ ногъ. Онъ былъ не очень твердъ на своихъ кривыхъ ступняхъ, смотрѣвшихъ въ разныя стороны.

Наконецъ, Эуннэкай совершенно остановился. Онъ ощущалъ непреодолимое стремленіе отдохнуть. Что дѣлать? Величайшій порокъ чукотскаго «охранителя стадъ» былъ въ высшей степени присущъ ему. Онъ любилъ спать. Его товарищи, никогда не отдававшіе сну больше половины своихъ ночей, часто проводившіе по трое сутокъ, не смыкая глазъ, въ постоянномъ охраненіи непокорныхъ стадъ, больше всего презирали его именно за эту постыдную слабость. Но избавиться отъ нея было выше силъ Эуннэкая. Когда у него болѣла грудь, онъ ощущалъ непобѣдимое стремленіе свернуться гдѣ нибудь подъ кустомъ или подъ камнемъ и предаться забвенію, уничтожавшему на время его существо.

Сонъ Эуннэкая не былъ здоровымъ сномъ молодаго организма, готоваго воспрянуть съ новымъ запасомъ силъ. То была тусклая дремота больного животнаго, апатично отказывающагося отъ всѣхъ проявленій жизни, пелена глухой тьмы, не освѣщавшейся ни однимъ призрачнымъ лучемъ, унылый обморокъ, лишенный грезъ и видѣній, истинное подобіе и преддверіе смерти.

Остановившись на широкой каменной площадкѣ, покрытой тонкимъ слоемъ свѣтлозеленаго мха, перемежаемаго бурыми и ржавокрасными пятнами лишаевъ, Эуннэкай сбросилъ свою ношу на землю, не теряя ни минуты опустился около нея, покрылъ лицо платкомъ въ защиту отъ комаровъ, уронилъ голову на мягкую котомку и сразу замеръ, придя въ привычное ему состояніе временнаго небытія. Комары продолжали кружиться надъ его невзрачной фигурой, отыскивая уязвимыя мѣста, слѣпни гудѣли и съ налета опускались на его грудь и руки, безуспѣшно стараясь пробить крѣпкимъ жаломъ, укрѣпленнымъ въ нижней части тѣла, толстый мѣхъ его одеждъ. Только Эуннэкай могъ спать на самомъ солнцепекѣ, окутанный мѣховой одеждой и съ закрытымъ лицомъ.

Чрезъ нѣсколько часовъ Эуннэкай проснулся. Горло его было сухо. Ему хотѣлось пить. Онъ спустился внизъ по неровнымъ уступамъ камней и жадно припалъ къ водѣ, не обращая вниманія на то, что воротъ его кукашки мокнетъ въ бѣгущей струѣ, а колѣни погружаются въ сырой песокъ. Его одежда и такъ была

наполовину пропитана водой.

Напившись ледяной воды, Эуннэкай усѣлся на сухой дресвѣ и сталъ перебирать и разсматривать мелкіе камешки, во множествѣ разсыпанные на берегу рѣки. Пристрастіе его къ маленькимъ рѣдкостямъ, какія можетъ находить пастухъ, вѣчно бродящій по берегамъ рѣкъ и вершинамъ горъ, тоже служило немалымъ поводомъ для постоянныхъ насмѣшекъ надъ нимъ. Эуннэкай собиралъ яркія перья, косточки, обрывки цвѣтныхъ хвостиковъ, которые чукчанки пришиваютъ къ одеждѣ, и т. п. мелочи. Но въ особенности онъ любилъ собирать мелкіе цвѣтные камешки, красные, какъ цвѣтъ шиповника, синіе, какъ глазокъ полярнаго колокольчика, прозрачные, какъ кусокъ рѣчного льда. У него за пазухой всегда копился запасъ такихъ камешковъ, размѣры котораго постепенно увеличивались. Когда коллекція начинала обращаться въ бремя, Эуннэкай не безъ сожалѣнія извлекалъ свое богатство изъ нѣдръ подвижной сокровищницы, чтобъ оставить его среди той пустыни, гдѣ оно было собрано. Для этого онъ старался выбрать мѣстечко повыше и поровнѣе, какую нибудь площадку, гладкій уступъ скалы и раскладывалъ на немъ свои камни, выводя изъ нихъ правильные узоры и заимствуя образцы отъ ламутскихъ вышивокъ, которыя ему не разъ приходилось видѣть, — и уходилъ прочь, для того, чтобы немедленно начать собираніе новыхъ сокровищъ. Это было проявленіемъ первобытной эстетической потребности въ родѣ той, какая присуща нѣкоторымъ птицамъ, украшающимъ подобными рѣдкостями свои временные павильоны, для весеннихъ прогулокъ.

Только два камня Эуннэкай ни за что не хотѣлъ оставить и носилъ ихъ за пазухой уже третье лѣто. Одинъ изъ нихъ былъ кусочекъ чернаго агата, обточенный въ видѣ конуса съ отломленной верхушкой и глубокой царапиной на нижней грани, другой — круглый кремень дымчатаго цвѣта величиною съ орѣхъ. Эуннэкай придавалъ имъ значеніе амулетовъ и, чувствуя ихъ прикосновеніе къ своей голой груди, ощущалъ, какъ будто, таинственную поддержку среди всевозможныхъ невзгодъ своей жизни. Ему казалось, что даже боль въ его груди смягчается отъ прикосновенія этихъ камней.

Кромѣ камней, Эуннэкай любилъ также цвѣты. На своихъ неуклюжихъ ногахъ онъ иногда взбирался на самые крутые склоны, чтобы сорвать большую желтую лилію, пробившуюся сквозь щель скалы и прижималъ къ лицу нѣжные лепестки, не умѣя дать имъ названія, не имѣя даже словъ, чтобы опредѣлить тотъ или иной оттѣнокъ яркости, будившій въ его сознаніи неопредѣленное чувство красоты. Проходя по горнымъ лугамъ,

разукрашеннымъ яркими красками альпійской флоры, онъ иногда бросался на землю, катался, какъ оленій теленокъ, взадъ и впередъ, приминая своимъ тѣломъ алыя, фіолетовыя и голубыя головки, срывалъ ихъ обѣими руками, чтобы приложить къ своимъ щекамъ и волосамъ, и незамѣтно засыпалъ среди цвѣтовъ въ своей бурой *кукашкѣ*, какъ будто полярная пародія первобытнаго царя природы, заснувшаго на пышномъ цвѣточномъ ложѣ, подъ знойнымъ кровомъ тропическихъ небесъ.

Но цвѣты были, по его мнѣнію, хуже камней. Ихъ красота была слишкомъ непрочна. Было безполезно уносить ихъ съ собою, такъ какъ они тотчасъ же портились и увядали. Ихъ приходилось отбрасывать прочь, не имѣя возможности даже соорудить узорное украшеніе на скалѣ изъ осыпающихся лепестковъ, разлетавшихся по вѣтру, какъ пухъ мертвой птицы.

Однако, на этотъ разъ ему не попалось ничего, что было бы достойно присоединиться къ его сокровищамъ. Дресва на берегу Мурулана состояла изъ обломковъ песчаника тусклаго свѣтложелтаго, сѣроватаго и зеленоваго цвѣта. Даже формы ихъ были угловаты и неправильны. Маленькая горная рѣчка не имѣла досуга, чтобы правильно обтачивать обломки каменныхъ породъ, загромождавшихъ ея теченіе, и только дробила ихъ на самыя мелкія части, съ шумомъ сбѣгая внизъ по скату долины.

Порывшись немного въ дресвѣ, Эуннэкай поднялся на ноги и неловко полѣзъ обратно на косогоръ. Онъ чувствовалъ себя, все-таки гораздо лучше прежняго. Продолжительный отдыхъ всегда приносилъ ему облегченіе. Грудь его перестала болѣть, нога ныла значительно слабѣе. Надо было продолжать прерванный путь, не то ему никогда не добраться до наледи. Взваливъ на плечи свою котомку, Эуннэкай довольно бодро пустился въ дорогу.

Смутныя мысли медленно ползли въ его головѣ, слѣдуя другъ за другимъ непрерывнымъ рядомъ, словно цѣпь его хромающихъ шаговъ.

— Вотъ ламуты! думалъ онъ. — Они не носятъ котомки на плечахъ… Лукавые люди! Выдумали взвалить свою тягость на оленью спину. И пѣшкомъ не любятъ ходить! Дядя его, Эйгелинъ, когда увидитъ ламутское кочеваніе, смѣется: «Хорошъ пастухъ! Сзади стада верхомъ ѣдетъ! Свои ноги жалѣетъ, а оленьи нѣтъ!»…

— Правда! — Эуннэкай неодобрительно покачалъ головой. — Грѣшно отягощать лѣтомъ оленей! Это значитъ служить враждебному духу Кэля, приводящему «хромую болѣзнь»!

Подумавъ о Кэля, Эуннэкай со страхомъ посмотрѣлъ вокругъ. Вѣдь и его болѣзнь, конечно, тоже была дѣломъ враждебныхъ Кэля. Кто-нибудь изъ нихъ, навѣрно, возненавидѣлъ его родъ. Можетъ еще дѣдъ или прадѣдъ обидѣлъ его, обошелъ его

жертвой, пренебрегъ въ началѣ осени окропить закатъ кровью чернаго оленя, убитаго среди пустыни, или что-нибудь въ этомъ родѣ, а *онъ* выместилъ злость на Эуннэкаѣ и въ минуту его рожденія вывернулъ ему ногу и исковеркалъ грудь… А что если и теперь онъ не оставилъ Эуннэкая въ покоѣ? Если онъ тутъ, совсѣмъ близко? Вѣдь видѣть его глазами нельзя!.. Онъ вспомнилъ, что недалеко находилось ущелье Уннукина, названное такъ по имени чукотской семьи, которую Кэля погубилъ тамъ. Двѣ жены Уннукина родили ему пять сыновой и пять дочерей, и никто изъ нихъ никогда не зналъ, что такое болѣзнь. Но Уннукинъ обѣщалъ злому духу оленя и забылъ исполнить обѣщанье. И вотъ, когда Уннукинъ прикочевалъ въ это ущелье и остановился на ночлегъ, Кэля явился ночью и унесъ его обѣихъ женъ и пять сыновой, и пять дочерей. Только Уннукинъ остался въ живыхъ, въ ужасѣ покинулъ стадо и шатеръ и бѣжалъ, куда глаза глядятъ.

Непріятная дрожь пробѣжала по спинѣ Эуннэкая. Онъ спустился къ рѣкѣ и перебрелъ ее безъ особенной надобности, кое какъ прыгая съ камня на камень, чтобы не слишкомъ замочиться, но разсчитывая сдѣлать текущую воду преградой между Кэля и собой. Теперь тропинка извивалась въ густыхъ и высокихъ кустахъ тальника и ольховника, сквозь которые Эуннэкай съ трудомъ пробирался, то и дѣло путаясь ногами въ корняхъ, торчавшихъ во всѣ стороны. Онъ шелъ, опустивъ голову и внимательно разсматривая дорогу. Мягкая земля, покрывавшая въ этомъ мѣстѣ каменную подпочву, была вся испещрена слѣдами. Большей частью то были овальные раздвоенные отпечатки оленьихъ копытъ, съ едва намѣченными сзади тонкими верхними копытцами. Эуннэкай всматривался въ эти отпечатки: то не были слѣды чукотскаго оленя: товарищи его не захотѣли бы прогнать стадо по такой неудобной заросли и, безъ сомнѣнія, предпочли сдѣлать небольшой обходъ по болѣе открытымъ мѣстамъ. То были, конечно, слѣды Эльвиля (дикаго оленя). Слѣдъ былъ глубже, копыта длиннѣе, задніе пальцы больше вдавлены. А вотъ совсѣмъ свѣжій слѣдъ! О, какой огромный быкъ ходилъ тутъ! Должно быть жиру на бедрахъ по меньшей мѣрѣ на три пальца. Вотъ бы убить!.. А это что?.. Между многочисленными слѣдами на самой тропинкѣ ему попался еще отпечатокъ, очень похожій на слѣдъ босой человѣческой ступни, только гораздо шире и со вдавленными основаніями пальцевъ. Но Эуннэкай очень хорошо зналъ, что за человѣкъ оставилъ этотъ отпечатокъ: тотъ самый, который вѣчно ходитъ босикомъ и не носитъ мѣховой обуви.

Онъ остановился, какъ вкопанный, и почувствовалъ, что волосы на его темени начинаютъ приподниматься дыбомъ.

— Безъ собаки хожу! — пронеслось въ его головѣ. — Самъ себя скормлю и никто знать не будетъ!

Слѣдъ былъ совсѣмъ свѣжій, какъ будто *черный старикъ* только что прошелъ по этой тропѣ. Эуннэкай стоялъ, не смѣя перенести ногу черезъ роковой отпечатокъ и не рѣшаясь обойти его сбоку, и пытливо всматривался въ густую листву, какъ будто опасаясь, что вотъ-вотъ покажется страшная морда съ маленькими злыми глазками и оскаленными зубами и потянется къ нему навстрѣчу.

— Что одинъ слѣдъ? — попробовалъ онъ утѣшить себя. — Старикъ, должно быть, ушелъ, Богъ знаетъ куда! Надо и мнѣ уйти поскорѣе!

Но рѣшеніе Эуннэкая умерло, не успѣвъ сформироваться. Въ десяти шагахъ отъ него послышался трескъ сучьевъ… Большая бурая масса поднялась изъ ямы, наполненной прошлогодними сухими листьями, и вышла на дорогу. Эуннэкай увидѣлъ длинную морду, протянутую къ нему навстрѣчу. Маленькіе глазки щурились и мигали, кончикъ носа морщился и безпокойно поворачивался во всѣ стороны, зубы на половину оскалились; все было совсѣмъ такъ, какъ онъ только что представлялъ себѣ.

Медвѣдь остановился на дорогѣ и посмотрѣлъ на Эуннэкая.

— Старикъ! — сказалъ съ отчаяніемъ кривоногій. — Пожалѣй меня! Пощади меня! Во всю мою жизнь я не трогалъ никого изъ твоего рода. Я не говорилъ о тебѣ худо! Встрѣчая слѣдъ твой на дорогѣ, я не ступалъ черезъ него, а обходилъ далеко стороной… Пожалѣй меня! Иди къ тѣмъ людямъ, которые наносятъ тебѣ обиды, которые говорятъ хвастливо тебѣ навстрѣчу и приходятъ въ твой домъ съ копьями, чтобы заколоть тебя и ѣсть твое мясо!

Эуннэкай дрожалъ, какъ листъ, произнося эти заклинанія. Медвѣдь, вѣроятно, былъ сытъ или онъ, дѣйствительно, тронулся жалобами Эуннэкая. Онъ постоялъ немного, какъ будто бы ждалъ, не скажетъ ли тотъ еще чего-нибудь, потомъ покинулъ тропинку и, лѣниво переступая, скрылся въ той же чащѣ, откуда вышелъ. Судя по шуршанью листьевъ и треску мелкихъ сучьевъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, онъ, кажется, опять намѣревался улечься на отдыхъ и выбиралъ себѣ ложе помягче.

Эуннэкай подождалъ, чтобы медвѣдь скрылся изъ глазъ, и быстрыми шагами направился впередъ, не забывая обходить медвѣжьи слѣды, виднѣвшіеся на тропѣ. Онъ совсѣмъ забылъ о ношѣ, лежавшей на его плечахъ, и чувствовалъ неодолимое стремленіе, какъ можно скорѣе, удалиться отъ опаснаго мѣста. Если бы онъ не боялся разсердить *старика* слишкомъ замѣтной торопливостью, онъ бы пустился бѣгомъ сквозь кусты, несмотря на свою больную ногу.

— Пожалѣлъ старикъ! — думалъ онъ. — Все знаетъ, до чиста! Зачѣмъ станетъ обижать бѣднаго парня, который никогда не говорилъ о немъ худо? А въ прошломъ году онъ унесъ Айвана прямо съ ночлега. И по дѣломъ! Если дѣдушка хочетъ зарѣзать оленя, пастухъ не долженъ тотчасъ же хвататься за ружье. Русакамъ вѣдь убиваемъ оленей и ламутамъ тоже, безъ платы! — говорилъ себѣ Эуннэкай. А Айванъ пришелъ на ночлегъ и расхвастался: «Ружье вычищу, говоритъ, завтра медвѣдя промышлять стану!» Ну, старику въ обиду стало!.. Айванъ разбираетъ ружье, а старикъ пришелъ къ костру и унесъ его вмѣстѣ съ ружьемъ. Айванъ кричалъ и звалъ на помощь. А другіе пастухи припали лицомъ къ землѣ и боялись дышать, чтобы старикъ не замѣтилъ и не сталъ вымещать обиду и на нихъ. А потомъ въ лѣсу нашли отъ Айвана объѣденную ногу…

Въ этотъ день Эуннэкай не отдыхалъ больше и неуклонно шелъ впередъ, стремясь поскорѣй присоединиться къ товарищамъ. Повременемъ онъ подозрительно оглядывался. Онъ боялся, чтобы старикъ не передумалъ и не пустился за нимъ въ погоню. Жидкія рощи корявыхъ лиственницъ, темнѣвшія мѣстами на берегахъ Мурулана и на склонахъ горныхъ вершинъ, окаймлявшихъ его теченіе, по мѣрѣ приближенія къ вершинѣ рѣки становились все рѣже и приземистѣе и, наконецъ, совершенно исчезли. На южныхъ склонахъ мѣстами еще виднѣлись три или четыре тонкихъ искривленныхъ деревца, какъ будто съежившихся отъ стужи, царствующей здѣсь почти цѣлый годъ. Только ползучій кедровникъ широкими пятнами лѣпился по обнаженнымъ буро-коричневымъ склонамъ, пользуясь каждымъ выступомъ, каждой неровностью камней, чтобы разостлать свои кудрявыя цѣпкія вѣтви. Высокій тальникъ и развѣсистый ольховникъ тоже исчезли и замѣнились низкорослыми кустиками не выше полуаршина, жесткими, густыми и курчавыми, похожими на зеленую шерсть, такими сухими, что можно было разводить огонь ихъ тонкими сучьями. Наконецъ, когда солнце уже низко склонилось къ западному краю горныхъ вершинъ, вдали блеснула бѣлая линія желанной наледи. Эуннэкай радостно поднялъ голову и еще прибавилъ шагу.

* * *

Стадо паслось на широкой и ровной площади, поросшей густымъ моховымъ ковромъ, шагахъ въ трехстахъ отъ наледи. Съ наступленіемъ вечера потянулъ легкій вѣтерокъ, сдувая большую часть насѣкомыхъ, которыя поспѣшили укрыться въ травѣ или

между листьевъ кустарника. Только самые упрямые изъ комариная воинства еще кружились, звеня крыльями надъ головой оленей, но вѣтеръ препятствовалъ имъ разсчитывать движенія и, когда они опускались внизъ, каждый разъ относилъ въ сторону. Оленя, пользуясь промежуткомъ свободы, паслись на моховищѣ, поспѣшно вырывая свѣтло зеленый мохъ большими клочьями изъ каменистой почвы и торопясь набить желудокъ, пока комары вновь не возстали изъ праха. Стадо было очень большое, около трехъ тысячъ головъ. Молодые бычки, по зимней привычкѣ, то и дѣло пытались разгребать то лѣвымъ, то правымъ копытомъ воображаемый снѣгъ и каждый разъ только извлекали рѣзкій стукъ изъ твердаго камня. Старые быки степенно бродили взадъ и впередъ, опустивъ головы, увѣнчанныя вѣтвистыми рогами, уже выросшими до полныхъ размѣровъ, но покрытыми еще мягкой гладкошорстной кожей, похожей на черный бархатъ. Старыя матки и молодыя важенки, стройныя, изящныя, какъ будто выточенныя изъ темнаго мрамора, виднѣлись повсюду. Телята съ черной шерстью, высокіе, смѣшные, съ тонкимъ и короткимъ туловищемъ, съ маленькимъ хвостикомъ, задраннымъ кверху, какъ у собаки, бѣгали вокругъ на своихъ длинныхъ ногахъ. Самые робкіе съ тревожнымъ хрюканьемъ метались по пастбищу, отыскивая матокъ. Другіе не очень заботились о собственной матери. То были любимцы стада, получавшіе, такъ сказать, общественное воспитаніе. Тамъ и сямъ можно было видѣть, какъ четверо или пятеро такихъ избалованныхъ питомцевъ, обступивъ со всѣхъ сторонъ какую нибудь старую важенку, наперебой другъ передъ другомъ теребили ея короткіе сосцы и, поминутно ударяясь головой объ вымя, настойчиво требовали молока… Важенка стояла смирно, отдаваясь всецѣло избалованнымъ дѣтямъ стада, которыя сосали ее по трое и по четверо вдругъ, отбиваясь въ то-же время задними копытами отъ новыхъ претендентовъ.

Каулькай и Кутувія, другіе пастухи стада, сидѣли на самомъ краю площади у маленькаго костра, протянувшаго по вѣтру длинный и тонкій дымокъ съ развихреннымъ концомъ, похожимъ на кудрявую метелку. Пастухи отдыхали отъ бѣготни, увѣренные, что олени не уйдутъ съ пастбища, пока нѣтъ комаровъ.

— Пришелъ? — сказалъ Кутувія, поднимая голову. Онъ лежалъ на животѣ, опираясь локтями объ землю. То былъ здоровый, точно выкованный изъ желѣза человѣкъ, съ плоскимъ и широкимъ лицомъ, безформеннымъ носомъ, похожимъ на шишку, и узкими глазками, какъ будто выковырянными тупымъ шиломъ. Черты его лица поражали грубостью, фигура напоминала обрубокъ массивной плахи, поставленный на пару крѣпкихъ

прямыхъ кольевъ. За то на своихъ четвероугольныхъ плечахъ Кутувія могъ нести на большое разстояніе *круглую*, т. е. не ободранную и невыпотрошенную оленью тушу.

Каулькай сидѣлъ противъ него на корточкахъ, упираясь подбородкомъ на соединенныя вмѣстѣ колѣни. Онъ также поднялъ лицо по направленію къ новопришедшему и остановилъ на немъ свои большіе глаза орѣховаго цвѣта. Лицо его было совсѣмъ бронзовое, съ суровыми крупными чертами, съ большимъ слегка орлинымъ носомъ и рѣзкой вертикальной морщинкой между нахмуренныхъ бровей. Онъ напомнимъ индѣйскаго вождя изъ племени какихъ-нибудь Семиноловъ или Апаховъ, и глаза невольно искали на его коротко остриженной головѣ традиціоннаго пучка орлиныхъ перьевъ, знаменующаго достоинство предводителя индійскихъ воиновъ. Желтая собака, лежавшая у ногъ Каулькая, тоже подняла длинную морду, вытянутую, какъ у лисицы, вильнула долгимъ пушистымъ хвостомъ и снова свернулась въ клубокъ.

Эуннэкай сбросилъ на землю ношу, отдавившую ему плечи, и самъ тяжело опустился около нея. Оживленіе его силъ исчезло вмѣстѣ со страхомъ, и онъ чувствовалъ себя совсѣмъ разбитымъ.

— Эгей!.. — отвѣтилъ онъ на привѣтствіе — пришелъ!..

— Что видѣлъ? — спросилъ Кутувія, помолчавъ.

— Нѣтъ! — вяло отвѣтилъ Кривоногій. Ему не хотѣлось разсказывать про медвѣдя.

— А я думалъ, что медвѣдь тебя съѣлъ! — сказалъ насмѣшливо Кутувія, оскаливъ два ряда крупныхъ бѣлыхъ зубовъ, похожихъ на лошадиные.

Глаза Эуннэкая широко раскрылись отъ ужаса.

— Не говори! Не поминай! — сказалъ онъ сдавленнымъ голосомъ. — Поминать грѣхъ!

— Развѣ видѣлъ? — спросилъ Каулькай голосомъ, въ которомъ слышалась тревога.

Кривоногій утвердительно опустилъ глаза.

— Куда пошелъ? — снова спросилъ Каулькай.

— Не пошелъ. Еще лежитъ! — неохотно отвѣтилъ Кривоногій. Разговоръ положительно казался ему опаснымъ.

— Еще въ стадо придетъ! — задумчиво продолжалъ Каулькай. — Всѣхъ оленей разгонитъ.

О подробностяхъ встрѣчи Эуннэкая съ медвѣдемъ никто, однако, не сталъ разспрашивать. Онъ вышелъ изъ нея благополучно, стало быть, и спрашивать было нечего.

Наступило короткое молчаніе.

— Сколько разъ ложился? — спросилъ Кутувія также насмѣшливо.

Но Эуннэкай не отвѣтилъ. Его глаза были прикованы къ кучкамъ рыбьей шелухи, разсыпанной тамъ и сямъ около костра.

— Нашли? — спросилъ онъ тихо. Ему внезапно до смерти захотѣлось ѣсть.

— Нашли! — безпечно отвѣтилъ Кутувія, поворачиваясь на бокъ и опираясь на локоть.

— Сколько?

— Три!

— Крюкомъ?

— Крюкомъ!

На устахъ Кривоногаго вертѣлся невысказанный вопросъ, но вмѣсто того, чтобы сказать что нибудь, онъ только сплюнулъ въ сторону долгимъ, голоднымъ плевкомъ. Нечего и спрашивать. Очевидно, ему ничего не оставили.

— Хочешь ѣсть? — спросилъ Кутувія, потягиваясь. — Пососи матку!

Эуннэкай бросилъ на него укоризненный взглядъ. Кутувія опять насмѣхался. Онъ хорошо зналъ, что Кривоногому ни за что не удастся поймать и осилить дикую оленью матку.

Каулькай медленно поднялся съ мѣста и, захвативъ свой арканъ, валявшійся возлѣ, направился къ стаду. Вытянувъ внезапно руку, онъ швырнулъ свитокъ колецъ аркана по направленію къ ближайшей важенкѣ. Петля развернулась, свистя и описавъ дугу, упала на тонкіе рога животнаго, которое тщетно пыталось спастись бѣгствомъ. Черезъ минуту Каулькай уже лежалъ брюхомъ на шеѣ важенки, легко осиливая ея отчаянныя стремленія освободиться.

— Соси! — коротко сказалъ онъ, придерживая обѣими руками голову животнаго съ короткими еще не вполнѣ отросшими лѣтними рогами.

Эуннэкай припалъ къ сосцамъ и началъ тянуть молоко не хуже теленка, по временамъ поколачивая по вымени своими грязными кулаками, чтобы вызвать отдѣленіе молока.

— Мнѣ! — лаконически сказалъ Кутувія, не вставая съ мѣста.

Эуннэкай послушно поднялся съ земли и, вынувъ изъ своей котомки небольшой жестяной ковшикъ, опять припалъ къ сосцамъ оленьей матки, на это разъ не проглатывая высосанное молоко, а выпуская его въ принесенный сосудъ…

— Вай, вай! — сказалъ онъ, поднося Кутувіи ковшъ, въ которомъ плескалось около полустакана густого молока, добытаго такимъ оригинальнымъ способомъ. Кутувія съ видимымъ удовольствіемъ выпилъ содержимое ковша. Эуннэкай облизывало капли, прильнувшія къ нѣсколькимъ бурымъ волоскамъ, составлявшимъ его усы. Но Каулькай и не

удовлетворился этимъ.

— Хочешь хрящъ, — спросилъ онъ отрывисто, снова собирая свой арканъ въ кольца и направляясь къ огромному быку съ вѣтвистыми рогами, который, не подозрѣвая готовящагося нападенія, мирно прогуливался по пастбищу.

— Эгей! — отвѣтилъ Кривоногій, утвердительно кивая головой.

Каулькай снова швырнулъ арканъ и поймалъ быка. Почувствовавъ захлеснутую петлю, быкъ отчаянно рванулся впередъ. Арканъ глухо щелкнулъ и натянулся, какъ струна.

— Эй, лопнетъ, лопнетъ! — закричалъ Кутувія, приподнимаясь на колѣни, но Каулькай, перебираясь по аркану, въ одно мгновеніе очутился около быка и мощными руками пригнулъ его голову къ землѣ.

— Рѣжь! — закричалъ онъ запыхавшимся голосомъ.

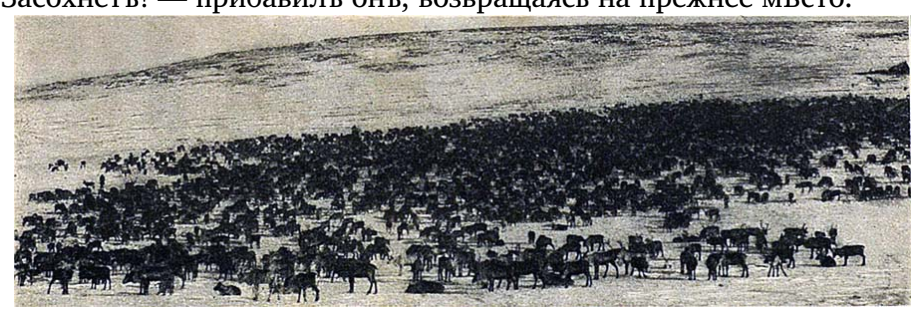
Кривоногій подбѣжалъ съ огромнымъ ножомъ и остановился въ нерѣшимости.

— Половину! — сказалъ нетерпѣливо Каулькай.

Не долго думая, Кривоногій ударилъ ножомъ по правому рогу оленя и отрубилъ большую лопасть съ тремя широкими развѣтвленіями. Олень судорожно вздрогнулъ. Кровь тонкой струйкой потекла изъ раны, заливая оленью голову около уха. Каулькай снялъ петлю и отпустилъ быка на волю.

— Перевязать бы! — заикнулся Кривоногій.

— Ѣшь, не говори! — повелительно сказавъ Каулькай. — Засохнетъ! — прибавилъ онъ, возвращаясь на прежнее мѣсто.



Оленье стадо.

Кривоногій подобралъ лопасть и, усѣвшись у своей котомки, принялся снимать мясистую кожу съ тонкаго хряща. Опаливъ на огнѣ ея короткую шерсть, онъ съ видимымъ наслажденіемъ принялся кромсать ее на кусочки и отправлять ихъ въ ротъ.

— Вай, вай! — сказалъ Кутувія, протягивая руку по направленію къ хрящу, но, встрѣтивъ взглядъ Каулькая, поспѣшно отдернулъ ее, словно обжогшись.

Каулькай стоялъ напротивъ Кривоногаго и, скрестивъ руки на груди, молча смотрѣлъ, какъ онъ управляется съ хрящемъ.

Нельзя было представить себѣ большей противоположности, чѣмъ эта мощная фигура, составлявшая какъ бы олицетвореніе силы и здоровья, и жалкая болѣзненная фигурка, скорчившаяся напротивъ и опиравшаяся спиной на мягкую котомку, какъ будто одна связка косматой одежды была брошена около другой! И, однако, Каулькай и Эуннэкай были родные братья, дѣти старой чукчанки Нэучкатъ, прожившей уже сорокъ лѣтъ на стойбищѣ своего могущественнаго родственника, чукотскаго «короля» Эйгелина[71] и выростившей тамъ своихъ сыновей. Нэучкатъ никогда не жила у мужчины въ шатрѣ. Смолоду Эйгелинъ не хотѣлъ отдать ее, чтобы не потерять здоровую рабочую силу, а потомъ какъ-то такъ случилось, что никто не пожелалъ трижды обвести ее вокругъ столбовъ своего жилища и подвести для благословенія къ новому огню, добытому изъ святого дерева. Должно быть чукотскіе парни не очень зарились на ея сутуловатую фигуру съ кривыми плечами и на грубое лицо съ толстыми челюстями, выдавшимися впередъ, какъ у россомахи. Даже дѣти у нея являлись какъ-то невзначай, послѣ случайнаго посѣщенія какого-нибудь бродячаго гостя, и появленіе ихъ каждый разъ вызывало удивленіе даже у стараго Эйгелина. Такъ и осталась Нэучкатъ жить у Эйгелина въ качествѣ бѣдной родственницы-рабыни, исполнявшей безпрекословно каждое приказаніе своихъ хозяевъ. Теперь Нэучкатъ была стара. Лицо ея сморщилось, какъ древесная кора, глаза стали плохо видѣть. Изо всѣхъ сыновей, которыхъ она въ разное время принесла на Божій свѣтъ, уцѣлѣли только двое. Всѣ другіе давно умерли. Иныхъ враждебные духи унесли въ подземныя пустыни, когда они были еще не больше слѣпаго щенка, лежащаго у сосцовъ недавно ощенившейся суки. Одного унесъ Великій Моръ (оспа), случайно заглянувшій въ эту отдаленную страну. Самому старшему чаунскіе чукчи переломали ребра на весенней ярмаркѣ въ какой-то пьяной ссорѣ, причины которой никогда не зналъ ни одинъ изъ участниковъ.

Но изъ двоихъ уцѣлѣвшихъ одинъ былъ безполезнымъ уродомъ, непригоднымъ къ охраненію стадъ, дающихъ человѣку жизнь. Только Каулькай удался на славу, какъ молодой олень съ желѣзными рогами, не признавшій власти человѣка и забодавшій волка на вершинѣ горнаго хребта[72]. Отцомъ Каулькая называли Тынэймита, который славился когда то на Чаунскихъ стойбищахъ, какъ лучшій борецъ и бѣгунъ, и обгонялъ всѣхъ, состязавшихся въ пѣшемъ бѣгу. А отцомъ Эуннэкая былъ маленькій одноглазый Ауранъ, весь вѣкъ проходившій работникомъ въ чужомъ стадѣ и

не выростившій даже пары пряговыхъ оленей, чтобы отвезти его нарту на погребальный костеръ.

Но и Каулькай съ ранняго дѣтства попалъ въ пастухи чужого стада и уже 12 лѣтъ пасъ оленей Эйгелина, помогая то тому, то другому изъ его восьми сыновей, чаще всего тяжеловѣсному Кутувіи, сердце котораго не отличалось особой оленолюбивостью и который нуждался въ услугахъ быстроногаго работника больше, чѣмъ его братья. Эуннэкай въ счетъ не шелъ. Онъ бродилъ круглый годъ вмѣстѣ со стадомъ и его взяли пастухомъ, только для того, чтобы не мозолить глаза старому Эйгелину, который не потерпѣлъ бы празднаго пребыванія его на своемъ стойбищѣ, даже если бы его ноги были исковерканы въ десять разъ хуже. Ибо никто не имѣлъ права нарушить завѣтъ Тенантумгина, повелѣвшаго потомкамъ Лѣниваго Малютки[73] дни и ночи проводить въ заботахъ о стадѣ.

Эуннэкай скоро справился со своимъ хрящемъ. Ничтожное количество шкуры, содранной съ роговъ, было слишкомъ незначительной величиной для его голоднаго желудка. Каулькай и Кутувія, которые еще утромъ съѣли три маленькихъ харіуса, извлеченныхъ крюкомъ изъ быстробѣгущихъ струй Мурулана, тоже не чувствовали сытости.

— Попокальгина не видѣлъ? — спросилъ Кутувія помолчавъ.

— Нѣтъ! — грустно отвѣтилъ Кривоногій; — онъ очень любилъ попокальгинъ[74].

— Хоть бы мышиное гнѣздо найти! — сказалъ Кутувія.

— Ламуты говорятъ: грѣхъ! — нерѣшительно сказалъ Кривоногій. — Мышь запасъ соберетъ, а люди украдутъ!..

— Ты развѣ ламутъ?.. Ты чавчу (чукча), — жестко возразилъ Кутувія. — Тенантумгинъ велѣлъ намъ брать нашу ѣду тамъ, гдѣ мы ее находимъ!.. А ламуты сами ѣдятъ всякую нечисть!

— Мышь потомъ съ горя удавливается на тальничномъ развилкѣ! — сказалъ Кривоногій. — Я самъ видѣлъ, — прибавилъ онъ, замѣтивъ насмѣшливую улыбку на лицѣ Кутувіи.

— Пускай! — сказалъ Кутувія. Мнѣ какое дѣло! Лишь бы кореньевъ было больше!

— А мышиной отравы не боишься? — спросилъ Каулькай, сощуривъ глаза.

Чукчи увѣряютъ, будто мышь въ защиту отъ грабителей собираетъ нѣкоторые ядовитые корни, которые и перемѣшиваетъ со своими запасами.

— Медвѣдь не боится, я зачѣмъ бояться стану? — задорно возразилъ Кутувія. — Онъ мышиные амбары пуще нашего раскапываетъ!..

— Со старикомъ не равняйся, — съ удареніемъ сказалъ

Каулькай. — Онъ вѣдь все знаетъ. Онъ шаманъ!..

— Шаманъ, шаманъ! — упрямо повторилъ Кутувія. — Кмэкай тоже шаманъ!..

Каулькай засмѣялся. — Вранье! — увѣренно сказалъ онъ, усаживаясь на прежнее мѣсто.

— А зачѣмъ онъ женское платье надѣлъ? — подзадоривалъ Кутувія. — Копья не носитъ, арканомъ не бросаетъ! Совсѣмъ баба!

— Не говори! — сказалъ Эуннэкай боязливо. — *Они* велѣли ему женское платье надѣть, когда онъ спалъ пять дней и пять ночей подрядъ. Унесли его съ собой, донесли до седьмой бездны и хотѣли запереть въ каменномъ шалашѣ безъ двери и безъ лампы…. Онъ насилу отпросился у нихъ и обѣщалъ надѣть женское платье и служить имъ весь свой вѣкъ… Я слышалъ, какъ онъ самъ разсказывалъ Эйгелину объ этомъ!..

— Пустое! — настаивалъ Каулькай. — Онъ, вѣдь, своего тѣла не перемѣнилъ. У него на лицѣ та же черная борода, а его жена, Амрынаутъ, въ прошломъ году родила ему сына. Настоящіе «превращенные» мѣняютъ и тѣло. Вотъ *я въ торговой крѣпости*[75] видѣлъ Эчвака, такъ тотъ самъ родилъ двухъ дѣтей. Вотъ это настоящій «женоподобный»! А если бы Кмэкай былъ у Кэля, онъ владѣлъ бы «вольными голосами». Это всякій знаетъ!..

— А вотъ я ходилъ въ позапрошломъ году на верховья Олоя съ Эйгелиномъ и видѣлъ Кауно! Вотъ шаманъ, — сказалъ Кутувія, понизивъ голосъ. — Вотъ страхъ! — Потушатъ огонь въ пологу, а онъ сейчасъ уйдетъ невѣдомо куда. Туша тутъ, съ нами, а самого нѣтъ! А мы прижмемся другъ къ другу и лежимъ, какъ зарѣзанные олени! Уйдетъ и ходитъ въ надземныхъ странахъ! Потомъ слышимъ голосъ, высоко, высоко… Это онъ возвращается. А съ нимъ и тѣ. Да, много! Страхъ! Всякіе! И надземные, и подземные, и изъ-за моря, изъ-за камней, изъ западной тундры… Кричатъ! Перекликаются!.. То влетятъ въ пологъ, то вылетятъ вонъ. И онъ съ ними. А только Кауно сильнѣе всѣхъ Кэля. Такъ и бранитъ ихъ, какъ Эйгелинъ бабъ. А они все молчатъ или только отвѣчаютъ: эгей!

— Этотъ Кауно вернулъ Нутелькуту украденный увыритъ (душу), — сказалъ Каулькай… — Самъ Нутелькутъ разсказывалъ. У него Кэля шестой увыритъ украли. Онъ и сталъ сохнуть. Въ стадо не ходитъ, ѣду не ѣстъ, сномъ не спитъ… Лежитъ день и ночь на землѣ. Умъ мутиться сталъ. «Сбирался, говоритъ, покинуть и жену, и стадо, уйти въ лѣсъ и стать *косматымъ жителемъ*[76]». Вдругъ пріѣхалъ Кауно. Никто его не звалъ, самъ узналъ. Ну, да какъ не узнаетъ? У него *ихъ* сколько на службѣ. Все ему говорятъ! Я привезъ твою пропажу! — говоритъ. Сейчасъ велѣлъ поставить пологъ, зажегъ четыре лейки (лампы).

Нутелькуту говоритъ: «Раздѣнься до нага! Войди въ пологъ!» Нутелькутъ вошелъ. А въ пологѣ никого, нѣтъ, только бубенъ лежитъ на шкурѣ. «Потуши три лейки!» — говоритъ Кауно. — А самъ совсѣмъ снаружи, даже въ шатеръ не входитъ. Три погасилъ, четвертая еще горитъ. Вдругъ бубенъ какъ застучитъ!.. Какъ загремитъ!.. Прыгаетъ по пологу до самаго потолка. Прыгалъ, прыгалъ, упалъ. Нутелькутъ смотритъ, что будетъ. Видитъ: вылѣзаетъ изъ бубна черный жучокъ. Поползъ по шкурамъ, прямо къ нему. Взлѣзъ на ногу, поползъ по ногѣ, потомъ по спинѣ, потомъ по шеѣ, потомъ по головѣ. Добрался до макушки и вскочилъ въ голову… Съ тѣхъ поръ Нутелькутъ снова сталъ прежнимъ человѣкомъ. Только имя Кауно велѣлъ ему перемѣнить. «Можетъ, *они* снова придутъ, говоритъ, такъ пусть не найдутъ прежняго Аттына»…

Эуннэкай слушалъ чудесный разсказъ съ разинутымъ ртомъ. Когда дѣло дошло до жука, который вскочилъ въ макушку Нутелькута, онъ невольно схватился рукой за собственную голову… какъ будто желая убѣдиться, что тамъ не происходитъ никакихъ исчезновеній и появленій таинственнаго *увырита*.

— А ты почаще спи въ пустынѣ! — сказалъ Кутувія, замѣтивъ его движеніе. — Ни стада, ни огня, никакой защиты! Украдутъ когда-нибудь и у тебя!..

Эуннэкай посмотрѣлъ на него жалобно. Онъ готовъ былъ заплакать.

— Оставь! — сказалъ медленно Каулькай. — Не дразни ихъ! Можетъ, услышатъ.

— А знаешь… Кмэкаю везетъ! — перемѣнилъ Кутувія тему разговора. — Его жена въ прошломъ году родила сына, а теперь и сноха беременна!

— Да вѣдь Винтувіи только семь лѣтъ! — сказалъ Каулькай. — Рано у него дѣти рождаются!

— У него, у него! — передразнилъ Кутувія. — Кто ихъ знаетъ, у кого? Кмэкай сказалъ Чейвунѣ: твоему мужу только семь лѣтъ, а у меня нѣтъ внука. Своруй отъ мужа и отъ меня!.. Только чтобъ не знали, съ кѣмъ! Узнаю, поневолѣ придется колотить!

— А здоровая баба Чейвуна, — сказалъ Каулькай. — Я видѣлъ, она несетъ на спинѣ вязанку дровъ. Не каждый парень утащитъ. Молодецъ Кмэкай!.. Рано сыну жену нашелъ! Выростетъ, не придется сторожить чужихъ оленей! Должно быть ему вправду помогаютъ *тѣ!*

— Выростетъ Винтувія, она будетъ старая!.. Старая жена, мало радости.

— А вправду, отъ кого Чейвуна ребенка принесла? — настаивалъ Кутувія! — Не отъ тебя ли, Эуннэкай? Ты, кажется,

зимою гостилъ у Кмэкая!..

— Оставь! — сказалъ Эуннэкай, — стыдливо опуская глаза. — Мое сердце не знаетъ дѣвокъ!

— Ну, ври, ври! — со смѣхомъ говорилъ Кутувія.

— Славныя дѣвки у ламутовъ! — продолжалъ онъ, закрывая глаза. — На косѣ уйеръ[77], на груди серебро, на шеѣ бусы. А когда ходитъ, передникъ такъ и звенитъ бубенчиками!.. А наши влѣзутъ въ мѣховой мѣшокъ и ходятъ въ немъ весь вѣкъ!

Не смотря на свой недавній патріотическій окрикъ на Эуннэкая по поводу ламутовъ, Кутувія предпочиталъ ламутскихъ дѣвокъ чукотскимъ.

— У старосты Митрея хорошая дѣвка! — лукаво сказалъ Каулькай. — Спина, какъ у важенки, волосы, какъ волокнистый табакъ[78]. Молодому пастуху хорошая жена!

— Да, хорошая! — проворчалъ Кутувія, — Митрей меньше ста оленей не возьметъ. Это, вѣдь, цѣлое стадо! — Худой народъ ламуты! — продолжалъ онъ злобно. — Продаютъ дѣвку, какъ *манщика*[79].

— Развѣ у Эйгелина оленей нѣтъ? — спросилъ Каулькай. — Ваши олени на пяти рѣкахъ. Упавшіе рога, какъ валежникъ на полѣ!

— Эйгелинъ не хочетъ ламутской невѣстки! — угрюмо сказалъ Кутувія. — Старикъ говоритъ: «дочь Чэмэги убѣжала отъ Кэргувіи, твоя тоже покажетъ спину. Не дамъ оленей за слѣды на снѣгу!»

— Пускай! — сказалъ Каулькай. — Ламутская родня мало добра. Вонъ у Рольтыэргина на Олоѣ какое было стадо! Одни бычачьи рога стояли, какъ лѣсъ. А какъ взялъ ламутскую дѣвку, такъ ничего не осталось. Шурья, да свояки все съѣли. *Ламутское горло проглотитъ всю землю и сытѣе не станетъ!*

Эуннэкай молча слушалъ разговоры товарищей. Хотя онъ и сказалъ, что его сердце не знаетъ дѣвокъ, но это не совсѣмъ согласовалось съ истиной. Напротивъ, въ рѣдкія счастливыя минуты отдыха, на большомъ стойбищѣ Эйгелина, когда ему не хотѣлось ни спать, ни ѣсть, когда онъ не долженъ былъ немедленно отправляться въ стадо и могъ сидѣть у входа въ шатеръ, не двигаясь и не поднимаясь съ мѣста, онъ находилъ большое удовольствіе въ томъ, чтобы слѣдить своими узенькими, но зоркими глазками за быстрыми движеніями дѣвушекъ, хлопотавшихъ у огня или мявшихъ оленьи шкуры своими крѣпкими руками. Онъ, однако, не раздѣлялъ вкуса Кутувіи относительно ламутокъ.

«Что хорошаго? — думалъ онъ. — Одежда вся распорота[80]. Желѣза столько, что и таскать тяжело. Кругомъ навѣшано, въ

глазахъ рябитъ! А у нашихъ одежда гораздо красивѣе: пыжикъ черный, гладкій, на колѣняхъ пестрянка. Шея опушена тройнымъ мѣхомъ. Ничего лишняго, гладко, красиво!.. Ламутская дѣвка побѣжитъ, за сучокъ желѣзками задѣнетъ, а чукотская скользитъ между деревьями, какъ лисица!»

Эуннэкай вспомнилъ, какъ въ минувшую весну онъ странствовалъ съ кочевымъ обозомъ и ему пришлось гнать стадо вмѣстѣ съ Аммой. Дорога шла по крутымъ скаламъ съ перевала на перевалъ. На подъемахъ Амма быстро карабкалась вверхъ, не отставая ни на шагъ отъ оленей, прыгая съ камня на камень, хватаясь руками то за выступы скалы, то за вѣтви кедровника, то просто за снѣгъ. Эуннэкай далеко отсталъ на своихъ кривыхъ ногахъ. Добравшись доверху, онъ совсѣмъ запыхался и принужденъ былъ сѣсть на снѣгъ, чтобы отдышаться. Эуннэкай сидѣлъ на вершинѣ перевала, а Амма быстро спускалась внизъ за своими оленями. Ея легкій силуэтъ мелькалъ то слѣва, то справа, обгоняя стадо. На гладкихъ спускахъ, покрытыхъ блестящимъ слежавшимся снѣгомъ, она падала на спину и скользила внизъ, сложивъ на груди руки и откинувъ голову, и горный вѣтеръ раздувалъ долгую шерсть на оторочкѣ ея мѣхового наряда. Она и вся была похожа на комочекъ шерсти, гонимый сѣвернымъ вѣтромъ по склону ущелья… Вдругъ быстрымъ движеніемъ она опять вскакивала на ноги и далеко убѣгала въ сторону въ погонѣ за своенравнымъ пыжикомъ, задумавшимъ избрать для спуска одну изъ боковыхъ тропинокъ. Увы, когда потомъ Эуннэкай догналъ, наконецъ, Амму уже внизу въ глубинѣ долины, она только обвела его презрительнымъ взглядомъ и послѣ того обращала на него гораздо меньше вниманія, чѣмъ на стадо. Дѣвки вообще не засматривались на Кривоногаго.

Молодая чукчанка.

— А гдѣ стадо? — внезапно сказалъ Каулькай, вскакивая на ноги.

Кутувія тоже вскочилъ, и оба они пытливо озирались вокругъ, отыскивая на острыхъ вершинахъ хоть одинъ силуэтъ движущагося животнаго.

— Направо, надъ лѣсомъ! — сказалъ Эуннэкай. Его глаза обладали наибольшей зоркостью.

Неугомонные олени уже успѣли уйти, Богъ знаетъ куда, опустились внизъ, перешли рѣку и взбирались теперь на противоположный горный склонъ, безостановочно и поспѣшно,

построившись въ долгую походную колонну, какъ будто ихъ призывала туда какая-то неотложная надобность.

Каулькай сорвался съ мѣста, какъ стрѣла, быстро сбѣжалъ по косогору, быстро перешелъ рѣку, не разбирая брода, и черезъ нѣсколько минутъ очутился на противоположной сторонѣ. Высокая фигура его уже мелькала надъ верхней опушкой лѣсовъ, направляясь къ ржаво-краснымъ склонамъ большой сопки, куда богатый моховой покровъ манилъ бѣглецовъ.

Кутувія посмотрѣлъ ему вслѣдъ и опустился на прежнее мѣсто.

— Приведетъ! — безпечно проговорилъ онъ. — Дай трубку! — прибавилъ онъ, протягивая руку къ Кривоногому.

Эуннэкай вытащилъ свой пустой табачный мѣшокъ и потрясъ имъ въ воздухѣ.

— Нѣтъ! — сказалъ онъ лаконически.

— Что курилъ? — спросилъ Кутувія, нахмуривъ брови.

— Трубочную накипь ковырялъ! — сказалъ Кривоногій. — Съ деревомъ мѣшалъ!

Кутувія проворчалъ что-то непонятное и, вытащивъ изъ-за пазухи собственный табачный мѣшокъ и маленькую оловянную «ганзу», укрѣпленную въ грубой деревянной оправѣ, набилъ ее сѣрымъ крошевомъ изъ «черкасскаго табаку», смѣшаннаго также съ изрядным количествомъ дерева.

— Дай! — тотчасъ же протянулъ руку и Эуннэкай. Онъ уже давно не курилъ.

Кутувія безпрекословно передалъ ему мѣшокъ. Табакъ считается у чукчей такимъ продуктомъ, въ которомъ никогда нельзя отказывать просящему.

Не болѣе чѣмъ черезъ полчаса явился Каулькай со стадомъ. Онъ пригналъ оленей на то самое мѣсто, гдѣ сидѣли его товарищи.

— Всѣ? — спросилъ Кутувія.

— А то нѣтъ? — переспросилъ Каулькай, усаживаясь рядомъ съ нимъ.

— Дай! — протянулъ и онъ руку къ Кутувіи, видя, что Эуннэкай выколачиваетъ трубку. Скупой твой отецъ! — сказалъ онъ. — Когда даетъ табакъ, всегда ругается. Тратимъ много, говоритъ. А мы вѣдь безъ чаю ходимъ, только табакъ и тратимъ!

— Поневолѣ будешь скупымъ! — сказалъ Кутувія. — Ясаки вѣдь надо платить каждый годъ, а у насъ, кромѣ оленей, ничего нѣтъ! А много ли жители помогаютъ моему старику?..

— За то онъ староста! Изъ всѣхъ старостъ самый главный! Въ прошломъ году на ярмаркѣ выпивали, *ясачный начальникъ* говорилъ: ты коммисаръ, я коммисаръ, насъ только двое![81].

— Да, говорилъ! — не унимался Кутувія. — Ему хорошо говорить! Ясачный начальникъ одной рукой посылаетъ *Солнечному владыкѣ*[82] ясаки, а другой рукой отъ него получаетъ деньги, а моему старику ничего не платятъ! А въ позапрошломъ году на Анюйскій Божій Домъ онъ отдалъ пятнадцать разъ двадцать быковъ. Это вѣдь сколько?

— *Ко!*[83] — отвѣтилъ Каулькай, тряхнувъ головой. Его способности счисленія не простирались такъ далеко.

Кутувія быстро придвинулся къ товарищамъ и, протянувъ руки, собралъ ближайшія конечности, принадлежавшія имъ, и соединилъ ихъ вмѣстѣ, прибавивъ къ общей суммѣ и свои собственныя ноги.

— Сколько разъ нужно сдѣлать такую связку, — спросилъ онъ, обращая лицо къ Каулькаю, — чтобы получилось такъ много?.. — и выпустивъ руки и ноги пріятелей, онъ сложилъ вмѣстѣ свои собственныя ладони. — Вотъ сколько, — сказалъ онъ съ удареніемъ.

Каулькай посмотрѣлъ на него и выразилъ свое сочувствіе протяжнымъ: *Уаэ!*

Кутувія былъ, очевидно, очень силенъ въ счетѣ. Не даромъ былъ разговоръ, что Эйгелинъ хочетъ передать ему свое достоинство, помимо старшаго своего сына Тнана.

— Наше лучшее стадо до сихъ поръ не можетъ оправиться отъ потери! — сказалъ Кутувія. — Олени словно стали ниже, потерявъ своихъ старшихъ братьевъ!

— Тенантумгинъ захочетъ, прибавится вдвое! — сказалъ Каулькай ободряющимъ голосомъ. — Лишь бы «хромая» не привязалась къ стаду…

— Эуннэкай! вари чай! — крикнулъ онъ весело Кривоногому.

Кривоногій заморгалъ глазами. Они не видѣли чаю уже болѣе двухъ недѣль, съ тѣхъ поръ, какъ покинули большое лѣтовье Эйгелина. Однако, онъ не посмѣлъ ослушаться брата и, отвязавъ отъ своей котомки большой черный котелъ, спустился къ рѣкѣ. Кутувія, улыбаясь, проводилъ его глазами.

— Онъ и вправду! — сказалъ онъ. — Чего заваримъ? Чаю вѣдь нѣтъ!

— Я набралъ *полевою чаю!* — подмигнулъ Каулькай, показывая на небольшую связку молодыхъ побѣговъ шиповника, завернутыхъ въ его шейный платокъ.

— Заваримъ *это* и будетъ еще лучше, чѣмъ чай. Мнѣ надоѣло тянуть холодную воду прямо изъ рѣки, какъ олень! Попьемъ горячаго!

Кутувія утвердительно кивнулъ головой. Когда они уходили со стойбища, Эйгелинъ имъ сказалъ: — Развѣ вы старики? Вы

вѣдь молодые парни! — и не далъ имъ ни чайника, ни чаю. Старикъ относился подозрительно къ новому напитку, перенятому отъ русскихъ. — Когда я былъ молодъ, мы не знали, что такое чай! — ворчалъ онъ. — Хлебали супъ изъ моняла[84] и кровяную похлебку, по мѣсяцу не видѣли горячаго. А теперь молодой парень безъ чайника ни шагу!

Но Кутувія былъ иного мнѣнія и очень уважалъ не только чай, но и бѣлый блестящій сахаръ, который русскіе привозили такими большими круглыми кусками.

— А сахаръ принесъ? — весело сказалъ онъ Каулькаю.

— Бѣлый камень, хочешь, принесу! — отозвался Каулькай. — Не то ступай на русскую землю и возьми тамъ кусокъ съ сахарной скалы!

Чукчи были увѣрены, что въ русской землѣ есть бѣлыя скалы, откуда выламываютъ сладкій сахаръ.

— А что? — спросилъ несмѣло Эуннэкай, который успѣлъ возвратиться съ водой и прилаживалъ котелъ у костра на длинной палкѣ. — На сахарныхъ скалахъ мохъ ростетъ?..

— Видишь! — присвистнулъ Кутувія. — Оленолюбивое сердце! Мохъ вспомнилъ! Ну, ужъ если ростетъ мохъ, то должно быть тоже сладкій.

— А *сердитая вода?* — спросилъ Эуннэкай задумчиво. — Она что?

— Огонь! — сказалъ Кутувія также увѣренно. — Размѣшанъ въ рѣчной водѣ… Русскіе шаманы дѣлаютъ.

— Правда! — подтвердилъ Каулькай. — Зажги ее, такъ вся сгоритъ! Останется только простая вода! Я видалъ!

— Сила ея отъ огня! — продолжалъ Кутувія. — Она жжетъ сердце человѣка! Есть ли что сильнѣе огня?

— Мудры русскіе шаманы! — сказалъ Эуннэкай. — Воду съ огнемъ соединяютъ въ одно!

Воображеніе всѣхъ троихъ на минуту перенеслось къ чудесной странѣ, откуда привозятъ такія диковинныя вещи; котлы и ружья, черные кирпичи чаю и круглые сахарные камни, ткани, похожія по ширинѣ на кожу, но тонкія, какъ древесный листъ, и расцвѣченныя разными цвѣтами, какъ горные луга весною, и многое множество другихъ дивъ, происхожденіе которыхъ простодушные полярные дикари не могли примѣнить ни къ чему окружающему.

— Эйгелинъ говоритъ, — медленно сказалъ Эуннэкай, — что Солнечный Владыка живетъ въ большомъ домѣ, гдѣ стѣны и полъ сдѣланы изъ твердой воды, которая не таетъ и лѣтомъ — ну вродѣ, какъ *тен-койгинъ*[85]. А подъ поломъ настоящая вода, въ ной плаваютъ рыбы, а Солнечный Владыка смотритъ на нихъ. И

потолокъ такой же, и солнце весь день заглядываетъ туда сквозь потолокъ, но лицо Солнечнаго Владыки такъ блеститъ, что солнце затмѣвается и уходитъ прочь!.. Я посмотрѣлъ бы!..

— Ты посмотрѣлъ бы! — сказалъ Кутувія съ презрѣніемъ. — А *на тебя* посмотрѣли бы тоже, или нѣтъ? А что сказалъ бы Солнечный Владыка, когда увидѣлъ бы тебя? Какой грязный народъ живетъ тамъ, за большой рѣкой? А?

Каулькай радостно заржалъ, откинувъ голову назадъ. Мысль о встрѣчѣ Кривоногаго съ Солнечнымъ Владыкой казалась ому необычайно забавною.

— Безумный! — сказалъ онъ ему, успокоившись отъ смѣха. — Тоже захотѣлъ, на ту землю! Тамъ такъ жарко, что рыба въ озерахъ лѣтомъ сваривается и русскіе хлебаютъ уху ложками прямо изъ озера. Развѣ олени могли бы перенести такой жаръ? Охромѣли бы! Передохли бы! А что станется съ чукчей безъ оленьяго стада?

— Что станется съ чукчей безъ оленьяго стада? — повторилъ Кутувія, какъ эхо. — Смотри, Эуннэкай! Олени опрокинутъ твой котелъ!

Дѣйствительно олени такъ и лѣзли въ огонь, не обращая вниманія на близость человѣка, къ которому въ другое время они относятся недовѣрчиво. Вѣтеръ улегся такъ же внезапно, какъ и явился, и комариная сила мгновенно воспрянула отъ своего короткаго бездѣйствія. Комаровъ было такъ много, что казалось, будто они слетѣлись сюда со всего свѣта. Изъ края въ край надъ огромнымъ стадомъ мелькали черныя точки, словно подвижные узлы странной сѣти, наброшенной на міръ и ежеминутно измѣнявшей свой видъ. Большіе оводы появлялись тамъ и сямъ въ петляхъ этой сѣти, кидаясь изъ стороны въ сторону рѣзкими угловатыми движеніями, одно изъ которыхъ неминуемо заканчивалось на чьей нибудь злополучной спинѣ. Со стороны казалось, будто кто-то швыряетъ въ оленей мелкими камешками.

Оводы были еще страшнѣе комаровъ. Едва почувствовавъ прикосновеніе овода къ своей кожѣ, олень испуганно вздрагивалъ и начиналъ мотаться, становиться на дыбы, лягаться задними ногами, усиливаясь прогнать мучителя. Но оводъ сидѣлъ плотно на мѣстѣ, не нанося, впрочемъ, оленю никакого непосредственнаго вреда, но тщательно приклеивая къ волосамъ оленьей шерсти множество мелкихъ яичекъ, изъ которыхъ должны были черезъ два, три дня вылупиться маленькіе бѣлые червячки, глубоко пробивающіе оленью кожу, чтобы сдѣлать себѣ гнѣздо въ живомъ мясѣ. Кромѣ крупныхъ оводовъ были другіе — мелкіе, съ цвѣтнымъ полосатымъ брюхомъ и короткими прозрачными крыльями. Движенія ихъ были гораздо проворнѣе.

Они не старались усѣсться на оленью спину, а, подлетая къ носу животнаго, брызгали ему въ ноздри тонкой струей жидкости, заключавшей въ себѣ множество мелкихъ, но чрезвычайно вертлявыхъ червячковъ, не больше самой мелкой булавочной головки. Почувствовавъ у себя въ носу предательскую струю, олени принимались отчаянно чихать и тереться носомъ объ землю, что, конечно, нисколько не помогало имъ освободиться отъ червячковъ, которые поспѣшно пробирались въ самое горло, чтобъ тамъ замуроваться въ хрящъ.

Олени упрямо лѣзли въ костеръ, отгоняя другъ друга отъ неширокой струи дыма, дававшей защиту отъ насѣкомыхъ, и опрокинули таки котелъ Эуннэкая. Къ счастью, онъ успѣлъ его во время подхватить, и только небольшая часть воды вылилась на землю.

— Бѣдные олени! — сказалъ Каулькай, недоброжелательно поглядывая на тучи насѣкомыхъ, носившихся надъ стадомъ. Пастухи сидѣли въ самомъ дыму и мало страдали отъ комаровъ и оводовъ.

— И зачѣмъ это Тенантумгинъ сотворилъ такую нечисть?

— Вовсе не Тенантумгинъ! — возразилъ Кривоногій съ живостью, которой совсѣмъ нельзя было ожидать отъ него. — Станетъ родоначальникъ созидать такое? Комаровъ создалъ Кэля. Я слышалъ, еще бабушка разсказывала: когда Тенантумгинъ дѣлалъ весь свѣтъ, онъ сдѣлалъ сперва землю, потомъ оленя съ человѣчьей головой, потомъ волковъ и песцовъ, которые говорили по-человѣчьему. Потомъ онъ взялъ горсть земли, потеръ между ладонями, и вылетѣли всѣ съ крыльями, гуси, лебеди, куропатки. А Кэля набралъ оленьяго помета, тоже потеръ между ладонями, и вылетѣли комары, оводы и слѣпни и стали жалить оленей.

— Смотри-ка, Кутувія! — перебилъ Каулькай. — Вотъ этотъ пыжикъ, кажется, захромалъ. Дай-ка, я его поймаю?

И онъ осторожно сталъ подбираться къ маленькому черному теленку, слегка прихрамывавшему на лѣвую переднюю ногу, и, быстро вытянувъ руку, схватилъ его сзади. Теленокъ сталъ вырываться. Мать съ тревожнымъ хрюканьемъ бѣгала около пастуховъ.

— Постой, дурачокъ! — ласково проговорилъ Каулькай. — Посмотримъ только и отпустимъ!

И, затиснувъ теленка между своими могучими колѣнями, онъ вздернулъ кверху больную ногу и принялся разсматривать пораженное копыто.

— Не видно! — сказалъ онъ и, вынувъ ножъ, спокойно срѣзалъ внутренній краешекъ мягкаго копытца, похожаго скорѣе на хрящъ.

— А ну, посмотримъ! — сказалъ онъ и изо всей силы нажалъ пальцами вокругъ порѣза.

Изъ сѣроватаго хряща показалась капля крови, потомъ капля свѣтлаго гною, потомъ опять кровь, выдавившаяся цѣпью мелкихъ рубиновыхъ капелекъ. Теленокъ, убѣжденный, что пришелъ его послѣдній часъ, судорожно дрожалъ и закатывалъ глаза. Даже сопротивленіе его ослабѣло отъ ужаса.

— Пустяки, пройдетъ! — сказалъ Каулькай и уже готовъ былъ отпустить пыжика.

— Однако, не пройдетъ! — покачалъ головой Кутувія, заглядывая ему прямо въ глаза.

— Конечно, не пройдетъ! — согласился тотчасъ же и Каулькай. — Хромая какъ привяжется…

— Не — отстанетъ! — докончилъ Кутувія.

— Высохнетъ!..

— Издохнетъ!..

— Понапрасну пропадетъ!..

— Что жъ?.. — закончилъ Каулькай и вынувъ изъ-за пояса ножъ, увѣренной рукой вонзилъ его въ сердце бѣдному пыжику.

Пыжикъ судорожно брыкнулъ ножками. Глаза его еще больше закатились, потомъ повернулись обратно, потомъ остановились.

— Вай, вай! Эуннэкай! — сказалъ Каулькай, бросая на землю убитаго теленка.

Кривоногій обыкновенно исполнялъ всѣ женскія работы.

Черезъ полчаса пиршество было въ полномъ разгарѣ. Хотя олень былъ маленькій, но Эуннэкай приготовилъ всѣ его части по разъ навсегда заведенному порядку, и всѣ блюда чукотской кухни было на-лицо, смѣняя другъ друга. Мозгъ и глаза, сырыя почки и сырая печень, легкое, немного вывалянное въ горячей золѣ, и только испачкавшееся отъ этого процесса, снаружи черное, внутри кровавое, кожа, содранная съ маленькихъ рожковъ пыжика и опаленная на огнѣ. Въ котелъ съ горячей водой Эуннэкай положилъ цѣлуй груду мяса и повѣсилъ его надъ костромъ, прибавивъ двѣ или три охапки жесткаго тальничку, который онъ нарвалъ тутъ-же у огнища и бросилъ въ огонь вмѣстѣ съ полузасохшими желтозелеными листьями.

— Это получше твоего чаю! — сказалъ Кутувія, поглаживая себя по брюху.

Каулькай откинулъ голову назадъ, намѣреваясь загоготать по-прежнему, но не могъ, ибо ротъ его былъ набитъ до невозможности. Онъ только что испекъ на угольяхъ тонкія полоски мяса и теперь занимался ихъ уничтоженіемъ. Онъ чуть не поперхнулся и затопалъ ногами по землѣ. Эуннэкай тоже набилъ себѣ ротъ до такой степени, что почти не могъ глотать. Пастухи

торопливо ѣли, какъ будто взапуски, дѣйствуя съ одинаковой энергіей и зубами, и руками, и длинными ножами, составлявшими какъ бы продолженіе рукъ, нѣчто въ родѣ длиннаго желѣзнаго ногтя, которымъ можно было съ такимъ удобствомъ выковыривать остатки мяса изъ всевозможныхъ костныхъ закоулковъ. Кости, окончательно очищенныя, доставались на долю желтаго Утэля, который разгрызалъ ихъ безъ труда и поглощалъ до тла, не оставляя ни крошки. Онъ тоже былъ голоденъ, а косточки пыжика такъ мягки.

Половины пыжика какъ не бывало.

— А шкуру пусть Эйгелинъ отдастъ Михину! — насмѣшливо сказалъ Кутувія. — Ему вѣдь, все равно, долги платить! — и онъ заботливо растянулъ шкурку на землѣ, придави въ ее каменьями.

Удовлетворивъ голодъ, пастухи поднялись съ мѣста и пошли осматривать стадо, какъ бы стараясь возмѣстить усиленнымъ проявленіемъ заботливости свое не совсѣмъ честное поведеніе относительно пыжика.

Они переходили отъ группы къ группѣ, внимательно осматривая каждое животное и стараясь по его внѣшнему виду и въ особенности по походкѣ опредѣлить, не начинается ли у него копытница. Маленькихъ телятъ и пыжиковъ Каулькай чрезвычайно ловко, какъ бы невзначай, хваталъ за ноги и передавалъ ихъ Кутувіи, который выкусывалъ у нихъ на ухѣ зубами, то *пятно* своего отца, то свое собственное. Три или четыре раза онъ сказалъ Каулькаю: «Ты самъ!» И тотъ, бросая на него благодарный взглядъ, мѣтилъ оленье ухо собственнымъ пятномъ. Даръ этотъ означалъ, что Эйголинъ и его дѣти высоко цѣнятъ труды Каулькая. Только усердному работнику собственники дарятъ на счастье нѣсколько телятъ. Маленькій теленокъ съ длинными, смѣшно разставленными ушами, похожими на ослиныя, набѣжалъ прямо на Каулькая и даже толкнулся носомъ въ его колѣни, принимая его, повидимому, за матку.

— Дуракъ! — ласково сказалъ Каулькай, поднимая его на руки. То былъ теленокъ отъ его собственной важенки.

— Эуннэкай! — сказалъ молодой пастухъ, обращаясь къ Кривоногому. — Вотъ выкуси свою мѣтку! Пусть у тебя прибавится олень!

Кривоногій съ важнымъ видомъ произвелъ требуемую операцію, потомъ выпустилъ пыжика. Почувствовавъ себя на свободѣ, пыжикъ убѣжалъ со всѣхъ ногъ съ громкимъ хрюканіемъ, какъ будто жалуясь на боль, причиненную ему въ отплату за довѣрчивость.

— Красиво! — сказалъ Каулькай, любуясь на живописныя

группы животныхъ. — Хорошо вылиняли!

— Всѣ черны! — подтвердилъ Кутувія, обводя глазами стадо. — Скоро станутъ жирѣть! Осмотрѣвъ стадо, пастухи погнали его на наледь, гдѣ комары нападали не такъ сильно. Отъ наледи тянула холодная струя, пагубно вліявшая на насѣкомыхъ. Мелкія лужицы воды, блестѣвшія стальнымъ блескомъ на синеватомъ зернистомъ льду, нѣсколько похожемъ на фирнъ ледника, были наполнены трупами комаровъ и оводовъ, какъ наглядным доказательствомъ своего укрощающаго вліянія на бичъ полярнаго лѣта. Олени съ удовольствіемъ выбѣжали на широкую бѣлую площадь и стали кружить взадъ и впередъ по наледи. Они не хотѣли ѣсть, и имъ было пріятно погружать копыта въ прохладныя лужи или топать ими по гладкому льду, отвѣчавшему имъ рѣзкимъ отзвукомъ. Здѣсь имъ было прохладно, а на сухихъ горныхъ моховищахъ они задыхались отъ зноя и насѣкомыхъ. Глядя вокругъ себя, они даже получали иллюзію зимы, составляющей для нихъ самое желанное время года.

Эуннэкай примостился у своей котомки и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

* * *

Лѣто выдалось знойное и лишенное дождей. Вода въ горныхъ рѣчкахъ и ручьяхъ давно сбѣжала внизъ, только Муруланъ, питаемый наледью, не уменьшился. Льдистые островки, во множествѣ разсѣянные вокругъ большой наледи, сперва растаяли, потомъ тоже высохли. Большая наледь таяла съ каждымъ днемъ. Лѣто объѣло ее со всѣхъ сторонъ, обточило кругомъ, какъ кусочекъ сахару, и теперь собиралось повести нападеніе противъ самого центра. Множество мелкихъ ручейковъ, выбѣгавшихъ изъ подъ льда и шумно скатывавшихся внизъ, образуя быструю горную рѣчку, свидѣтельствовали о томъ, что нападеніе въ сущности давно началось и что большая наледь уменьшается снизу и сверху.

Пониже къ сѣверу, тамъ, гдѣ мелкія рѣчки, сбѣгавшія по горнымъ долинамъ, сливались въ одну широкую и быструю рѣку, окаймленную густыми лиственничными лѣсами, было еще хуже. Дымъ отъ лѣсныхъ пожаровъ тянулся густыми непрерывающимися тучами на верховья рѣкъ и къ вершинамъ горныхъ хребтовъ. Знойный вѣтеръ, прилетавшій оттуда, приносилъ съ собою запахъ горящаго дерну и сизый туманъ, въ которомъ не было ни капли влаги и который стѣснялъ дыханіе и ѣлъ глаза. Комары и оводы точно рождались изъ этого знойнаго

тумана и по своей численности стали напоминать одну изъ десяти казней, низведенныхъ Моисеемъ на Египетъ.

Олени совсѣмъ взбѣсились отъ зноя, то и дѣло убѣгали съ пастбища и мчались, куда глаза глядятъ, на поиски прохлады и облегченія. То убѣгало все стадо въ полномъ своемъ составѣ, то небольшіе *отрывки* и даже отдѣльныя единицы. Многіе пропадали безслѣдно, и пастухи ни за что не могли отыскать ихъ. «Хромая» водворилась въ стадѣ и со дня на день усиливалась, производя большія опустошенія и угрожая погубить всѣхъ телятъ и двухлѣтковъ. Пастухамъ приходилось круто. Имъ нужно было то бѣжать въ догонку за стадомъ, то отыскивать отбившихся въ сторону, слѣдить за хромыми, которые имѣли наклонность прятаться въ самыхъ густыхъ зарослякъ тальника, чтобы ожидать тамъ гибели, не поднимаясь съ мѣста.

Недавній голодъ смѣнился обиліемъ, но оно не радовало пастуховъ. Оно покупалось безплодной гибелью множества животныхъ, туши которыхъ приходилось покидать на произволъ судьбы, ибо на плечи Эуннэкая нельзя было нагрузить всѣхъ издыхающихъ оленей.

Въ непрерывной вознѣ съ оленями Каулькай и Кутувія забыли, что такое сонъ. Отъ суеты и напряженія они сами стали терять разсудокъ, какъ ихъ олени, и иногда имъ положительно трудно было провести границу между природой оленьей и своей собственной. По временамъ имъ казалось, что зной, мучительный для оленей, нестерпимъ и для нихъ самихъ, и что вмѣстѣ съ оленьими ногами готовы заболѣть копытницей и ихъ собственныя, измученныя безостановочной бѣготней по камнямъ.

А между тѣмъ зной, собственно говоря, былъ довольно умѣреннаго характера. Правда, въ полдень солнце дѣйствительно жгло камни своими отвѣсными лучами, но къ вечеру жаръ быстро уменьшался и, когда солнце скрывалось за верхушки скалъ, температура быстро падала, а къ утру лужи на наледи затягивались тонкимъ ледкомъ. Но пастухи, одѣтые въ мѣховую одежду и привыкшіе считать лѣто случайнымъ промежуткомъ почти не прерывающейся холодной зимы, даже такую степень зноя называли неслыханной и небывалой. — «Богъ прогнѣвался на эту землю! — говорили они — и хочетъ умертвить насъ вмѣстѣ съ нашими стадами!»

На наледь, прежде отпугивавшую комаровъ, своимъ холоднымъ дыханіемъ, они прилетали теперь въ большомъ количествѣ, въ погонѣ за убѣгавшими жертвами. Было что-то противорѣчивое въ этихъ тучахъ насѣкомыхъ, ожесточенно нападавшихъ на бѣдное стадо среди бѣлой ледяной площади, покрытой замерзшими лужами и окруженной побѣлѣвшими отъ

инея пастбищами. Какъ будто характерные признаки лѣта и зимы сталкивались и существовали рядомъ, не желая уступить другъ другу мѣсто.

Холодный вечеръ наступалъ послѣ одного изъ особенно безпокойныхъ дней. Солнце такъ низко опустилось на острую верхушку круглой сопки, вырѣзывавшуюся на западѣ въ просвѣтѣ горныхъ цѣпей, что можно было опасаться, чтобы оно не зацѣпилось за одинокое сухое дерево, Богъ вѣсть какимъ образомъ забравшееся туда и походившее издали на жесткій волосъ, вставшій дыбомъ на окаменѣвшей щекѣ. На вершинахъ поближе уже начиналъ куриться черный туманъ, похожій на дымъ отъ неразгоравшагося костра. Стадо безпокойно ходило по пастбищу, отбиваясь отъ насѣкомыхъ и неутомимо порываясь убѣжать на сосѣднія скалы. Кутувія бѣгалъ взадъ и впередъ, заставляя возвращаться наиболѣе упрямыхъ оленей. «Го-го-гокъ! гокъ! гокъ!» — слышались его рѣзкіе крики, гулко отражаемые далекимъ горнымъ эхомъ. Каулькай растянулся на землѣ, положивъ камень подъ голову, и спалъ мертвымъ сномъ. Среди этихъ дикихъ камней его неподвижная фигура тоже казалась каменной. Кажется, землетрясеніе не могло бы разбудить его. Они чередовались съ Кутувіей, для того, чтобы отдохнуть часъ, другой. Дольше этого управляться со стадомъ было не подъ силу одному человѣку. Эуннэкай сидѣлъ на шкурѣ, подогнувши ноги, и чинилъ обувь брата, изорванную ходьбою по острымъ камнямъ, ожесточенно дѣйствуя огромной трехгранной иглой, въ ухо которой могъ бы пройти даже евангельскій верблюдъ, и грубой ниткой, ссученной изъ сухожилій. Окончивъ работу, онъ тоже растянулся на землѣ, опираясь головой на свою неизмѣнную котомку.

— Эуннэкай! — окликнулъ его знакомый голосъ, и онъ почувствовалъ въ своемъ боку изрядный толчокъ жесткаго носка изъ моржевой кожи, крѣпкаго, какъ дерево.

Эуннэкай поднялъ голову и посмотрѣлъ вверхъ заспанными глазами. Надъ нимъ стоялъ Кутувія, опять подогнавшій оленей къ самому мѣсту ночлега.

— Полно тебѣ спать! — сказалъ Кутувія. — Ты, какъ Лѣнивый малютка, и днемъ спишь, и ночью спишь! Скоро на твоихъ бокахъ сдѣлаются язвы отъ лежанія!

— Эгей! — сказалъ Эуннэкай, готовый снова опустить голову на изголовье. Онъ чувствовалъ себя хуже обыкновеннаго.

Но Кутувія угостилъ его вторымъ толчкомъ, еще крѣпче перваго.

— Встань! встань! — кричалъ онъ повелительно. — Зачѣмъ я одинъ долженъ держать открытыми глаза, когда вы съ братомъ

валяетесь на землѣ, какъ сурокъ около медвѣдя! — И, довольный своимъ остроуміемъ, сынъ Эйгелина отрывисто разсмѣялся.

— Эгей! — покорно повторилъ Эуннэкай и сѣлъ на оленьей шкурѣ, служившей ему постелью. Кутувія поддернулъ ногой другую шкуру, лежавшую поодаль, и тяжело опустился на нее.

— Худо, тяжело! — сказалъ онъ болѣе спокойно. — Кости моихъ ногъ опустѣли! Весь мозгъ высохъ! Цѣлый день я ни разу не садился съ этими оленями! Они не хотятъ стоять на мѣстѣ хоть бы минуту!

Эуннэкай посмотрѣлъ на стадо. Всѣ олени спокойно лежали на ровной площади пастбища. Нигдѣ не было видно ни одного комара.

— Не теперь, прежде! — сказалъ Кутувія, замѣтивъ его взглядъ. — Теперь хорошо! Тенантумгинъ пожалѣлъ таки насъ и послалъ большой холодъ. Комары валяются на землѣ, какъ сухая хвоя. Они не въ силахъ прокусить гнилой кожи налима. Теперь олени немного отдохнутъ!

Тѣло Кутувіи понемногу приняло горизонтальное положеніе. Глаза его стали слипаться.

— Если побѣгутъ, разбуди Каулькая! — черезъ силу выговорилъ онъ и смолкъ, какъ пораженный громомъ.

Эуннэкай поджалъ свои кривыя ноги и усѣлся поплотнѣе, посматривая на оленей глазами, еще не освободившимися отъ сна. Они тоже устали не менѣе пастуховъ и, пользуясь промежуткомъ благословеннаго холода, спали такимъ же крѣпкимъ сномъ, склонивъ головы на вытянутыя переднія ноги. Нѣкоторые телята лежали на боку, протянувъ въ разныя стороны свои тонкія ножки и напоминая трупы, брошенные на землю. Желтый Утэль усталъ больше всѣхъ. Ему приходилось весь день бѣгать за табуномъ на трехъ ногахъ: четвертая была заткнута за веревочный ошейникъ для обузданія его хищныхъ инстинктовъ по отношенію къ телятамъ и хромымъ пыжикамъ. Въ настоящую минуту онъ лежалъ на обычномъ мѣстѣ своихъ отдыховъ, свернувшись въ клубокъ и прижавшись спиной къ ногамъ Каулькая, котораго онъ считалъ своимъ хозяиномъ, хотя, собственно говоря, принадлежалъ Кутувіи.

Эуннэкай чувствовалъ себя очень плохо. Грудь его мучительно ныла. Ему казалось, будто кто-то сдавливаетъ ее съ боковъ. Отъ этого давленія боль ударяла въ спину и колола гдѣ-то сзади. Даже дышать ему было трудно и каждый вздохъ выходилъ съ хрипомъ изъ его открытаго рта. Онъ сидѣлъ скорчившись, протянувъ впередъ голову, опираясь основаніемъ спины объ свою котомку, и смотрѣлъ прямо передъ собой.

— Отчего я такой плохой? — думалъ онъ, — а Каулькай

крѣпокъ, какъ большая лиственница у подошвы скалы. И Кутувія крѣпокъ, какъ камень, обросшій мхомъ! Только я плохой, слабый!.. Затѣмъ Тенантумгинъ создалъ меня такимъ худымъ? Хоть бы немножко иначе! Чтобъ грудь не болѣла и нога ходила прямо, какъ у людей!..

Эуннэкай вспомнилъ, что Кутувія назвалъ его лѣнивымъ Малюткой; но вѣдь Малютка не весь вѣкъ лежалъ на боку. Потомъ богъ сжалился и сдѣлалъ его настоящимъ человѣкомъ. А можетъ и надъ нимъ сжалится… Вдругъ прилетитъ ворономъ, ударится объ землю, станетъ человѣкомъ и скажетъ: «Вставай, Эуннэкай! Полно тебѣ лежать на одномъ мѣстѣ, какъ охромѣлый пыжикъ! Ходи и ты, какъ человѣкъ!» И поправитъ его больную грудь и кривую ногу, и дастъ ему высокій станъ и пригожее лицо, красивую одежду изъ бѣлыхъ шкуръ, стадо пестрыхъ оленей, санки въ колокольчикахъ…

Эуннэкай поднялъ голову вверхъ и, видя ворона, пролетавшаго мимо, на минуту подумалъ, не Тенантумгинъ ли это. Но воронъ пролетѣлъ дальше, даже не посмотрѣвъ на Эуннэкая.

Эуннэкай снова посмотрѣлъ передъ собой долгимъ взглядомъ. Рядъ круглыхъ сопокъ предъ его глазами курился густымъ чернымъ туманомъ, который свивался въ огромные клубы и медленно ползъ внизъ, наполняя долину. «Словно костры!» — думалъ Эуннэкай. Но этотъ дымъ такой холодный и мокрый. Отъ него грудь Эуннэкая всегда болитъ сильнѣе, и глаза отъ него слипаются… слипаются… слипаются…

Дальше Эуннэкай уже не думалъ. Сонъ, его истинный властитель, пришелъ такъ же внезапно, какъ всегда, и завладѣлъ его существомъ.

Сверхъ обыкновенія, Эуннэкаю приснился сонъ. Ему снилось, что Тенантумгинъ услышалъ его жалобы, но отнесся къ нимъ совершенно иначе, чѣмъ онъ имѣлъ право надѣяться. Божественный Воронъ, тотъ самый, который когда-то училъ своей каркающей рѣчи поколѣнія людей, лишенныхъ слова, — съ раскрытымъ клювомъ, широко простертыми крыльями и заостренными когтями, прилетѣлъ и прокричалъ у него надъ ухомъ.

— «Тебѣ не нравится больная грудь и кривая нога? Ты, негодникъ!.. Ругаешь шатеръ, въ которомъ живешь! Не надо ничего! выходи вонъ!» Эуннэкай почувствовалъ, какъ всѣ шесть увыритовъ, составляющихъ его душу, покинули бренную земную оболочку и, дѣйствительно, вышли всѣ. Пять увыритовъ улетѣли въ разныя стороны, какъ испуганныя птицы, но одинъ остался. То онъ, онъ самъ, Эуннэкай. Онъ сталъ совсѣмъ крошечнымъ («какъ

ножовый черенъ», — мелькнуло у него въ головѣ) и ощущалъ необычайную легкость.

Но Тенантумгинъ не далъ ему даже осмотрѣться въ этомъ новомъ состояніи, схватилъ его когтями и понесъ вверхъ. Они летѣли быстрѣе дикихъ гусей, перенесшихъ героя сказки Айваналина черезъ широкое море, легче пушинки, восходящей вверхъ на крыльяхъ отвѣснаго вихря, бѣгущаго со скалы на скалу. Эуннэкай въ ужасѣ закрылъ глаза и старался не слушать даже быстраго трепетанія крыльевъ, направлявшихъ кверху безостановочный полетъ.

Когда онъ открылъ глаза, они уже были подъ самымъ небомъ. Мимо нихъ мелькали разные жители небесныхъ пространствъ;, на которыхъ Эуннэкай столько разъ смотрѣлъ бывало снизу въ ясныя зимнія ночи, дивуясь тому, что они вѣчно ходятъ тамъ, въ вышинѣ, и ни одному изъ нихъ не придетъ въ голову хоть на минуту спуститься на землю. *Шесть пращниковъ* (6 звѣздъ Большой Медвѣдицы) вели ожесточенный бой, осыпая другъ друга градомъ камней, а рядомъ съ ними *Бурая лисица* усердно грызла оленій рогъ, даже не поднимая головы, чтобы взглянуть на битву (7-ая звѣзда Большой Медвѣдицы). *Стрѣлокъ* (Оріонъ) напрягалъ лукъ, а *Толпа женщинъ* загородились сѣтями, чтобы защититься отъ его губительныхъ стрѣлъ (Плеяды). Широкій *Песчаный потокъ* лежалъ поперекъ всего неба (млечный путь). Множество мелкихъ и крупныхъ оленей тихо бродили по его островамъ. Дальше *Большеголовые братья* Ѣхали на своихъ высокихъ пряговыхъ быкахъ (Вега и Арктуръ). *Дѣвичья толпа* ожидала прихода жениховъ, *Охотники за Лосями* проворно скользили на лыжахъ. Много было другихъ, именъ которыхъ не зналъ Эуннэкай.

Только *Воткнутый Колъ*, тотъ, который вѣчно пребываетъ на мѣстѣ (Полярная Звѣзда), сверкалъ надъ головой въ недосягаемой вышинѣ.

Достигнувъ неба, воронъ мигомъ отыскалъ въ немъ дыру, прямо подъ ногами Воткнутаго и, юркнувъ въ нее, продолжалъ подниматься выше. Эуннэкай увидѣлъ въ вышинѣ другое небо, очи котораго были отличны отъ земныхъ созвѣздій, издавна знакомыхъ ему. Только Воткнутый, который вѣчно пребываетъ въ покоѣ, сверкалъ такъ же высоко надъ головой. Онъ посмотрѣлъ внизъ. Прямо подъ нимъ разстилалась черная равнина, убѣгавшая съ каждой минутой въ неизмѣримую бездну, но еще близкая, на которой его острый взглядъ, несмотря на темноту, различалъ смутныя очертанія горъ и широкія пятна лѣсовъ, прорѣзанныхъ свѣтлыми полосками бѣгущихъ водъ. Безъ сомнѣнія, то была вторая земля, составляющая, какъ извѣстно, изнанку перваго

неба, находящагося надъ головой людей. Воронъ продолжалъ подниматься вверхъ, прямо къ подножію Воткнутаго. «Въ свой домъ летитъ!» — подумалъ Эуннэкай, и на мгновеніе ему представился высокій утесъ изъ встающаго льда, сверкающій, какъ солнце, въ которомъ выдолблено жилище Тенантумгина, а рядомъ воткнутъ остроконечный колъ, украшенный звѣздой. Между тѣмъ воронъ уже достигъ второго неба и безъ труда отыскавъ въ немъ такую же дыру и на томъ же мѣстѣ, нырнулъ въ нее и одновременно миновалъ второе небо и третью землю, составляющую его изнанку, продолжая свое восхожденіе. Когда всѣ шесть небесъ, висящихъ одно надъ другимъ, были оставлены внизу, Эуннэкаю пришлось претерпѣть жестокое разочарованіе. Пролетѣвъ всѣ небеса, воронъ, вмѣсто Воткнутаго, повернулъ въ сторону и, замедливъ полетъ, тихо поплылъ надъ какой-то мрачной страной, ровной и пустынной, какъ ледяная грудь моря, и густо занесенной сугробами чернаго снѣга, опускаясь все ниже и ниже. Мѣстами изъ снѣга торчали какіе-то короткіе сучья. Но, всматриваясь поближе, Эуннэкай различалъ, что это человѣческія кости, погребенныя подъ снѣгомъ въ самыхъ различныхъ положеніяхъ. Они летѣли такъ низко, что чуть не задѣвали за эти кости; костлявыя руки протягивали къ нимъ свои непомѣрно длинные пальцы, похожіе на когти. Если бы воронъ выронилъ Эуннэкая и предоставилъ ему упасть внизъ, онѣ выражали готовность тотчасъ же подхватить его маленькое существо, какъ раненаго птенца куропатки, и сдѣлать его собственной добычей. Пустые глаза череповъ смотрѣли на Эуннэкая своимъ таинственнымъ взоромъ, скрытымъ въ глубинѣ внутренней темноты. Беззубые рты разѣвались широко навстрѣчу, подстерегая малѣйшую оплошность ворона, чтобы подхватить и проглотить Эуннэкая.

— Хорошо, что я такой маленькій! — подумалъ онъ. — Былъ бы попрежнему, кто-нибудь непремѣнно поймалъ бы за ногу!

Онъ поднялъ вверхъ голову, чтобы не видѣть ужасныхъ костей, и чуть не крикнулъ Тенантумгину, чтобы тотъ держалъ его крѣпче. Но вдругъ онъ замѣтилъ, что то былъ совсѣмъ не Тенантумгинъ. Воронъ превратился въ безобразное чудовище со странными крыльями, какъ будто тонкая нерпичья шкура была широко натянута на основу изъ китоваго уса. У чудовища были четыре лапы, похожія на нерпичьи ласты. Переднія, которыми оно держало Эуннэкая, всецѣло состояли изъ длинныхъ желѣзныхъ когтей, изогнутыхъ, какъ «черуна», и выходившихъ изъ самой груди. Заднія были вытянуты вмѣстѣ и поворачивались изъ стороны въ сторону, замѣняя отсутствующій хвостъ. Эуннэкай узналъ лицо, блѣдное, какъ у мертвеца, незрячіе глаза, широкій

ротъ съ двумя длинными клыками, торчавшими, какъ у моржа.

Это Кэля! — подумалъ онъ въ ужасѣ. — Поглотитель душъ! Принесетъ въ логовище и съѣстъ!..

Эуннэкай хотѣлъ закричать отъ ужаса, но голосъ остановился у него въ горлѣ. Кэля подлетѣлъ къ высокому черному шатру, стоявшему среди пустыни, и проникъ въ него, увлекая съ собой свою маленькую жертву. «Конецъ», — подумалъ Эуннэкай и опять закрылъ глаза.

Но Кэля, должно быть, еще не былъ голоденъ. Вмѣсто того, чтобы тотчасъ же растерзать Эуннэкая, онъ ограничился тѣмъ, что внесъ его въ пологъ, стоявшій у задней стѣны шатра. Сильный свѣтъ внезапно проникъ сквозь закрытыя вѣки Эуннэкая, и онъ невольно открылъ глаза. Въ пологѣ было свѣтло, какъ днемъ. Стѣны его были сдѣланы изъ гладкаго желѣза и блестѣли какъ лезвія топоровъ, привозимыхъ *морскими бородачами* на высокихъ огненныхъ судахъ. Не видно было ни входа, ни выхода. Кэля проникъ неизвѣстно откуда, и отверстіе, пропустившее его, тотчасъ-же закрылось. У задней стѣны полога горѣла большая лейка. Свѣтлое пламя бѣлаго костнаго жира поднималось яркими языками на краю широкой желѣзной сковороды, наклоненной на одинъ бокъ, для того, чтобы растопленный жиръ лучше стекалъ къ свѣтильнѣ. Кэля положилъ Эуннэкая на противоположный край, свободный отъ бѣлыхъ пластовъ жира, и усѣлся въ углу полога, повидимому намѣреваясь отдохнуть отъ утомительнаго путешествія. Эуннэкай то же чувствовалъ смертельную усталость и лежалъ безъ движенія на сковородѣ. Какое-то крошечное существо, которое онъ сначала принялъ за деревянную заправку лейки, поднялось съ противоположнаго края сковороды, гдѣ оно сидѣло на желѣзной выемкѣ, у самого пламени, и, подойдя къ Эуннэкаю толкнуло его маленькой ножкой, не больше деревянной спички. Впрочемъ Эуннэкай и самъ былъ не больше этого маленькаго человѣчка. Эуннэкай присмотрѣлся къ подошедшему. Маленькое тѣльце его, обтянутое коричневой кожей, сморщившейся въ крошечныя складки, имѣло чрезвычайно странный видъ. Оно было засушено до самой послѣдней степени, напоминая осколокъ ламутской горчи (сушеное мясо), провисѣвшей подъ солнцемъ и вѣтромъ цѣлое лѣто. На немъ повсюду виднѣлись глубокіе изъяны, даже просто дыры, сквозь которыя можно было видѣть переливы свѣтлаго пламени, часть котораго онъ заслонялъ своей спиной. Уцѣлѣвшія части напоминали высушенную пленку, и были такъ тонки, что также свѣтились насквозь, пропуская яркіе лучи. На головѣ его не было ни одного волоса, маленькое личико съежилось, какъ зерно кедроваго орѣха, обожженное огнемъ. Эуннэкай въ первый разъ

видѣлъ такое странное существо. Тѣмъ не менѣе ему показалось что-то знакомое въ этой жалкой, скрюченной фигуркѣ.

— Пришелъ? — сказалъ человѣчекъ, толкая его ногой.

Эуннэкай не отвѣчалъ ни слова.

— Эуннэкай, пришелъ? — повторилъ человѣчекъ такимъ страннымъ голосомъ, что Эуннэкай отъ удивленія широко открылъ глаза. Онъ узналъ голосъ Рэу, своего брата, котораго много лѣтъ тому назадъ унесъ Великій Моръ.

— Ты что здѣсь дѣлаешь, Рэу? — хотѣлъ крикнуть онъ, но Рэу предупредилъ его.

— Не кричи! — выразительно шепнулъ онъ, предостерегающимъ взглядомъ указывая на Кэля, крѣпко заснувшаго въ углу. — Кэля унесъ меня, чтобы я заправлялъ свѣтильню въ его лампѣ. Уже десять лѣтъ я хожу взадъ и впередъ сквозь горячее пламя! Видишь: на моей головѣ не осталось ни одного волоса, всѣ обгорѣли отъ жара, кожа моя сморщилась, какъ обожженная перчатка, тѣло прогорѣло до дыръ и не можетъ заслонить пролетающей искры. Даже тѣнь моя сгорѣла въ огнѣ! Какъ можетъ человѣкъ жить безъ тѣни?.. А теперь онъ взялъ и тебя! Берегись жить вблизи огня, Эуннэкай! Тѣло твое прогоритъ насквозь! Лицо почернѣетъ, какъ котелъ, простоявшій у костра 20 зимъ, зубы во рту станутъ, какъ обгорѣлые угли!..

Эуннэкай не отвѣчалъ ни слова.

— Ты спишь, Эуннэкай?.. — человѣчекъ опять толкнулъ его ногой.

— Проснись, проснись!.. Есть средство убѣжать отсюда! Пробить дверь въ желѣзномъ пологу!.. Скажи, Эуннэкай: что ты ѣлъ въ своей жизни на землѣ?

Эуннэкай подумалъ, подумалъ и отвѣтилъ:

— Оленину!

— А ѣлъ ли ты тюленье мясо? ѣлъ ли ты моржовую кожу? ѣлъ ли ты китовый жиръ?..

Эуннэкай опять не отвѣтилъ. Онъ боялся сказать: нѣтъ!

— Кто ѣстъ разное на землѣ, тотъ копитъ большую силу. Онъ можетъ бороться съ Кэля! Скажи, Эуннэкай: ѣлъ ли ты тюленье мясо? ѣлъ ли ты моржовую кожу? ѣлъ ли ты китовый жиръ?..

Но при одной мысли о борьбѣ съ Кэля, Эуннэкай вздрогнулъ и зажмурился. Онъ опять не отвѣтилъ на роковой вопросъ.

— Ты, негодяй! — раздался громовой голосъ надъ его головой. Ужасный толчокъ ногою въ грудь разбудилъ Эуннэкая. Кутувія стоялъ надъ нимъ съ лицомъ, искаженнымъ отъ ярости.

— Проклятый! Гдѣ олени?

Эуннэкай вскочилъ, трясясь всѣмъ тѣломъ, и схватился за грудь. На яву, какъ и во снѣ, онъ не могъ выговорить ни слова. Ни

одного оленя не было видно на площадкѣ. Она была такъ тиха и пустынна, какъ будто на ней отъ сотворенія міра не показывалось ни одно живое существо.

— Собака! — сказалъ Кутувія, нанося ему второй ударъ. — Каулькай! Каулькай! Вставай! Твой братъ отпустилъ стадо!

Но Каулькай, спавшій такимъ непробуднымъ сномъ, пробудился еще раньше окрика. Однимъ прыжкомъ онъ очутился на ногахъ, бросилъ быстрый взглядъ вокругъ себя, увидѣлъ своихъ товарищей, погрозилъ имъ своимъ загорѣлымъ кулакомъ и опрометью сбѣжалъ по крутому косогору на берегъ Мурулана, протекавшаго внизу.

— Эй-а! Эй-а! — раздавались его громкіе крики призыва, проникнутые не поддающимся описанію хрипящимъ звукомъ, какой издаютъ оленьи быки въ пору *порозованія*. Кутувія простоялъ секунду на мѣстѣ, потомъ, быстро подобравъ съ земли шапку, убѣжалъ по противуположному направленію, также начиная многотрудный поискъ.

Эуннэкай долго стоялъ на одномъ мѣстѣ, держась рукою за грудь. Онъ никакъ не могъ понять, что случилось. Враждебный духъ опять усыпилъ его умъ, чтобы увести отъ него оленей и погубить его въ конецъ. Не Тенантумгинъ, а Кэля создалъ его, Кэля владѣлъ имъ всю жизнь, Кэля унесъ его душу въ эту туманную ночь и носилъ ее по надземнымъ пустынямъ, гдѣ никогда не бываетъ дня, и заперъ его въ желѣзный шалашъ для того, чтобы тѣмъ временемъ похитить отъ него стадо. Эуннэкай машинально собралъ всѣ вещи, связалъ ихъ по обыкновенію въ видѣ плоской и длинной ноши, увѣнчанной котломъ, и уже хотѣлъ взвалить ее на свои плечи, но передумалъ и положилъ ее опять на землю. Надо искать оленей, а за вещами можно будетъ придти потомъ, въ другой разъ. Эуннэкай поднялъ посохъ, забытый Кутувіей, и опять осмотрѣлся вокругъ. Желтый Утэлъ, ковыляя на трехъ ногахъ и виляя хвостомъ, подбѣжалъ къ нему. Онъ тоже спалъ и не успѣлъ уйти вмѣстѣ съ кѣмъ нибудь изъ пастуховъ, а теперь ластился къ Эуннэкаю, какъ будто выражая сочувствіе его горю и обѣщая посильную помощь.

Эуннэкай нагнулся и вытащилъ ногу Утэля изъ-за ошейника.

— Пойдемъ, Утэль! — сказалъ онъ. — Станемъ искать стадо!

Онъ спустился на Муруланъ, но вмѣсто того, чтобы перейти на другой берегъ къ линіи противолежащихъ вершинъ, какъ это сдѣлалъ Каулькай, направился внизъ по рѣкѣ, намѣреваясь достигнуть небольшаго горнаго ручья, впадавшаго въ Муруланъ, и, поднявшись вверхъ по его теченію, перевалить черезъ горную цѣпь и достигнуть истока другой горной рѣчки Андильвы, стекавшей съ противоположнаго склона. То были высокія мѣста,

богатыя наледями, и вѣчно обдуваемыя вѣтромъ, постоянное жительство дикихъ оленей и горныхъ барановъ. Они были хорошо знакомы чукотскимъ оленямъ, которые не разъ убѣгали туда, и Эуннэкай надѣялся, что, можетъ быть, и теперь найдетъ тамъ свое убѣжавшее стадо.

Послѣ ночнаго холода и тумана день выдался такой, какого не бывало и въ началѣ іюля, въ самую жаркую пору лѣта. Легкій вѣтеръ, потянувшій съ востока, увелъ всѣ дымныя тучи, надвигавшіяся отъ горѣвшихъ лѣсовъ, захвативъ по пути и сѣрыя облака тумана, нависшія на горныхъ вершинахъ. Было ясно и тепло. Нѣсколько плоское небо полярнаго горизонта сіяло блѣдной синевой, не запятнанной ни однимъ облачкомъ. Солнечные лучи весело переливались въ свѣтлыхъ струяхъ рѣчки, бѣжавшей по камнямъ. Эуннэкай шелъ и думалъ. Что, если стадо убѣжало совсѣмъ и не вернется обратно? Конечно, Эйгелинъ не обѣднѣетъ отъ этого: у него есть еще четыре большихъ стада. Кутувія уйдетъ къ старшему брату Тнапу, то ему и Каулькаю придется плохо. Эйгелинъ въ гнѣвѣ страшенъ. Развѣ не бросился онъ съ ножомъ на ламута Чемегу, когда дочь Чемеги, купленная для Кэргувіи, убѣжала ночью въ свой родной станъ, а Чемега не хотѣлъ вернуть калыма, какъ было условлено? И развѣ Эуннэкай не видѣлъ, какъ онъ колотилъ кольцомъ отъ аркана прямо по лицу своего третьяго сына Эттувію, когда у того ушелъ немногочисленный «отрывокъ» изъ стада.

Впрочемъ, не за себя лично больше всего опасался Эуннэкай. Пусть Эйгелинъ бьетъ его арканомъ, пусть заколотитъ на смерть, пусть переломаетъ кости, какъ чаунцы переломали его старшему брату на Весеннемъ Торгу, пусть ударитъ его ножомъ въ грудь, какъ убиваютъ худого пыжика весною на Ѣду! Онъ заслужилъ все это. Да! пусть они зарѣжутъ его и Ѣдятъ его тѣло, ибо онъ заставилъ ихъ потерять такъ много священныхъ животныхъ, дающихъ человѣку Ѣду и жизнь!

Но мщеніе Эйгелина не ограничится имъ однимъ. Онъ прогонитъ со стойбища старую Нэучкатъ, и она пойдетъ пѣшкомъ скитаться по пустынѣ, ибо всѣ олени Каулькая ушли вмѣстѣ съ стадомъ Кутувіи и не осталось ни одного, чтобы запрячь широкія сани и увезти хоть шатеръ и три столба, основу людскаго жилища. Пойдетъ Нэучкатъ по пустынѣ, питаясь кореньями и дикими травами. Еще захочетъ ли какой нибудь житель дать ей пристанище? И Каулькая прогонитъ Эйгелинъ, и никто изъ сосѣднихъ владѣльцевъ не захочетъ принять къ себѣ пастуха, который такъ безпеченъ, что отпустилъ стадо. Но у Каулькая крѣпкія ноги. Онъ уйдетъ на другой конецъ *Камня* или туда, гдѣ Морской Чаунъ (Малый Чаунскій проливъ) наполняется соленой

водой во время сѣвернаго вѣтра, а потомъ мелѣетъ, открывая дорогу на далекія пастбища Айона), какъ разсказываютъ старики, впервые пригнавшіе стада съ сѣверной стороны на Камень. Уйдетъ Каулькай, опираясь на свое копье, и Эуннэкай больше не увидитъ его. Сердце Эуннэкая болѣзненно сжалось. Въ этомъ нехитромъ и незлобивомъ сердцѣ таилось глубокое, полубезсознательное обожаніе высокаго и статнаго брата, который во всѣхъ отношеніяхъ могъ служить идеаломъ чукотскаго «хранителя стадъ». Эуннэкай забылъ и про боль въ груди и про больную ногу и быстро шагалъ по каменистому берегу, опираясь на посохъ, и свободный отъ обычной ноши, чуть ли не въ первый разъ. Растительность на берегахъ рѣки снова получила болѣе разнообразный характеръ. Всѣ кусты, травы и цвѣты полярной и альпійской флоры поднимали ему на встрѣчу головы, немного утомленныя бездождіемъ и зноемъ, ибо полярныя растенія также предпочитаютъ сырость и холодъ. Изъ неплотныхъ каменныхъ расщелинъ выглядывали желтые, алые и голубые вѣнчики, которымъ еще не дано имени на языкѣ человѣка, похожіе то на незабудки, то на колокольчики, то на лиліи. Кочанъ (полярный одуванчикъ) поднималъ свои жесткія головки, опушенныя бѣлымъ пухомъ, похожимъ на клочокъ заячьго мѣха. Жесткіе пучки дикаго лука, похожіе на стрѣлы, маленькіе кустики макарши, напоминавшія связки полуободранныхъ зеленыхъ перьевъ, выглядывали среди нѣжныхъ стеблей «гусиной травы». Дальше абдэри (чемерица) протягивала широкія листья, подъ которыми прячутся злые духи, когда Тенантумгинъ ударяетъ копьемъ въ основаніе неба, производя громъ. Бѣлые цвѣточки «попокальгина» разстилались по землѣ. Колючій шиповникъ смыкался непроходимой чащей прямо поперекъ его дороги, путая свои иглистыя вѣтки съ корявыми побѣгами низкорослаго ольховника и съ тальникомъ, проникающимъ всюду.

Эуннэкай упрямо пробирался сквозь кустарникъ. Желтый Утэль бѣжалъ трусцой сзади на своихъ короткихъ ногахъ.

Верховье Андильвы ничѣмъ не отличалось отъ Мурулана. Вдали мелькали бѣлыя линіи наледи. Можно было подумать, что это та самая, отъ которой нѣсколько часовъ тому назадъ разошлись въ разныя стороны чукотскіе пастухи. Выйдя изъ густой тальничной заросли и вскарабкавшись на уступъ, идти по которому было гораздо удобнѣе, Эуннэкай вдругъ остановился и сталъ внимательно всматриваться впередъ. Два или три смутныхъ силуэта мелькнули Богъ знаетъ на какомъ разстояніи предъ его глазами. То, конечно, были олени. Ужъ не ихъ ли стадо? Эуннэкай побѣжалъ впередъ по каменнымъ плитамъ, поросшимъ мхомъ, подпрыгивая на одной ногѣ, а другою подпираясь, какъ

костылемъ, и помогая себѣ своимъ крѣпкимъ посохомъ, съ широкимъ роговымъ набалдашникомъ, укрѣпленнымъ на концѣ.

Онъ напоминалъ большого линялаго гуся, убѣгающаго отъ собаки и помогающаго себѣ на бѣгу безперымъ крыломъ.

Съ уступа открывался видъ на широкое поле, покрытое крупными кочками и поросшее мелкимъ тальникомъ. Мѣстами между кочками блестѣла вода, на зло засухѣ сохранившаяся въ этомъ мѣстѣ. Стадо оленей, разсыпавшись между купами мелкихъ кустовъ, паслось на полѣ, ощипывая тонкія тальничныя вѣточки и вырывая болотныя травы изъ влажной почвы. Одного бѣглаго взгляда было достаточно для Эуннэкая, чтобы опредѣлить, что это олени не тѣ, которые недавно ушли у него. Ихъ было меньше, и наружный видъ ихъ былъ совсѣмъ иной. То былъ крупный олень на высокихъ ногахъ, большей частью свѣтлосѣраго цвѣта, съ развѣсистыми рогами и длинной вытянутой головой. То было ламутское стадо. Пастуховъ не было видно. Ламутскіе олени гораздо смирнѣе чукотскихъ, и пастухъ можетъ безпечно засыпать въ стадѣ, не опасаясь, что его животныя убѣгутъ, воспользовавшись его оплошностью. Эуннэкай отправился къ ламутскому стаду, разсчитывая все-таки узнать что-нибудь отъ пастуховъ о своихъ потерянныхъ оленяхъ.

Стойбище было совсѣмъ близко. Онъ сперва не замѣтилъ его изъ-за лѣска, у опушки котораго оно было раскинуто, и теперь прямо направился къ нему.

Пять небольшихъ шатровъ лѣпились другъ около друга. Они состояли изъ тонкаго кожаннаго покрова, кое-какъ укрѣпленнаго на переплетѣ жердей и испещреннаго множествомъ дыръ, прожженныхъ искрами, отлетавшими внутри отъ очага.

Таковы ли были огромные чукотскіе шатры, укрѣпленные на крѣпкихъ столбахъ, оболочка которыхъ состояла изъ твердой и косматой оленьей шкуры, гдѣ малѣйшая дыра тщательно починивалась!

У каждаго шатра вытягивался длинный рядъ аккуратно у сшитыхъ и завязанныхъ переметныхъ сумъ. Все ламутское имѣніе было внутри этихъ сумъ, нигдѣ не было видно опрокинутыхъ саней, мѣшковъ съ рухлядью, шкуръ, и т. п. скарба, который всегда разбросанъ на чукотскомъ стойбищѣ.

Внѣшняя обстановка ламутскаго стойбища носила характеръ воздушности, какого-то птичьяго хозяйства, которое можно каждую данную минуту подхватить чуть ли не подъ мышку и унести безъ всякихъ хлопотъ, поднять съ земли, перекинуть черезъ оленью спину и поскакать, куда глаза глядятъ, оставивъ на случайномъ мѣстѣ ночлега только кучку пепла отъ остывшаго костра.

Старый тощій ламутъ, въ фигурѣ котораго было тоже что-то птичье, сидѣлъ у входа въ шатеръ, внимательно разсматривая кремневый замокъ, вынутый изъ короткой пищали. Онъ поднялъ на Эуннэкая свои маленькіе круглые глаза, тоже похожіе на глаза птицы, даже какъ будто имѣвшіе внутреннее вѣко, но мутные и потускнѣвшіе, лишенные выраженія и какъ будто мертвые и, не выразивъ никакого удивленія, снова опустилъ ихъ на свою работу.

— Пришелъ? — произнесъ онъ, однако, обычное чукотское привѣтствіе.

— Гдѣ мои олени? — обратился къ нему Эуннэкай, даже не отвѣчая на привѣтствіе. Онъ, повидимому, полагалъ, что весь міръ знаетъ уже объ его потерѣ и не нуждается въ объясненіяхъ.

Ламутъ опять поднялъ голову и посмотрѣлъ на него своими тусклыми глазами. Ламутовъ обвиняли, и не безъ основанія, въ присвоеніи оленей, убѣжавшихъ изъ чукотскихъ стадъ, даже прямо въ кражѣ, и старикъ опасался, что Эуннэкай имѣетъ въ виду какой-нибудь случай въ этомъ родѣ.

— Войди! — сказалъ онъ, оставивъ безъ отвѣта невразумительный вопросъ, и посторонился отъ входа.

Эуннэкай поднялъ занавѣску, опушенную полоской медвѣжьей шкуры и замѣнявшую дверь, и пролѣзъ внутрь шатра. Въ шатрѣ было чисто и пахло пріятнымъ смолистымъ запахомъ отъ свѣженарубленныхъ вѣтвей лиственницы, разостланныхъ по землѣ. Поверхъ вѣтвей были постланы огромныя шкуры *полевыхъ* оленьихъ *быковъ*, убитыхъ ламутскими ружьями. По стѣнамъ были опрятно подвязаны узкіе ровдужные полога съ ситцевой занавѣской, за которой ламуты обыкновенно проводятъ ночь. Одинъ пологъ былъ спущенъ, и изъ него торчали двѣ длинныя и тощія ноги, въ красивыхъ ровдужныхъ штиблетахъ, обтянутыхъ, какъ трико, и сверкавшихъ на сгибѣ ноги чрезвычайно затѣйливой вышивкой изъ красиво подобраннаго цвѣтнаго бисера. Нѣсколько мужчинъ, молодыхъ и старыхъ, сидѣли на шкурахъ въ разнообразныхъ позахъ, не занятые ничѣмъ, если не считать короткихъ трубокъ, которыя они поминутно наполняли изъ своихъ узорчатыхъ табачныхъ мѣшковъ какимъ-то бѣлымъ крошевомъ, въ которомъ, кромѣ измельченнаго дерева и трубочной накипи, едва ли былъ какой-нибудь иной элементъ. Въ ламутскихъ вышитыхъ кисетахъ рѣдко водится настоящій табакъ.

Вся одежда ламутовъ сверкала красными и голубыми узорами вышивокъ, какъ цвѣты на каменныхъ склонахъ, которые недавно миновалъ Эуннэкай. Ему бросились въ глаза ровдужные и мѣховые кафтаны, обшитые чернымъ, зеленымъ и краснымъ сафьяномъ, перемежающимся въ клѣтку, дорогимъ алымъ

сукномъ, маленькій кусочекъ котораго покупается пятью бѣлками, четыреугольные передники, вышитые бисеромъ, крашенной лосиной шерстью, похожей на цвѣтной шелкъ, и еще Богъ знаетъ чѣмъ, отороченные красивой полосой чернаго пушистаго мѣха, обшитые маленькими пунсовыми хвостиками, сдѣланными изъ кусочковъ шкуры молодого тюленя и окрашенными однимъ изъ затѣйливыхъ способовъ, извѣстныхъ только ламутскимъ женщинамъ. На шапкахъ, на огнивныхъ и табачныхъ мѣшкахъ, на мѣховыхъ сапогахъ и ровдужныхъ штиблетахъ, даже на колыбели, въ которой лежалъ грудной младенецъ, на маленькомъ сѣдлѣ, выглядывавшемъ изъ-за полога и походившемъ на игрушечное, вездѣ и всюду сверкали затѣйливые узоры ламутскихъ украшеній. Надъ небольшимъ огнемъ, разложеннымъ среди шатра, висѣлъ маленькій котелокъ, въ которомъ варилось нѣсколько кусковъ мяса. Количество пищи совсѣмъ не соотвѣтствовало великолѣпію ламутскихъ костюмовъ. Если-бы раздѣлить ее поровну между всѣми присутствующими, то каждому могло бы достаться только по самому маленькому кусочку. У котла хлопотала дѣвушка съ длиннымъ желѣзнымъ крюкомъ въ рукахъ, въ такомъ же красивомъ нарядѣ, испещренномъ всевозможными вышивками и, кромѣ того, обвѣшанная съ головы до ногъ бусами, серебрянными и мѣдными бляхами, бубенчиками, желѣзными побрякушками на тонкихъ цѣпочкахъ и тому подобнымъ добромъ. Огромный уйеръ, знакъ того, что его владѣтельница еще не продана никому въ жены, изъ восьми рядовъ крупныхъ бусъ, вплетенныхъ въ косы, достигалъ до пятъ и оканчивался серебрянными бляшками. Массивный колокольчикъ, привязанный къ переднику, издавалъ звонъ при каждомъ движеніи. Несмотря на озабоченность Эуннэкая, онъ невольно замѣтилъ голубые глаза и бѣлокурые волосы ламутской красавицы и необычайную бѣлизну ея круглаго лица.

— Какъ русская дѣвка! — подумалъ онъ. Онъ видѣлъ русскихъ только разъ въ жизни, во время посѣщенія ярмарки, но зналъ, что у нихъ бываютъ глаза, похожіе на небо, а волосы на увядшую траву. Широкія скулы этого молодого лица и ужасный монгольскій носъ съ вывороченными ноздрями не остановили на себѣ вниманія Эуннэкая. У него тоже были такія скулы и такой носъ.

Въ центрѣ группы ламутовъ сидѣлъ высокій человѣкъ въ ровдужномъ кафтанѣ съ безбородымъ лицомъ и злыми глазами, похожими на совиные. То былъ Уляшканъ, сынъ старика, сидѣвшаго у входа, настоящій хозяинъ шатра. Онъ поднялъ голову навстрѣчу вошедшему, и во взглядѣ его зажглась непріязнь. Онъ ненавидѣлъ чукчей отъ всей души, но, какъ и всѣ

ламуты, боялся этихъ пришельцевъ, дерзко занимавшихъ лучшія пастбища исконной ламутской земли.

— Пришелъ? — сказалъ онъ сурово.

— Эгей! — нетерпѣливо отвѣтилъ Эуннэкай.

— Какія вѣсти? — спросилъ ламутъ.

— Гдѣ мои олени? — разразился Эуннэкай угнетавшимъ его вопросомъ.

Ламутъ посмотрѣлъ на него еще суровѣе.

— Садись! — указалъ онъ ему рукой на мѣсто по другую сторону огня. — Позови Ивандяна! — обратился онъ къ молодому парню съ рябымъ лицомъ и высокимъ остроконечнымъ затылкомъ, похожимъ на опрокинутую грушу, покрытымъ гладко расчесанной шапкой волосъ, остриженныхъ въ скобку.

Ивандянъ, стройный и тонкій, съ правильными чертами и нѣжнымъ цвѣтомъ кожи, съ высокимъ прямымъ лбомъ, сдавленнымъ на вискахъ и придававшимъ его лицу задумчивое выраженіе, вошелъ въ шатеръ и присѣлъ на корточкахъ рядомъ съ группой ламутовъ. Онъ долженъ былъ служить переводчикомъ. Уляшканъ и самъ довольно хорошо говорилъ по чукотски, но для пущей важности хотѣлъ говорить съ пришельцемъ при помощи чужого языка.

— Спроси его! — сказалъ онъ, нахмуривъ брови — какихъ оленей онъ пришелъ спрашивать въ домахъ чужого ему племени?

— Я потерялъ оленей — сказалъ Эуннэкай, не дожидаясь перевода. — Гдѣ мои олени?

Онъ понималъ немного по ламутски.

Уляшканъ потерялъ терпѣніе и разразился цѣлой рѣчью, направленной противъ всѣхъ чукчей вообще и противъ настойчивыхъ притязаній пришельца въ частности. Онъ говорилъ не безъ краснорѣчія и видимо увлекался собственными словами. Ивандянъ почти съ такимъ же наслажденіемъ переводилъ его рѣчь на чукотскій языкъ. Ламуты были рады излить свое негодованіе, накопленное за многіе годы, на несчастнаго парня, который въ отвѣтъ на словесную обиду не могъ прибѣгнуть къ обычному аргументу несловоохотливыхъ чукчей, т. е. къ кулачной расправѣ или прямо къ ножу.

— Зачѣмъ ты вошелъ въ домъ чужого племени и сѣлъ около чужого тебѣ огня съ такими странными рѣчами? — говорилъ ламутъ. — Развѣ ты нанялъ ламутовъ себѣ въ сторожа, что спрашиваешь у нихъ о своихъ потеряхъ? Таковы ваши чукотскіе обычаи! Вы входите въ чужое жилище, но у васъ нѣтъ на языкѣ словъ пріязни! Въ рѣчахъ, дающихъ радость слушателю, вы неискусны!.. Почему ты, будучи молодымъ и увидевъ людей старше себя, не обратился къ нимъ со словами привѣта? Почему

ты не ждалъ, чтобы они сами обратились къ тебѣ съ дѣловитой рѣчью?.. Таковы ваши чукотскіе обычаи! Вы не знаете ни старшинства, ни покорности, бродите все равно, какъ олени въ лѣсу… Или ты пришелъ искать своихъ потерь въ моемъ домѣ, своихъ оленей въ моемъ стадѣ?.. Смотри! у насъ нѣтъ ничего чужого!.. Или ваши отцы еще мало отняли у нашихъ, придя на эту землю?… Они заняли лучшія пастбища, стали станомъ на каждой рѣкѣ!.. Стада дикого оленя, которыя были нашими стадами и давали намъ пищу, не нуждаясь ни въ дневной, ни въ ночной охранѣ, бѣжали передъ запахомъ помета вашихъ стадъ!.. Ламуты остались безъ пищи, но отъ вашей щедрости и отъ вашего богатства не воспользовались ничѣмъ… Развѣ чукча оживитъ голоднаго человѣка безъ платы? Но мы не виноваты, что Лѣсной Хозяинъ угналъ бѣлку изъ нашихъ лѣсовъ, и отнялъ у насъ шкуры на плату?.. Красному Солнцу наскучило смотрѣть на ваши насилія и обиды! Оно наказываетъ васъ за то, что вы скупы къ бѣдному, и разгоняетъ ваши стада, превращая ихъ въ дикія, на благо каждой рукѣ, которая можетъ держать пищаль. У *него* спроси, куда ушло твое стадо! Его глаза видѣли бѣгство… Если благосклонно, скажетъ!

Пастухъ.

Эуннэкай плохо слушалъ слова Уляшкана и вольное переложеніе Ивандяна, упрощавшаго по необходимости высокопарныя выраженія оратора, чтобы приспособить ихъ къ болѣе первобытному строю чукотскаго языка. Онъ понялъ только, что ламуты не знаютъ, гдѣ его олени, и какъ будто даже сердятся на него за то, что онъ хочетъ отыскать ихъ. Странныя мысли приходили ему въ голову. Не увели ли его стадо полевые олени, заколдованные ЛѢснымъ Хозяиномъ, чтобы умножить его вольные

табуны? Но унесли ли его шаманы изъ таинственной страны, расположенной за семью морями, гдѣ косматые жители пасутъ бѣлыхъ собакъ, чтобы питаться ихъ жиромъ и внутренностями?

Въ сердцѣ его словно что-то оборвалось. Онъ успѣлъ прилѣпиться къ мысли, что здѣсь онъ найдетъ указаніе относительно своей утраты. Если ламуты дѣйствительно ничего не знали объ его стадѣ, значитъ оно не приходило на наледь Андильвы, и поиски въ этихъ мѣстахъ были безплодны. Куда же идти? Вернуться на Муруланъ и отправиться влѣво или вправо по горнымъ ущельямъ и вершинамъ, отыскивать уже не стадо, а кого нибудь изъ товарищей, ушедшихъ по тому направленію раньше его… Но Кутувія не захочетъ смотрѣть на его лицо и прогонитъ его толчками, какъ коростливую собаку, а Каулькаю онъ и самъ не хотѣлъ показываться на глаза.

Ламутъ прекратилъ, наконецъ, свою гнѣвную рѣчь, тѣмъ болѣе, что Ѣда была готова. Дѣвушка выложила мясо на широкую доску, накрошила его мелкими кусочками, ссыпала ихъ на желѣзную тарелку и поставила передъ мужчинами.

— Ѣшь съ нами! — сказалъ Уляшканъ, указывая рукой на дымившуюся горку мясныхъ кусочковъ.

Эуннэкай машинально обошелъ огонь и припалъ на корточки рядомъ съ Ивандяномъ, взялъ одинъ кусокъ, положилъ его въ ротъ, но, не успѣвъ проглотить, внезапно поднялся на ноги и вышелъ вонъ, оставивъ ламутовъ въ немаломъ удивленіи насчетъ внезапности своего ухода. У входа въ шатеръ онъ подобралъ свой посохъ, оставленный по обычаю снаружи, и медленнымъ шагомъ побрелъ внизъ по Андильвѣ, покинувъ стойбища чужого народа. Желтый Утэль послѣдовалъ за нимъ, грустно опустивъ косматый хвостъ. Онъ тоже былъ убѣжденъ въ безполезности поисковъ Эуннэкая.

* * *

Каулькай нашелъ стадо на другой день вечеромъ. Олени быстро шли впередъ, выстроившись въ колонну, и только неутомимыя ноги быстроногаго пастуха могли наверстать значительное разстояніе, уже оставленное ими позади. Кутувія описалъ большой кругъ и снова вышелъ на Муруланъ, на день пути ниже по теченію, потомъ поднялся вверхъ и засталъ Каулькая на прежнемъ пастбищѣ съ найденнымъ стадомъ. Эуннэкай больше не показывался людскимъ глазамъ, и куда онъ дѣвался, никто не могъ узнать. Быть можетъ, онъ сложилъ свои кости, высохшія отъ усталости, у подножія уединенной скалы,

или, боясь вернуться къ товарищамъ, отправился къ лѣснымъ людямъ и сдѣлался ихъ братомъ, или черный старикъ, который вѣчно ходитъ босикомъ, разсердился на его нерадѣніе и приготовилъ ему новую встрѣчу, менѣе безобидную, чѣмъ въ первый разъ? Кто можетъ рѣшить это? Даже желтый Утэль не вернулся обратно, чтобы сообщить хоть псамъ на стойбищѣ своимъ собачьимъ языкомъ, непонятнымъ людямъ, о судьбѣ, постигшей Эуннэкая. Мать не зажгла его костра святымъ огнемъ, вытертымъ изъ деревяннаго огнива. Братъ не закололъ надъ его трупомъ упряжныхъ оленей, чтобы онъ могъ переѣхать ледяныя поля, отдѣляющія область, не знающую ночи, гдѣ ведутъ блаженную жизнь безсмертныя дѣти Крэкая среди безчисленныхъ стадъ, чьи олени не нуждаются въ охранѣ и убиваютъ другъ друга рогами по мановенію ихъ владѣтелей.

На мертвомъ стойбищѣ

Уже третій мѣсяцъ грозный Духъ Заразы кочуетъ по большой тундрѣ, собирая съ оленныхъ людей человѣческія головы въ ясакъ. Никто не видѣлъ его лицомъ къ лицу, но говорятъ, что ночью, когда послѣдняя сноха, суетившаяся у костра, влѣзаетъ внутрь полога, онъ проѣзжаетъ мимо стойбищъ на своихъ длинноногихъ красношерстныхъ оленяхъ, ведя безконечный обозъ, нагруженный рухлядью; полозья его саней изъ красной мѣди; женщины ѣдутъ вмѣстѣ съ нимъ, слѣдя за упряжными оленями, захваченные пастухи гонятъ сзади безчисленныя красныя стада съ рогами быковъ, похожими на свѣтлое пламя; онъ похищаетъ молодыхъ дѣвушекъ, чтобы онѣ выколачивали снѣгъ изъ его пологовъ, онъ уводитъ молодыхъ крѣпкихъ мужчинъ, чтобы сдѣлать ихъ своими рабами, онъ подкрадывается ночью неслышно, какъ песецъ, и шатры жителей оставляетъ на ночлегѣ пустыми и вѣчно лишенными движенія, а безпризорное стадо уводитъ вмѣстѣ со своими стадами.

Никто не видѣлъ его лица, но люди называютъ его Хозяиномъ страны. Всѣ говорятъ, что онъ пришелъ съ запада. Еще съ прошлаго года Оленій Богъ посылалъ своимъ дѣтямъ дурныя предвѣщанія. Олени, убитые на жертву, падали раной внизъ; на жженной лопаткѣ изъ подъ нижняго края выходила зловѣщая черта, указывая путь *Желающаго похитить*; по ночамъ кто-то съ шумомъ пролеталъ надъ верхушками шатровъ, убивая душу огня, тлѣвшую подъ пепломъ очага, подошвы шатровыхъ столбовъ примерзали къ землѣ и ихъ приходилось вырубать топоромъ. Но чары похитителя ослѣпили умъ оленныхъ жителей и они не понимали предвѣщаній. На этой новой землѣ, которую заняли ихъ отцы, перейдя великую рѣку, на встрѣчу вѣтру, дующему со стороны вечера, жилось такъ привольно[86]. Нетронутыя моховища представляли довольно простора для самыхъ многочисленныхъ стадъ, олени множились, какъ комары въ сырое лѣто. Пусть тунгусскіе сосѣди брали по двухлѣтку за каждый ножикъ, пусть русскіе гости убивали по молодой важенкѣ за четверть кирпича, по два выборныхъ быка за бутылку спирта, стада, все-таки «простирались по полямъ, какъ грязь», какъ будто изъ каждой линялой шерстинки вырастало по оленю. Всего было много на тундрѣ. Озера кипѣли рыбой, берега рѣчныхъ заводей чернѣли отъ помета ленныхъ гусей, песцы приходили на стойбище собирать крохи, какъ собаки. Комары и оводы боялись прохладной тундры, въ вѣчно влажной тинѣ копыта оленей не знали гніенія. Кочующія сани не перебирались черезъ хребты по

узкимъ просѣкамъ, прорубленнымъ тяжелыми топорами; тундра была ровна, какъ столъ, и открыта, какъ океанъ, приносившій къ ея окраинѣ сплавной лѣсъ на топливо жителямъ.

Теперь нужно было отдать плату за всю эту щедрость. Не даромъ самые старые изъ тѣхъ, кто первый пришелъ на эту землю, хмурились, глядя на котлы, не вмѣщавшіе мясъ, и шатры, наполненные дѣтьми; не даромъ удивлялись они, что Хозяинъ пустынь такъ радушно принимаетъ гостей. Его просто не было дома, онъ гостилъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ на дальнемъ западѣ въ царской землѣ, а теперь вернулся назадъ, чтобы собрать выкупъ. *Блюстительницы очаговъ* совершали ему возліяніе жертвенной похлебкой, *хранители стадъ* убивали черныхъ телятъ и бѣлыхъ важенокъ безъ одной отмѣтины, но онъ презиралъ мясо оленя, онъ питался душами маленькихъ дѣтей, похищенными во время сна, онъ упивался слезами осиротившихъ старухъ, онъ забиралъ стоявшихъ на мѣстѣ, и догонялъ убѣгавшихъ, стремясь превратить эту землю по прежнему въ пустыню. Уже десятки шатровъ стояли, лишенные людей, а онъ не чувствовалъ сытости. Шаманы бросали на его дорогу мясо, срѣзанное съ труповъ, чтобы заставить его перебраться къ сосѣдямъ, но ничто не помогало. Онъ кружился по тундрѣ, какъ волкъ среди разметаннаго стада, возвращался назадъ, посѣщалъ каждое глухое озеро и вездѣ собиралъ добычу.

* * *

На берегу озера, въ одномъ изъ малолюдныхъ угловъ тундры, лежало стойбище, пораженное заразой. Оно состояло изъ четырехъ шатровъ, вытянувшихся въ линію и съ перваго взгляда не представляло ничего примѣчательнаго. Сани, нагруженныя рухлядью, стояли кругомъ шатровъ въ обычномъ безпорядкѣ, груды оленьихъ шкуръ лежали на землѣ; два оленя бродили между санями, раскапывая копытами слежавшійся снѣгъ. Однако, вглядѣвшись поближе, можно было различить слѣды бѣдствія, посѣтившаго стойбище. Рухлядь на саняхъ и шкуры были покрыты толстымъ слоемъ инея, передъ дверьми шатра нигдѣ не горѣлъ огонь, изъ отверстій вверху не выходило дыма, свидѣтельствующаго о дѣятельности женщинъ, варящихъ пищу. Людей нигдѣ не было видно, они были внутри подъ завернутыми мѣховыми полами, столь же неподвижные и холодные, какъ мерзлый кусокъ сырого дерева, валявшійся поперекъ дороги.

Это было стойбище стараго Рультувіи и только три недѣли тому назадъ, на берегу р. Алазеи, имѣло болѣе тридцати

обитателей, вмѣстѣ съ женщинами и дѣтьми. Оно состояло тогда изъ восьми шатровъ, но половина была растеряна на скорбномъ пути отъ Алазеи до Лебединаго озера.

Рультувія былъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ владѣтелей стадъ, онъ имѣлъ двѣ жены, четыре сына и столько же зятьевъ. Его старшей женѣ внучки помогали мять кожу, а младшая въ первый разъ понесла жизнь въ утробѣ.

На головѣ его не было ни одного сѣдого волоса, онъ бралъ призы на скачкахъ и останавливалъ на арканѣ четырехлѣтняго быка, гоняющагося за важенками. Стада его истощали силу его пастуховъ и отъ зари до зари объѣдали моховище и уходили дальше.

Злой духъ настигъ Рультувію ночью и взялъ у него старшаго внука. Тогда Рультувія покочевалъ на востокъ, намѣреваясь укрыться на тотъ берегъ Колымы. Восемь разъ кочевалъ онъ отъ Алазеи и восемь головъ оставилъ по дорогѣ. Дѣти его, заболѣвая съ вечера, умирали къ утру; онъ покидалъ ихъ вмѣстѣ съ шатрами и уходилъ далѣе. Другіе мучились по нѣсколько дней и онъ увозилъ ихъ на саняхъ подъ шкурами, которыя покрывались инеемъ отъ дыханія больныхъ, промерзали отъ пота и примерзали къ перекладинамъ саней.

Въ отчаяніи онъ свернулъ въ сторону и покочевалъ на удачу, но черезъ три дня долженъ былъ остановиться на берегу этого озера, такъ какъ большая часть его домочадцевъ уже не могла стоять на ногахъ. Два младшихъ зятя сбѣжали вмѣстѣ съ женами. Остальные раздѣлили общую судьбу. Старая Рультына въ ту ночь, когда умеръ ея послѣдній сынъ, повѣсилась надъ собственнымъ очагомъ, чтобы осквернить его. Рультувія на утро только выглянулъ изъ полога, потомъ влѣзъ обратно, легъ къ стѣнѣ и не вставалъ больше. Теперь шатры были наполнены трупами, стадо разбрелось, Богъ знаетъ куда; только нѣсколько самыхъ ручныхъ оленей держались еще у стойбища. Огни потухли, въ жилищахъ не было жизни, а въ сумахъ пищи, такъ какъ въ послѣдніе дни ни у кого не было силъ, чтобы поймать и заколоть оленя.

Еще одна живая душа оставалась на стойбищѣ. Изъ подъ полы задняго шатра выползла женщина и поползла на четверенькахъ по направленію къ оленямъ; то была Илинеутъ младшая жена Рультувіи, которой было всего 18 лѣтъ и которая ходила въ послѣднемъ мѣсяцѣ беременности. Она была взята старикомъ изъ бѣдной семьи подчиненныхъ «сосѣдей по стойбищу» для того, чтобъ служить рабыней старой Рультынѣ, и вся ея жизнь протекла въ непрерывной работѣ, не рѣдко отнимавшей даже сонъ ночью. Послѣ того, какъ она забеременѣла, жизнь ея стала легче, и въ послѣдній мѣсяцъ ее уже не заставляли перетаскивать тяжелые

мѣховые шатры и нагруженныя сани. Но на Лебединомъ озерѣ, когда одна женщина за другой выбывали изъ числа живыхъ, ей снова пришлось надѣть прежнюю лямку. Въ послѣдніе три дня она до того измучилась, что послѣ смерти Рультувіи заползла въ задній шатеръ и легла на шкурахъ, слишкомъ слабая, для того, чтобы думать о бѣгствѣ. Духъ заразы, пролетѣвъ мимо нея, повидимому, все-таки задѣлъ ее мимоходомъ. Три дня она пролежала въ шатрѣ, подавленная сномъ, и за все это время пробуждалась только дважды, чтобы утолить жажду осколками льду, сохранившимися въ ледовомъ мѣшкѣ. Нѣсколько крохъ сушенаго мяса, сохранившихся въ одной изъ сумъ, служили ей пищей.

Сегодня она проснулась съ утра, чувствуя себя немного лучше. Первая ея мысль была о бѣгствѣ. Оставаться въ этомъ царствѣ мертвыхъ было слишкомъ страшно; кромѣ того она чувствовала, что время родовъ близко и что если она не доберется къ людямъ, то неминуемо погибнетъ вмѣстѣ съ ребенкомъ.

Подняться на ноги она не имѣла силы и ползла, какъ зашибленная собака, опираясь руками въ землю и то-и-дѣло увязая въ снѣгу. Она со страхомъ думала, удастся ли ей поймать хоть одного оленя. Если бы они оказались пугливыми, она была лишена средствъ покинуть стойбище. Къ счастью, ближайшій олень не только не обнаружилъ пугливости, но даже остановился, разглядывая молодую женщину. Илинеутъ облегченно вздохнула. Это былъ ея собственный «приданный» быкъ, старый и смирный, какъ русская корова. Онъ былъ въ недоуздкѣ, и размотавшійся поводъ волочился по землѣ. Илинеутъ схватилась за конецъ повода и подтянулась къ оленю. Тѣмъ не менѣе, прошло около получасу, пока она успѣла наложить на оленя немудреную чукотскую упряжь. О другомъ оленѣ она даже не подумала; по временамъ она останавливалась и плакала отъ слабости и разстройства.

Наконецъ молодая женщина усѣлась на нарту и слабымъ голосомъ понукнула оленя; олень побѣжалъ крупной рысью по плотно утоптанной дорогѣ, которая, повидимому, должна была вести на чье-нибудь стойбище. Въ это зловѣщее время сосѣди чуждались сосѣдей и люди на стойбищѣ Рультувіи не имѣли никакого понятія о томъ, кто живетъ вблизи.

Черезъ часъ олень вытянулъ голову и сталъ втягивать воздухъ. На него нанесло дымомъ отъ костра. Отдаленный лай собакъ, которымъ онѣ обыкновенно привѣтствуютъ приближеніе чужихъ оленей, возвѣстилъ о стойбищѣ. Илинеутъ передернула возжами, желая заставить оленя бѣжать быстрѣе.

— Стой!

На поворотѣ дороги стоялъ человѣкъ съ ружьемъ въ рукахъ. Онъ выставилъ впередъ дуло и цѣлился прямо въ подъѣзжавшую женщину.

Илинеутъ онѣмѣла отъ изумленія и страха и не имѣла силы натянуть возжи. Олень продолжалъ бѣжать по прежнему.

— Стой, — или я убью тебя!

Женщина все еще не поднимала рукъ съ надѣтыми на нихъ петлями возжей, но старый быкъ, видя направленное на него дуло, остановился самъ.

— Кто ты? — закричалъ издали человѣкъ съ ружьемъ.

— Иленеутъ, жена Рультувіи!

— Что у васъ?

— Смерть!

— А ты какъ живешь? — спросилъ человѣкъ.

— Живу!.. — отвѣтила Илинеутъ просто. Она сама изумлялась теперь тому, что она еще живетъ.

— Зачѣмъ ты лѣзешь къ живымъ, ты неубитая? — закричалъ человѣкъ. — Иди назадъ. Уйди къ своимъ мертвецамъ, бѣглая тварь! Удавись, заколись, не показывай своего лица живущимъ! Уйди, будь ты проклята!

Онъ кричалъ, какъ въ изступленіи. На его стойбищѣ еще не было ни одного случая смерти и въ этой уединенной глуши, куда люди совсѣмъ перестали заглядывать, онъ разсчитывалъ отсидѣться, какъ въ крѣпости; эта зачумленная гостья выводила его изъ себя и онъ нѣсколько разъ чувствовалъ искушеніе покончить переговоры, спустивъ курокъ. Вѣтеръ на счастье тянулъ отъ стойбища и не приносилъ къ нему зараженнаго дыханія.

— Будь ты проклята, уйди — крикнулъ онъ еще разъ, видя, что Илинеутъ не двигается, и угрожающе вскинулъ ружье.

— Я беременна! — сказала женщина.

Человѣкъ остановился, какъ будто колеблясь. Забота о маленькихъ дѣтяхъ вошла въ плоть и кровь жителей тундры.

— Не надо! — сказалъ онъ наконецъ. — Да будетъ выкупомъ за моихъ птенчиковъ!.. Уѣзжай.

Илинеутъ дернула лѣвой возжей и поворотила оленя. Ей не оставалось ничего болѣе, какъ ѣхать назадъ къ мертвецамъ. Страхъ ея прошелъ. Живые люди разсматривали ее, какъ добычу заразы, какъ бѣглую жертву Духа болѣзни, и она сама стала разсматривать себя, какъ отрѣшенную отъ жизни. Голова ея кружилась отъ голода и слабости. Временами она теряла сознаніе дѣйствительности и ей казалось, что она ѣдетъ по вѣчно туманной пустынѣ, окружающей загробное царство мертвыхъ. Тундра, подернутая сѣрой дымкой, ничѣмъ не нарушала этого

впечатлѣнія. Верхушки шатровъ Рультувіи вынырнули изъ подъ земли, какъ корабельныя мачты среди моря, но вѣдь тамъ было настоящее царство смерти.

Черезъ часъ олень остановился у ближайшаго шатра. Илинеутъ спустила ноги съ нарты и сдѣлала попытку подняться, но тотчасъ же со стономъ повалилась на землю. Острая боль возвратила ее къ дѣйствительности. Время ея пришло. Она была одна среди мертвецовъ, безъ пищи, безъ дровъ, чтобы натаять воды, окруженная заразой, лицомъ къ лицу съ новою мучительною болью, возвѣщавшей о наступленіи событія, въ которомъ она не имѣла никакой опытности и послѣ котораго должна была сдѣлаться безпомощной, какъ новорожденный младенецъ.

Черезъ минуту боль утихла. Мысль о младенцѣ, который имѣлъ родиться, придала ей бодрости. Нужно было что-нибудь сдѣлать и какъ можно скорѣе. Она поднялась на колѣни и посмотрѣла кругомъ. Олень, смирно стоявшій у входа въ шатеръ, бросился ей въ глаза. Въ немъ заключалась пища и питье одновременно. Она подобрала возжи, лежавшія на землѣ и привязала ихъ къ завязкамъ шатра, потомъ повернулась къ санямъ и вынула большой ножъ изъ чехла, подвязаннаго къ ихъ спинкѣ. Ходить, все-таки, она не могла и поползла попрежнему на колѣняхъ, добираясь кругомъ нарты къ лѣвому боку оленя, который съ дружелюбнымъ храпомъ повернулъ голову ей на встрѣчу. Придерживаясь за его шерсть, она, наконецъ, поднялась на ноги и схватилась за его холку, чтобы не упасть; потомъ продолжая придерживаться лѣвой рукой, правой наставила ножъ на обычномъ мѣстѣ противъ сердца. На минуту въ ея душѣ шевельнулось сожалѣніе: этого оленя она выкормила теленкомъ, и онъ прибѣгалъ на ея зовъ и пилъ изъ руки.

Но черезъ минуту она изо всей силы нажала ножъ и навалилась на него тяжестью своего тѣла. Олень судорожно вздрогнулъ и дернулся всѣми четырьмя ногами, какъ будто собираясь бѣжать, потомъ какъ-то опустился къ низу. Глаза его выкатились и пріобрѣли дикое выраженіе, ноги его дрожали мелкой дрожью, раздвигаясь врозь. Черезъ минуту онъ рухнулся на снѣгъ раной кверху и забился въ агоніи. Илинеутъ немного подождала, потомъ съ усиліемъ прорѣзала оленю брюхо и вырѣзала кусокъ брюшины, достаточно широкій, чтобы прошла рука. Откинувъ мѣховой рукавъ, она просунула руку въ отверстіе и припала лицомъ къ краямъ. Сдѣлавъ два или три глотка, она остановилась, опасаясь пить дальше, такъ какъ чукчи говорили, что человѣкъ, напившись теплой крови вволю, можетъ умереть. Она опять просунула руку внутрь оленя и вырвавъ одну за другой

обѣ почки вмѣстѣ съ жиромъ, спрятала ихъ за пазуху, потомъ оттянула нижнюю челюсть къ низу и вырѣзала часть языка.

Свѣжевать оленя она не имѣла силы и запаслась по крайней мѣрѣ пищей, на день или два послѣ родовъ. Кромѣ пищи ей нужна была также лампа, а топленое сало оставалось только въ пологѣ, гдѣ лежалъ Рультувія. Она оставила оленя и поползла ко входу въ шатеръ. Шатеръ былъ полонъ грустнаго унынія, холодный пепелъ на очагѣ былъ покрытъ снѣгомъ, нападавшимъ сверху. Опрокинутый котелъ лежалъ на боку съ замерзшими остатками зеленой моховой каши. Слѣва отъ очага лежали два женскихъ трупа съ страшными открытыми лицами, покрытыми пятнами застывшаго гноя. Впрочемъ, Илинеутъ не стала на нихъ смотрѣть и пролѣзла въ пологъ. Въ пологѣ было темно и обшаривая лампу, она нѣсколько разъ наткнулась на голову старика, холодную и твердую, какъ камень. Отыскавъ, наконецъ, сало, она выбралась изъ шатра тѣмъ же порядкомъ и поползла къ заднему шатру, гдѣ она недавно пролежала три дня. Въ этомъ шатрѣ мертвецовъ не было на виду, но у лѣвой стѣны лежала груда, похожая на сложенныя вмѣстѣ туши, покрытыя шкурами. Илинеутъ, отворачивая голову отъ этой груды, пробралась въ пологъ, гдѣ мертвецовъ не было.

Въ пологѣ было страшно холодно, но онъ былъ такъ малъ, что даже дыханіе одного человѣка могло нѣсколько согрѣть его мерзлыя стѣны.

Подвязавъ наружную полу, чтобы пропустить немного свѣта, она высѣкла огня и зажгла моховую свѣтильню въ каменной чашѣ;, потомъ закрыла входъ, тщательно подоткнула всѣ стѣнки и снявъ съ себя обыкновенное платье, надѣла широкій балахонъ и поверхъ него завернулась въ толстое мѣховое одѣяло. Зубы ея стучали отъ холода. Надежды на спасеніе и жизнь не было никакой, тѣмъ не менѣе по примѣру чукотскихъ роженицъ она стала молиться Богу Благосклоннаго Бытія.

— «Ты, взирающій съ высоты на каждый шагъ оленнаго племени, — выговаривала она вслухъ среди одинокаго полога, — ты видишь мою бѣду и мои страхъ! Если Ты жалостливъ, пожалѣй малое, еще не рожденное, внушающее жалость звѣрямъ и людямъ. Дай ему выйти изъ моей утробы благополучно. Дай ему питаться молокомъ моихъ грудей благополучно, отведи духовъ болѣзни и смерти, сдѣлай лежащаго сидящимъ, сидящаго ходящимъ, ходящаго бѣгающимъ, быстроногимъ, охранителемъ стадъ ночью!..»

Схватки возобновились еще до конца молитвы. Но вѣрная завѣту своей матери и бабушки она не желала навлечь на себя безчестія криками[87], и только грызла зубами мохнатый край

одѣяла, чтобы, заглушить боль. Она разметалась на шкурахъ, сбила въ сторону одѣяло, тѣло ея извивалось, какъ тѣло пришибленной ящерицы. Наконецъ, слабый крикъ возвѣстилъ, что на стойбищѣ смерти прибавился новый живой человѣкъ. Необычайнымъ усиліемъ Илинеутъ приподнялась на мѣстѣ и принялась убирать ребенка. Она перевязала пуповину прядью своихъ волосъ, заранѣе выдернутыхъ изъ головы, и завернувъ ребенка въ свою одежду, переползла на другую сторону полога. Послѣ этого наступило забытье, длившееся нѣсколько долгихъ часовъ.

Наконецъ Илинеутъ очнулась. Голова ея была такъ тяжела, что она едва могла отдѣлить ее отъ мѣшка съ рухлядью, лежавшаго въ изголовьѣ. Ей хотѣлось пить, но за неимѣніемъ воды, она достала изъ котелка, стоящаго предъ лампой, нѣсколько кусочковъ льду и принялась ихъ сосать. Почки, взятыя въ запасъ, выкатились на постель; одна изъ нихъ лежала какъ разъ подъ рукой, она подняла ее ко рту и принялась сосать полузастывшій жиръ. Однако все это мало ее удовлетворило; у чукчей родильницу черезъ нѣсколько часовъ послѣ родовъ поятъ крѣпкимъ мяснымъ бульономъ, для того чтобы онъ превратился въ молоко грудой, а здѣсь не было глотка талой воды, чтобъ утолить жажду. Ребенокъ молчалъ, онъ, вѣроятно, спалъ, она хотѣла повернуться, чтобы придвинуть его къ себѣ и почувствовала, что вся нижняя часть ей не повинуется. Тѣло ея отъ пояса было приковано къ ложу. Ноги казались совсѣмъ чужими, и она не ощущала ихъ положенія на постели.

Полное отчаяніе овладѣло ея душой. Богъ Милосерднаго Бытія, очевидно, былъ глухъ къ ея мольбамъ. Ребенокъ пискнулъ. Она уперлась ладонями въ шкуры и стала напрягаясь переворачивать свое тяжелое тѣло на бокъ. Ноги ей мѣшали, заплетаясь одна за другую, но наконецъ ей удалось принять желанное положеніе. Раскутавъ ребенка, она приложила его къ груди, но въ ея тощей груди не было ни капли молока. Она положила ребенка на шкуры и перекинулась обратно на спину, потомъ отчаяннымъ движеніемъ локтей выпрямила свой окостенѣлый станъ и сѣла, опираясь, на стѣну полога; глаза ея горѣли, губы запеклись отъ сухости. Къ горлу подкатывалось что-то большое, колючее, какъ клубъ мышиной шерсти, отрыгнутый отравленной лисицей.

— Злой духъ! — заговорила она хриплымъ шопотомъ — ты, подползающій сзади, какъ трусливая россомаха, зачѣмъ не убиваешь сразу? Приди и возьмі меня и ребенка, всѣхъ людей, всѣхъ оленей, чтобы никто не могъ хвастаться безнаказанностью!..

Ребенокъ, которому было холодно, кричалъ не умолкая.

— Плачь громче! сказала Илинеутъ. — Моего голоса не слышитъ, мое тѣло — плохая добыча… Любитъ свѣжее, мягкое зубамъ, скользкое горлу.

Ребенокъ какъ будто послушалъ и заплакалъ громче. На дворѣ вдругъ раздался скрипъ чьихъ-то шаговъ на снѣгу.

— Олень! — сказала себѣ Илинеутъ, чувствуя, что весь пылъ ея внезапно проходитъ. Но шаги приблизились къ шатру. Чья-то рука осторожно отодвинула входную полу шатра.

Илинеутъ почувствовала, что ея волосы подымаются дыбомъ на головѣ. — Идетъ! — подумала она и замерла, сдерживая дыханіе и стараясь не шевелить ни однимъ пальцемъ. Но ребенокъ кричалъ по прежнему.

— Кто живой? — спросилъ снаружи голосъ, показавшійся ей грознымъ, какъ вой вѣтра.

Илинеутъ молчала.

— Кто живой? — повторилъ голосъ.

Илинеутъ рѣшилась отвѣтить, но изъ горла ея вырвался хриплый стонъ. Ребенокъ надрывался отъ плача. Кто-то снаружи сталъ на колѣни и потянулъ къ себѣ стѣнку полога. Больше несчастная родильница ничего не слышала и не чувствовала.

Когда она снова открыла глаза, они были ослѣплены яркимъ свѣтомъ лампы, горѣвшей полнымъ пламенемъ. На краю каменной чаши лежали бѣлые пласты свѣжевытопленнаго жира. Въ пологѣ было тепло, даже жарко. Передъ лампой стояли рядомъ чайникъ съ горячимъ чаемъ, выпускавшій бѣлые клубы пара и котелъ съ дымящимся варевомъ. Ребенокъ лежалъ у лампы, покрытый мягкой телячьей шкуркой и крѣпко спалъ. Какой-то человѣкъ возился у котла, выкладывая мясо на чисто выскобленное деревянное корыто.

Илинеутъ съ недоумѣніемъ смотрѣла на незнакомца, она не могла рѣшить, на томъ, или на этомъ свѣтѣ она находится.

— Кто ты? — наконецъ, спросила она шопотомъ.

Незнакомецъ вмѣсто отвѣта зачерпнулъ чашку горячаго бульона и бросивъ туда комокъ снѣгу изъ ковша, стоявшаго съ боку корыта, подалъ ей. Она припала съ жадностью къ краю чашки и выпила ее всю небольшими, но частыми глотками; за первой чашкой послѣдовала другая.

— Что за мясо? — вдругъ спросила Илинеутъ, со страхомъ поглядывая на корыто. Ей пришло въ голову, что это мясо можетъ быть человѣчьимъ.

— Твой олень, — сказалъ незнакомецъ, дѣлая жестъ по направленію къ входу. — Оленя освѣжевалъ, дрова принесъ, огонь развелъ, мясо сварилъ, чай вскипятилъ, жиръ вытопилъ, ребенка

вытеръ, пологъ убралъ, — перечислялъ онъ не безъ самодовольства, но внезапно лицо его омрачилось.

— И тѣхъ вытащилъ вонъ! — сказалъ онъ морщась, указывая вновь на дверь и подразумѣвая, конечно, мертвецовъ, недавно лежавшихъ въ шатрѣ подъ шкурами.

Увидѣвъ на его лицѣ выраженіе страха, Илинеутъ, напротивъ, ободрилась. Очевидно, это былъ не Келя, если онъ боялся мертвецовъ. Она стала пристально всматриваться въ лицо незнакомца. Онъ былъ высокъ и плечистъ, но совсѣмъ молодой. Щеки его горѣли румянцемъ и даже на лбу и на подбородкѣ были здоровые загорѣло-румяные блики. Несмотря на ужасную обстановку, глаза его смотрѣли довольно бойко, и чуть замѣтныя брови были забавно подняты къ верху, какъ будто въ знакъ постояннаго удивленія.

— Кто ты? — спросила Илинеутъ болѣе твердымъ тономъ. Бульонъ теплой струей разливался по ея жиламъ, она ощущала давно невѣдомое чувство благосостоянія и покоя. Ей пришло въ голову, что Богъ Милосерднаго Бытія послалъ-таки ей спасеніе:

— Я Кытлепъ! — началъ незнакомецъ, — сынъ Канена, изъ стойбища на рѣкѣ Новой. Ни отца, ни матери не зная, жилъ сиротою на чужомъ стойбищѣ.

Здѣсь онъ остановился, какъ бы для того, чтобы перевести духъ.

— Духъ забрался на стойбище, истребилъ людей. Бр! — замоталъ онъ головой, — никого не осталось! Я лежалъ шесть ночей, какъ гнилая колода, рядомъ съ мертвецами; потомъ уполз оттуда, какъ подбитая куропатка…

Илинеутъ молча слушала. Судьба Кытлепа имѣла большое сходство съ ея собственной судьбой. Впрочемъ, въ это время и гибель и спасенье выливались въ одинаковую форму на всѣхъ концахъ тундры.

— Какъ твое имя? — спросилъ Кытлепъ въ свою очередь.

Женщина отвѣтила.

— Ты тоже одна?

Илинеутъ молча показала рукой на ребенка.

— Знаю. — кивнулъ головой Кытлепъ. — Это хорошо.

Онъ вдругъ улыбнулся, какъ будто припомнивъ что-то забавное.

— Слышишь! — сказалъ онъ, — пришелъ къ Лалену, а онъ выходитъ съ ружьемъ, какъ будто на дикаго оленя.

— «Удавись, — говоритъ, — или заколись!» Что я за дуракъ, чтобы колоться, если самъ Кэля не могъ меня заколоть?..

Илинеутъ смотрѣла на него съ удивленіемъ: онъ могъ говорить съ улыбкой о подобныхъ вещахъ.

— Ты знаешь? — заговорилъ снова Кытлепъ. — Старики говорятъ, что духъ болѣзни никогда не нападаетъ дважды. — Какъ рысь: если промахнется, уходитъ въ сторону.

— Слова его прозвучали для Илинеутъ какъ пѣніе дѣтей Рультеннина;[88] они несли съ собой новую надежду на жизнь и на освобожденіе отъ ужаснаго кошмара, простертаго вокругъ.

— Гдѣ ваши олени? — спросилъ Кытлепъ дѣловымъ тономъ.

Илинеутъ покачала головой.

— А много? — спросилъ Кытлепъ не безъ любопытства.

— Много! — повторила женщина — выше счета!..

— Пойду искать? — сказалъ Кытлепъ полувопросительно.

— Не ходи! — поспѣшно заговорила Илинеутъ — боюсь одна…

— А чьи будутъ олени? — спросилъ Кытлепъ съ прежнимъ любопытствомъ.

— Этого! — указала Илинеутъ на ребенка. — Дай его сюда! Посмотрю, мальчикъ или дѣвочка.

— Мальчикъ! — сказалъ Кытлепъ, отдавая ей ребенка. — Здоровый.

Илинеутъ сдѣлала усиліе, чтобы повернуться на бокъ.

— Постой! — поспѣшно сказалъ Кытлепъ — я помогу! — И своими огромными руками онъ повернулъ ее такъ ловко и легко, какъ будто-бы весь свой вѣкъ провелъ въ ухаживаніи за роженицами.

Вотъ! — прибавилъ онъ, подкладывая къ ея груди голенькаго ребенка. Теперь въ груди Илинеутъ было немного больше молока и ребенокъ принялся сосать, причиняя ей сильную боль, но она была счастлива и не обращала на это вниманія.

Черезъ нѣсколько минутъ кормленіе было окончено и Илинеутъ опять повернулась на спину, не выпуская ребенка изъ рукъ.

Но черезъ минуту она подняла его вверхъ и протянула Кытлепу.

— Возьми его! — сказала она съ заминкой; потомъ прибавила съ внезапнымъ порывомъ: — Будь ему отцомъ, будь мне мужемъ, будь хозяиномъ дому и стаду, если Богъ Вселенной послалъ тебя для нашего спасенія!

— Хорошо! — просто сказалъ Кытлепъ. — А теперь я буду ѣсть, ибо я голоденъ!.

Черезъ три дня на стойбищѣ мертвыхъ двое недобитковъ духа смерти справили вмѣстѣ кровопомазаніе брака и родовъ. Кытлепъ трижды обвелъ молодую мать вмѣстѣ съ ребенкомъ вокругъ шатра въ закрытой кибиткѣ, запряженной жертвеннымъ быкомъ.

Параличъ Илинеутъ прошелъ уже на другой день, но в теченіе

двухъ недѣль она не могла ходить и эти двѣ недѣлі новоявленная семья провела среди шатровъ, наполненныхъ мертвецами, правду сказать, мало обращая на нихъ вниманія и занимаясь своей собственной жизнью. Наконецъ Илинеутъ поднялась на ноги и они покинули стойбище мертвыхъ.

Значительную часть стада Кытлепу удалось собрать и на будущій годъ молодая чета считалась въ числѣ богатыхъ стадовладѣльцевъ и имѣла бѣдныхъ сосѣдей, кочевавшихъ во слѣдъ ея шатра и пасшихъ ея оленей. Злой духъ покинулъ тундру и перебрался къ востоку, но онъ увелъ больше половины жителей, а у уцѣлѣвшихъ олени перестали множиться по прежнему. Оленное счастье покинуло западныя стада и переселилось къ юго-востоку, на верховья р. Олоя. Кытлепъ и Илинеутъ впрочемъ до сихъ поръ живутъ зажиточно. У нихъ много сыновей, но самый удалый — Рультэтъ, родившійся среди дыханія заразы, рядомъ съ мертвыми. Полное его имя Пестрый Рультэтъ, такъ-какъ его лицо и плечи усѣяны маленькими красноватыми пятнышками, похожими на оспенныя; эти знаки наложилъ на него духъ заразы, пролетая надъ тундрой.

Праздникъ

(отрывки изъ дневника).

Полдень давно миновалъ, но солнце еще высоко стояло на небѣ, обливая яркими лучами и хмурые ряды лиственницъ, безмолвно стоявшихъ на обрывистомъ берегу узкой и извилистой виски,[89] и огромные сѣрые шатры нашего стойбища, похожіе скорѣе на холмы, чѣмъ на человѣческія жилища, и въ особенности гладкую, ослѣпительно бѣлую, снѣжную пелену, закутавшую и землю, и мерзлую рѣчку, и черныя вѣтви деревьевъ, упавшую легкимъ пушкомъ на длинныя и острыя верхушки шатровыхъ жердей, похожихъ на связку огромныхъ кольевъ, накрытыхъ толстымъ сѣрымъ чехломъ. Яркій блескъ снѣга рѣзалъ глаза и заставлялъ жмуриться. Воздухъ былъ наполненъ сверкающими блестками тончайшихъ снѣжныхъ пылинокъ, рѣявшихъ и переливавшихъ всѣми цвѣтами радуги. Свѣтъ какъ будто превратился въ вещество, въ блистающую ткань, струившуюся и трепетавшую вокругъ, и заполонялъ землю, вознаграждая ее за унылая сумерки, еще вчера давившія ее своими тяжелыми тѣнями. Въ этомъ обиліи свѣта было что то бодрящее, сулившее обновленіе природы и близкое воскресеніе жизни, закованной уже болѣе полугода въ суровыя цѣпи полярной зимы.

Я довольно уныло бродилъ по стойбищу, стараясь отогрѣть ноги, которыя пощипывалъ славный мартовскій морозъ, не смотря на двойные мѣховые сапоги. Обиліе свѣта не особенно прельщало меня. Унынie зимнихъ сумерокъ уже изгладилось изъ моей памяти, а невыносимый блескъ снѣга успѣлъ навязать мнѣ начало особой глазной болѣзни, которою въ это время страдаютъ почти всѣ жители полярныхъ странъ. Я предпочелъ бы немножко меньше свѣта, а главное побольше тепла. А между тѣмъ холодъ ни за что не хотѣлъ смягчиться, и при постоянномъ пребываніи съ ранняго утра до поздней ночи на открытомъ воздухѣ, давалъ себя чувствовать самымъ непріятнымъ образомъ, забираясь подъ всевозможные покровы и проникая сквозь самыя затѣйливыя сочетанія мѣховъ.

Однако населеніе нашего стойбища обращало мало вниманія на холодъ и спокойно предавалось обычнымъ занятіямъ. Эттыгинъ, довольно тщедушный и тощій старикъ съ замѣтной просѣдью въ всклокоченныхъ волосахъ, съ плоскимъ лицомъ, похожимъ на потертую маску, и испорченными слезящимися

глазами, сидѣлъ на корточкахъ у входа въ шатеръ и терпѣливо скоблилъ маленькимъ кривымъ ножичкомъ тонкія березовыя перекладины, изъ которыхъ должна была составиться новая ѣздовая нарта. Старшая жена его, Оттва, въ полудекольтированномъ мѣховомъ корсажѣ, вырѣзанномъ глубокими мысами на груди и спинѣ и обнажившемъ всю шею, сидѣла на землѣ и, засучивъ широкіе рукава, мѣшавшіе ея работѣ, чинила широко раскинутый передъ нею старый шатеръ такъ спокойно, какъ будто ея бронзовое тѣло, свѣтившееся изъ подъ одежды, дѣйствительно было сдѣлано изъ бронзы и не имѣло никакой чувствительности къ холоду. Двѣ молодыя бабы, разостлавъ на снѣгу внутреннюю мѣховую палатку, ожесточенно колотили ее кривыми колотушками изъ оленьяго рога, стараясь удалить изъ густого мѣха слѣды человѣческаго дыханія, осѣвшаго на стѣнки во время ночного сна и въ настоящую минуту, подъ дѣйствіемъ мороза, превратившагося въ бѣловатый иней. Онѣ уже цѣлый часъ исполняли эту тяжелую ежедневную обязанность чукотской хозяйки. Лица ихъ разгорѣлись отъ усилій, крупныя капли пота выступили на лбу и медленно текли по щекамъ, расплываясь въ толщѣ чисто геологическихъ наслоеній грязи, никогда не знавшихъ смывающаго вліянія воды. Одна изъ нихъ, чтобы облегчить свои движенія, спустила съ одного плеча широкій кэркэръ, открывъ правую половину своего здороваго торса и обнаживъ пышную бѣлую грудь, къ сожалѣнію испятнанную такими же геологическими наслоеніями, какъ и ея лицо. Другая хватала комьями снѣгъ и засовывала себѣ за пазуху, чтобы освѣжить разгоряченное тѣло. Кучка ребятишекъ, привязавъ концы крѣпкаго ремня къ вѣтвямъ двухъ деревьевъ, стоявшихъ рядомъ, съ визгомъ и криками забавлялась качаніемъ на качеляхъ. Мальчики помогали дѣвочкамъ раскачиваться и потомъ, хватая ихъ за длинные распустившіеся оборы мѣховыхъ сапогъ или просто за ноги, старались заставить ихъ упасть на снѣгъ.

Молодая здоровая ламутская баба Авдотья сидѣла на корточкахъ у огнища и варила въ маленькомъ желѣзномъ котелкѣ полужидкую зеленожелтую массу довольно подозрительной наружности, съ характернымъ острымъ запахомъ.

То была похлебка изъ оленьяго моняла. Собственно говоря, на котелокъ съ варевомъ она обращала довольно мало вниманія, а все время занималась подкладываніемъ въ огонь миніатюрныхъ щепочекъ, едва достаточныхъ для того, чтобы поддерживать маленькое голубоватое пламя подъ самымъ донышкомъ котла. Кругомъ нея былъ густой лѣсъ, но она непоколебимо соблюдала обычай, вынесенный изъ безлѣсной тундры, гдѣ дрова цѣнятся

почти на вѣсъ золота. Она такъ увлеклась своимъ занятіемъ, что рѣшительно не замѣчала, что дѣлается вблизи.

Мой спутникъ по странствіямъ, нижнеколымскій казакъ Васька Кауровъ, неуклюжій парень съ чрезвычайно рябымъ лицомъ и маленькими узкими глазами, одинъ изъ которыхъ былъ испорченъ оспой, одѣтый въ длинную черную кукашку съ волчьимъ воротникомъ и прикрывшій плѣшивую голову выпороточьимъ малахаемъ, похожимъ на женскій капоръ, лѣниво поднялся съ пня, на которомъ просидѣлъ уже болѣе часа, спряталъ въ карманъ коротенькую трубку носогрѣйку, медленно подошелъ къ длинной нартѣ, стоявшей у одного изъ шатровъ, и, взявъ въ руку долгій арканъ, изъ крѣпкаго моржоваго ремня, принялся свертывать его въ кольца. Свернувъ всѣ кольца и расправивъ, какъ слѣдуетъ, петлю, онъ съ притворно безпечнымъ видомъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по направленію къ ничего не подозрѣвавшей ламуткѣ и вдругъ сильнымъ движеніемъ руки бросилъ арканъ и накинулъ ей петлю на шею и плечи.

— Хватилъ! Хватилъ! — радостно кричалъ Васька по русски, волоча свою добычу по глубокому снѣгу на длинномъ арканѣ.

— Не дури, дьяволъ! — визжала ламутка по чукотски. А то полѣномъ хвачу! — Но торжествующій Василій не обращалъ вниманія на этотъ визгъ и, преодолѣвая отчаянное сопротивленіе ламутки, тащилъ ее къ высокому берегу виски, откуда узкая, гладко утоптанная тропинка круто спускалась внизъ. Дотащивъ ее до спуска, онъ весело покатился подъ гору, употребивъ свою плѣнницу, какъ живыя салазки, и громкимъ свистомъ и гиканьемъ подражая крикамъ каюра, спускающагося на легкой собачьей нартѣ съ высокаго косогора.

Ламутка, получивъ свободу, встала и, отряхнувъ снѣгъ, облѣпившій ея одежду, полѣзла обратно на верхъ. Гладкая шерсть ея мягкаго кэркэра, обращенная наружу, предохранила ее отъ ушибовъ. Глаза ея весело улыбались. Явное ухаживаніе Васьки, выражавшееся даже въ такихъ наѣзднических эволюціяхъ, очевидно, не было ей непріятно. Замахнувшись на своего рыцаря изъ приличія полѣномъ, подхваченнымъ по дорогѣ, она подошла къ костру и стала подкладывать въ почти угасшій огонь свои неизмѣнныя щепочки.

Черезъ четверть часа Василій возобновилъ нападеніе съ такимъ же успѣхомъ, какъ прежде: ему очень нравилась эта игра и онъ, повидимому, намѣревался продолжать ее до безконечности. Котелокъ совсѣмъ остылъ надъ погасшимъ костромъ. Зеленой похлебкѣ вѣроятно не было суждено свариться въ этотъ день.

Я стоялъ у дороги и, отъ нечего дѣлать, наблюдалъ за этими гимнастическими упражненіями. Спустившись съ горы въ третій

или четвертый разъ, и опять поднявшись на площадку, Василій отряхнулъ снѣгъ, запорошившій ему шею и лицо, и подошелъ ко мнѣ.

— А знаете, баринъ, — обратился онъ ко мнѣ, широко осклабляясь, — вѣдь эта ламутка, можно сказать, моя собственная! Я ее третьяго года купилъ на тундрѣ!

— Какъ купилъ? — спросилъ я съ удивленіемъ.

— А такъ! очень просто! Еще заплатилъ за нее тогда полъ-лахтака[90] да кирпичъ *чаю*, да папушу *табаку*!

— Да развѣ на тундрѣ людей продаютъ?

— Бабъ продаютъ. По ламутской, да по тунгузской вѣрѣ, сами знаете, бабу даже полагается продавать!.. Я это ѣздилъ на тундру оленей убивать въ третьемъ годѣ… былъ тутъ одинъ чукча дружный: къ нему заѣхалъ. Ну, убилъ у него сколько то оленей, переночевалъ, собираюсь ѣхать дальше, а онъ и сталъ мнѣ продавать эту бабу. Сынъ у нея былъ, за жену ее держалъ, да только изъ дому уѣхалъ, а бабу то оставилъ. Ну, старику какъ разъ и ловко ламутскую невѣстку съ рукъ спихнуть. Ихніе старики не любятъ чужеродныхъ бабъ!.. — «Купи, говоритъ, — эту бабу! Дешево отдамъ! — Да ты, говорю, какъ это, сынову жену продаешь?» — «Не твоя, говоритъ, забота. Я, отецъ, я и хозяинъ! Да какая она, говоритъ, жена! Такъ себѣ, дѣвка гулящая! А для насъ совсѣмъ худа: ѣстъ по многу, работаетъ лѣниво, что подъ руку подвернется, крадетъ! Купи, братъ! За-дешево отдамъ. Только съ глазъ увези!..» Ну я и купилъ.

— Да на что она тебѣ? У тебя, вѣдь, своя жена есть!

— Ну, жена!.. Что жена!.. Все таки хоть на прислугу годится. У насъ, вѣдь, на Походской[91] рыбу убирать некому! Хоть полевой человѣкъ, а руки-то есть…

— Ну, а потомъ что? — спросилъ я.

— Да потомъ-то вышло худо. Такъ и попользоваться не пришлось. Посадилъ я ее на нарту, поѣхалъ дальше по тундрѣ къ *Шапкѣ Холму*. Верстъ сто не отъѣхалъ, встрѣтилъ тунгусовъ. — «Ты, говорятъ, куда это Якуля жену увезъ?» — «Какая она жена? — говорю, мнѣ ее старикъ за пол-лахтака, да за чай, да за табакъ продалъ! Онъ говоритъ: она совсѣмъ не жена!» — «Нѣтъ! — говорятъ, — вретъ старый лѣшій! Она настоящая жена Якулю! И попъ вѣнчалъ, и все какъ слѣдуетъ! Отдай лучше назадъ! Грѣхъ вѣдь! Да и Якуль узнаетъ, худо будетъ! Отдай лучше!.. Все равно, говорятъ, мы не подпустимся! Якуль намъ друженъ. Не отдашь добромъ, силой возьмемъ! Якулевой жены не дадимъ увезти русаку!.. Отдай безъ грѣха!»… — Вижу я: ихъ пятеро, а я одинъ. Повертѣлся, повертѣлся… Думаю: чортъ съ вами! Пускай мое пропадаетъ! Ссору затѣешь, еще до начальства

дойдетъ. А мнѣ правымъ выйти некакъ!

— Такъ и отдалъ?

— Такъ и отдалъ! Чего дѣлать стану?

— А плата-то? — спросилъ я, улыбаясь. — Вернулъ ли ее отъ старика?

— Вернешь ее отъ стараго чорта!.. Весь животъ по пустому пропалъ. Я оттуль воротился, сталъ ему *говоретъ*. Говорелъ, говорелъ… да съ чукчей развѣ сговоришься? Такъ и попустился!.. «Лахтакъ, говоритъ, я изрѣзалъ. Вотъ, только лоскутъ остался!.. Чай вышелъ. Табакъ выкурилъ… *Нихто нѣту*!» — Жена моя даже крикъ подняла: «заплати, говоритъ, хоть чѣмъ-нибудь!» — «Чего, говоритъ, дамъ? *Нихто нѣту!*.. Васька, говоритъ, у меня и такъ все въ карты выигралъ? Ничего не осталось!»

— Какъ выигралъ? — спросилъ я съ удивленіемъ. — Вы развѣ играли въ карты?

— Какъ-да, баринъ! Три дня, три ночи не переставали. Такъ и дулись въ козла![92]. Этотъ Рыня на карты шибко жарный! Какъ русаковъ увидитъ, такъ и прильнется, какъ сѣра[93]: «Давай, да давай»!.. А чего давай? Самъ-то и играть по путѣ не умѣетъ! На то зарится, видишь, чтобы отъ русскаго хоть разъ выиграть!.. Ну, да гдѣ имъ противъ насъ!

— Да какъ же вы играли! Ты разскажи толкомъ! — попросилъ я.

— Да такъ и играли! Въ четвертомъ годѣ это было… Пріѣхалъ онъ на Походскую виску съ парнемъ своимъ на четырехъ оленяхъ, — второй сынъ у него, порядочный мальчонко! *Напроходъ* въ карты закатился на всю ночь… Оленей, конечно, покинулъ безъ вниманія… Ну, собаки двухъ оленей и распластали. О! слышимъ крикъ! Выскочили на улицу, а олени совсѣмъ готовы, лежатъ на снѣгу. «Чортъ съ вами!» — говоритъ. Оттуль подошелъ ко мнѣ. А онъ мнѣ всегда дружный былъ. «Купи, говоритъ, мою бѣду! Все-таки собакамъ на кормъ годится!» Я и взялъ оленчиковъ. Далъ ему полкирпича, да фунтъ-*табакъ*, — больно ужъ изъѣли собаки… Маленько по-меледилъ, оттуль опять приходитъ: — Водка, говоритъ, есть? — «Одна бутылка есть», говорю. — Продай мнѣ! — говоритъ. — Сердце хочетъ водки! — «А чѣмъ купишь?» — Оленями, говоритъ. «Какими оленями? У тебя *этто* олени нѣту!» — Два пряговые есть! Тѣмъ куплю! — «Братъ, говорю, грѣхъ вѣдь!» — Не твое дѣло! Мои олени, — не твои! Давай водки! По чашкѣ оленя отдамъ! Налилъ я *къ нему* двѣ чашки. Выпилъ онъ ихъ смаху, погодя приводитъ двухъ оленей. А парень-то сзади идетъ, такъ и плачетъ. — А ты, говорю, голова, на чемъ домой уѣдешь? — Да ты, говоритъ, развѣ меня на своихъ собакахъ не отвезешь? — Поглядѣлъ я на него: совсѣмъ безъ ума

доспѣлся человѣкъ… Легли спать. На утро приходитъ Рыня, одинарно голову книзу держитъ. — Ты о чемъ эдакъ? говорю, — О! худой я! Худой! — говоритъ, — пряговыхъ быковъ убилъ, теперь на чемъ ѣздить стану? Да ты, братъ, отвезешь ли хоть домой-то? — Отвезу! говорю. Твоихъ оленей взялъ, какъ не отвезу? — И!.. — обрадовался Рыня! — Спасибо, — говоритъ. — Пріѣдемъ, я тебѣ сколько хочешь оленей убью! Говори прямо, сколько надо?.. Я могу! — Десять, говорю, убей! — Хоть десять, хоть двадцать! — кричитъ. Пальцы на рукахъ ростопырилъ, для счету, значитъ… Подумаешь, у него и нивѣсть какой табунъ! Иванъ Татариновъ тутъ случился. — И ты, говоритъ, пріѣзжай! И тебѣ убью, сколько попросишь! — «Спасибо! — говоритъ Иванъ. — Пять убьешь, такъ и ладно». Поѣхали мы. Я на своей нартѣ Рыню везу и парня везу. А Иванъ Татариновъ налегкѣ сзади. Повезли съ собой животъ: сколько то кирпичей, да сколько-то папушъ. Пріѣхали на стойбище, а у него и табуна[94] нѣту. Такъ важенокъ[95] 40-ли, 50-ли, кругомъ руйты[96] ходитъ. А какъ стали доѣзжать до стойбища, онъ и говоритъ: «Станетъ баба меня спрашивать про пряговыхъ, ты не говори, что тебѣ убилъ!» Вправду, только пріѣхали, баба и спрашиваетъ: «а пряговые гдѣ?» — «Волки, говоритъ, разогнали! Парень день и ночь проискалъ. Слѣдовъ чисто нѣту! *Однако*, за рѣку ушли!» Парень молчитъ, и я молчу. Пообѣдали. Сталъ онъ *съ краю* ловить да убивать оленей, наубивалъ всѣ пятнадцать.

— Ну, говоритъ, давайте въ карты играть!

— Чѣмъ станемъ играть? — говоримъ. Тебѣ весь животъ отдали!

— И!.. — говоритъ, развѣ мы не люди? Поставимъ хоть по рубахѣ, да раскозлимъ!

Сняли мы съ себя рубахи, поставили на конъ. Я и выигралъ.

— Давайте еще! — говоритъ.

— Да чего поставимъ?

— Да хоть по фунту *табакъ*, да по кирпичу поставимъ съ каждаго человѣка!

— Да нѣту у насъ!

— Ну чего тамъ! Вы, говоритъ, поставьте по оленю изъ моего убоя, а я поставлю товаръ!

Сѣли играть, да оттуль играли день и ночь и опять день до вечера… И что же ты думаешь? Мнѣ карта такъ и идетъ, все выигрываю, да выигрываю. Выигралъ у него весь чай и весь табакъ, который мы ему дали. Оттуль сталъ онъ оленей ставить, а я ихъ такъ и забираю. Выигралъ 25 оленей, оттуль чайникъ, оттуль котелъ, двѣ тарелки, четыре чайныя нары, топоръ, сковороду, пол-лахтака… Какое только было обзаведеніе, все

отобралъ. А Татариновъ не выигрываетъ и не проигрываетъ. Ночь пришла, онъ и отсталъ. — «Я, говоритъ, спать лягу!» А мы такъ и играемъ! Осталось у Рини только шесть олейчиковъ, пустые пряговые! — Четыре оленя поставлю! — кричитъ. А кочевать чѣмъ будешь? — Мои олени, моя и забота!

Выигралъ я и этихъ оленей. А баба его такъ и плачетъ, глаза у нея запухли отъ слезъ. — Перестанемъ! — говорю — грѣхъ! — Нѣтъ, говоритъ, нельзя перестать! — Совсѣмъ умъ потерялъ. Спать не хочетъ, Ѣсть не хочетъ, все о картахъ думаетъ. Выспался Татариновъ, сталъ собираться домой. — «Закажи, говорю, исходникамъ, чтобъ сюда всѣ нарты Ѣхали! Я табунъ выигралъ!» Уѣхалъ Татариновъ, а мы еще играемъ. — Чего ставить станешь? — говорю. — Два пряговыхъ оленя! — Чѣмъ Ѣздить станешь? — Не твое дѣло! Не стану Ѣздить! У васъ на Походской лѣтовать стану!

Выигралъ я и этихъ оленей. — Ну, а теперь чего? — Вотъ, говоритъ, мой домъ! Его поставлю! Стала его баба вопить голосомъ. А онъ ее колотитъ. — Ты чего ревешь, кричитъ, какъ надъ покойникомъ? Еще я живой! Могу я уйти *на Камень*[97], привести оттуда большой табунъ!

«Выигралъ я и чумъ[98], и пологъ. — Конецъ! — говорю. — Ничего, нѣту! Теперь чего поставишь? — Есть! — кричитъ, — себя поставлю! жену поставлю! дѣтой поставлю! — „Ой, говорю, не могу! Дай мнѣ поспать! Встану, тогда опять играть станемъ“. А межъ тѣмъ три нарты съ Походской пріѣхали, и моя жена вмѣстѣ. Убилъ я собакамъ по оленю: даровые, такъ чего жалѣть? *Лягъ* спать, проспалъ ночь и день! Потомъ всталъ и говорю — „Ступайте вонъ изъ моего дома! Мой теперь домъ!“ Вышли они вонъ, а я шесты обломалъ, и чумъ и пологъ на нарту уложилъ. Былъ у меня портяной положокъ, его наставилъ. Опять вошли, сѣли.

— Ну чего ставишь?

— Парня своего поставлю! Вотъ этого!

— Грѣхъ, говорю, на людей играть!

— Мой грѣхъ! кричитъ. Мой сынъ, не твой!

А жена моя и говоритъ: — Играй уже! Можетъ онъ что нибудь и отыграетъ. Грѣхъ вѣдь!

— Ну, говорю, во что сына цѣнишь?

— Поставь хоть 10 *олень*, — говоритъ. — Въ работники на виску возьмешь!

— Ну, ладно! говорю. Только въ послѣдній разъ сядемъ теперь играть! Выиграешь, конецъ! И проиграешь, конецъ!

Сѣли опять. Навалилъ онъ на меня два козла, а на немъ нѣтъ ни одного. — Ладно! говорю. По крайности хоть разъ выиграешь!

Сталъ онъ сдавать, я и давай саксыріть[99]. Саксырилъ, саксырилъ… Сдалъ онъ карты. Что же ты думаешь? У меня полны руки козырей! Да такъ подрядъ и навалилъ на него три козла и выигралъ. Разозлился онъ, страсть! Не то ому досадно, что имѣніе все отдалъ, а то, что ни разу выиграть не могъ. Собралъ карты, перервалъ пополамъ и бросилъ въ огонь. — Ну, говорю, все я у тебя забралъ! Все твое мое стало! Теперь оленей переубиваю, на нарты положу и домой повезу!

— Братъ! говоритъ. А я какъ же?

— А мнѣ, говорю, какое дѣло?

— Оленей, говоритъ, убьешь, и меня убей вмѣстѣ!

— Нѣтъ! говорю. Зачѣмъ человѣка убивать стану?

— Все равно! говоритъ; уѣдешь, я *позадь* тебя жену и дѣтей зарѣжу и самъ зарѣжусь!

Испугался я: храни Богъ, зарѣжется: Они вѣдь чукчи отчаянные. Было тутъ 12 оленей. Всѣ пряговые быки. — Вотъ, говорю это тебѣ! И сына твоего мнѣ не надо! — Далъ ему чайникъ, котелъ, топоръ. Четыре парочки чайныя были, и тѣхъ покинулъ. — А домъ, говоритъ, какъ же? — Домъ, говорю, увезу! — А мы какъ? — А какъ знаешь! — Домъ, говоритъ, увезешь, не надо мнѣ и оленей!

Нечего дѣлать, оставилъ я ему и чумъ, и пологъ. О!.. Обрадовался Риня, словно нивѣсть какое богатство получилъ. — „Другъ, кричитъ, другъ! Я на Камень пойду. Послѣ на Камень поѣдешь, ко мнѣ заѣдь! Что въ моемъ домѣ по нраву увидишь, самъ бери, меня не спрашивай!“ Далъ ему еще кирпичъ, папушу. Съ тѣмъ и уѣхалъ!»

— А ламутка какъ же?

— Вотъ тогда то онъ и продалъ мнѣ ламутку. Старшаго сына дома не было, онъ и спихнулъ его жену. На тундрѣ это не за рѣдкость!

— Сколько же ты оленей выигралъ, — спросилъ я, помолчавъ.

— Да я, баринъ, 10 то купилъ, — высчитывалъ Васька съ довольной улыбкой, очевидно, увлекаясь пріятными воспоминаніями о своей удачѣ. — Да свой животъ назадъ воротилъ. Они, значитъ, даромъ пришлись. Оттуль три собакамъ убилъ, да еще тринадцать увезли на Походску. А правовыхъ то 12 къ нему назадъ отдалъ. Вотъ и всѣ его олени! — Да и такой чудакъ, — продолжалъ Васька, — черезъ годъ ѣду по рѣкѣ, встрѣчаю его у «Креста». — Откуда идешь? — говорю. — «Съ Камня». — Куда? — Въ Средній[100]. Смотрю, оленей у него не то шесть, не то семь.

— Да ты зачѣмъ въ Средній? — говорю. — «Торговать!» — А чего есть? — «Два оленя, пять боковъ!»[101]. О, и посмѣялся я,

ребята! — Ой, говорю, далеко ты идешь, а мало везешь! — Нѣтъ! — говоритъ. Двухъ оленей продамъ по десять рублей, бока хоть по рублю, смогу я хоть полведра взять!

— Будто какой безумный дастъ ему по десять рублей за оленя! — прибавилъ Васька.

— А назадъ пойдешь, чего Ѣсть станете? — говорю.

— Пустое! — говоритъ. — Пряговыхъ убивать станемъ, вотъ и Ѣда! — А въ ту же ночь у Креста Протопоповъ выигралъ и оленей, и бока. Съ тѣмъ онъ и вернулся на Пантелеиху!

— Здорово же тебѣ въ карты везло! — замѣтилъ я.

— Оно не совсѣмъ карты! — сказалъ Васька, подмигивая. — А только гдѣ имъ противъ нашего брата выстоять? Мы вѣдь, какъ сказать, на козлѣ съ молоду выросли, а они вонъ и счету *по пут*ѣ не знаютъ. Совсѣмъ не́люди! Сами видите: пальцы такъ и топырятъ[102]. Ему ходить надо, а онъ подъ столомъ глаза[103] высчитываетъ. Такой человѣкъ какъ выиграетъ? Да они чисто ни у кого и не выигрываютъ. Съ якутами на Долбѣ сядутъ, все равно, якуты такъ смаху у нихъ шкурку и спустятъ. Ну да полевая вѣра, чего будетъ?

— Постой! — сказалъ я, подумавъ. — Значитъ, когда ты ламутку купилъ, при тебѣ жена была?

Васька широко оскалилъ зубы.

— Какъ же, была! Вмѣстѣ и къ Шапкѣ Холму Ѣздили!

— Что же? она ничего не говорила?

— И баринъ, наши походскія бабы добрыя! Сами тоже… Ну и объ мужевьяхъ безо вниманія! Хоть онъ себя на десять кусковъ разорви и десяти дѣвкамъ по куску раздай!..

* * *

Разговоръ нашъ былъ прерванъ громкими криками, раздавшимися внизу, въ глубинѣ занесенной снѣгомъ виски, гдѣ пролегала узкая дорога, твердо наѣзженная многочисленными полозьями чукотскихъ и русскихъ нартъ и выводившая на Колыму.

— Держи, держи! — кричали русскіе и чукотскіе голоса. — Порвутъ, порвутъ!

Васька сорвался съ мѣста и, что было мочи, почти покатился внизъ по косогору.

— Наши Ѣдутъ, собакъ сдержать не могутъ! — бросилъ онъ на бѣгу. Я, какъ могъ, послѣдовалъ за нимъ. Въ узкой и глубокой ложбинѣ, огражденной крутыми склонами обрывистыхъ береговъ, происходило невыразимое смятеніе. Десятка полтора оленей,

заложивъ на спину вѣтвистые рога, въ безумномъ ужасѣ неслись во весь опоръ по дорогѣ, толкая и сбивая другъ друга съ наѣзженной тропы. Три или четыре пыжика, спокойно пасшихся на косогорѣ, увидѣвъ бѣгущихъ товарищей, быстро сбѣжали къ нимъ на встрѣчу, очевидно, желая узнать, въ чемъ дѣло, и были увлечены ихъ стремленіемъ. Болѣе опытные быки, не поддаваясь суетному любопытству, напротивъ, быстро карабкались на косогоръ, торопясь поскорѣе скрыться подъ надежную защиту лѣсной чащи.

Изъ-за крутого поворота дороги съ трескомъ вылетѣла длинная и узкая нарта, увлекаемая дюжиною черныхъ косматыхъ собакъ. Зубастые скакуны, привязанные попарно къ крѣпкому шестисаженному *потягу* изъ моржевого ремня, такъ и рвались впередъ. Двѣ человѣческія фигуры, уцѣпившись за дугу нарты, волоклись по сторонамъ, упираясь ногами и всѣмъ тѣломъ о каждую неровность дороги въ отчаянныхъ, но тщетныхъ стараніяхъ замедлить быстроту остервенѣлыхъ животныхъ. Собаки мчались впередъ, очертя голову, съ тихимъ, но зловѣщимъ повизгиваніемъ. Пасти ихъ были раскрыты, глаза сверкали, какъ у волковъ. Наиболѣе рѣзвыя подпрыгивали по временамъ всѣми четырьмя ногами вдругъ и какъ то особенно дергались впередъ, стараясь перервать *свару*. Другія, разстилаясь по землѣ, съ визгливымъ плачемъ вытягивали впередъ лапы, и цѣпко хватались за каждый бугорокъ, чтобы ускорить движеніе надоѣдливой нарты, тяжело волочившейся сзади.

Васька, кубаремъ скатившись съ косогора, ворвался въ потягъ и, схватившись обѣими руками за ремень, тоже распластался по снѣгу, волочась среди бѣгущихъ собакъ, какъ мѣшокъ съ рухлядью.

— Сто-ой, тоо-ой, то-о-ой! — выкрикивалъ онъ протяжно, стараясь успокоить упряжку. Эттыгинъ и другой чукча, въ старой кукашкѣ и потертыхъ мѣховыхъ шароварахъ, съ криками бѣжали на встрѣчу. Двѣ дѣвки, выколачивавшія пологъ, сбѣжали съ косогора и побѣжали вслѣдъ за оленями, издавая рѣзкіе гортанные крики, похожіе на хлопанье бича: хокъ! хокъ! хокъ! и стараясь спугнуть ихъ съ дороги, чтобъ прогнать наверхъ въ безопасную лѣсную чащу. Но обезумѣвшіе олени бѣжали все прямо, путаясь и сбиваясь, какъ прежде. Ихъ длинныя ноги дѣлали удивительные прыжки въ воздухѣ, унося ихъ отъ преслѣдователей. Собаки; видя, что добыча готова ускользнуть, взвыли съ отчаянія, еще наддали, напрягая послѣднія силы, очень удачно обогнули чукчей, бѣжавшихъ на встрѣчу, но въ рѣшительную минуту невольно посторонившихся, и, словно невзначай, налетѣли на какого-то горемычнаго пыжика, который

въ сотый разъ сбился съ колеи въ глубокій снѣгъ. Олень тотчасъ же былъ сбитъ съ ногъ и со всѣхъ сторонъ опутанъ потягомъ, нарта остановилась, люди и собаки смѣщались въ одну безпорядочную кучу. Внезапное появленіе этой свирѣпой упряжной своры, олени, безпорядочно разсыпавшіеся по дорогѣ и по прибрежнымъ косогорамъ, группа косматыхъ хищниковъ, копошившихся надъ добычей, и людей, старавшихся отнять добычу у собакъ, все это вмѣстѣ походило скорѣе на сцену изъ фееріи, чѣмъ на дѣйствительность.

Когда я подбѣжалъ, люди успѣли, наконецъ, одержать верхъ. Васька и другой маленькій человѣчекъ, одинъ изъ тѣхъ, которые волочились за дугой нарты, отводили въ сторону потягъ, чтобы подняться наверхъ по тропинкѣ, по которой мы только что спустились. Заѣденный олень лежалъ на землѣ, подергиваясь въ послѣднихъ судорогахъ. Эттыгинъ быстро и сердито лопоталъ по чукотски, проклиная русскую ѣзду и требуя платы за убитое животное.

Васька посмотрѣлъ на него недоброжелательнымъ взглядомъ.

— Опять мечтоваться сталъ! — сказалъ онъ по-русски. — Это какой олень? Худенькій пыжикъ развѣ олень!.. И развѣ ты не хочешь ни разу накормить моихъ собакъ?

Другая фигура изъ волочившихся за нартой, облеченная въ длинный балахонъ изъ черной дабы, достигавшій до пятъ и надѣтый поверхъ вытертой парки[104], копалась теперь въ задкѣ нарты, что-то отыскивая. Эттыгинъ хотѣлъ возразить Васькѣ, но голосъ его пресѣкся. Въ рукахъ этой фигуры, онъ увидѣлъ круглую жестяную посудину съ узкимъ горлышкомъ, похожую на тѣ, въ которыхъ держатъ керосинъ, которую она немного приподняла и снова сунула внутрь, тщательно завернувъ ее въ старую кожаную рубаху.

— Водочка! — осклабился Эттыгинъ. — Водочку привезли! Люблю водочку! — продолжалъ онъ, зажмуривая свои красные глазки, воспаленные отъ нестерпимаго снѣжнаго блеска, съ узкими щелками, совершенно заплывшими гноемъ. — Васька, это твоя водка! Поднеси!

— Какъ-да, поднесу! А пыжика собакамъ скормлю сегодня, а? — заискивающе говорилъ Васька. — Ты вѣдь мой другъ, а?

— Возьми! — сказалъ Эттыгинъ равнодушно, тыкая ногой упавшаго оленя. — Развѣ мнѣ жалко?

Глаза его были прикованы къ жестянкѣ.

— Анюша, налей чашку! — сказалъ Васька, подходя къ нартѣ. Фигура въ длинномъ балахонѣ, оказавшаяся его женой, достала изъ старой нерпичьей сумы бѣлую чайную чашку, осторожно освободила жестяное горлышко изъ-подъ обертки, налила изъ

него драгоцѣнную влагу и тотчасъ же заткнула его деревянной пробкой. Эттыгинъ выпилъ ее, какъ воду.

— Еще, еще! — схватился онъ обѣими руками за драгоцѣнную жестянку. Налей еще одну!

Анюша бросила на него звѣрскій взглядъ и, снова ототкнувъ пробку, неохотно налила еще полчашки.

— Мишка, поѣзжай наверхъ! — сказала она своему спутнику, положивъ посудину на прежнее мѣсто. — Да собакъ покрѣпче привяжите! А то сорвутся, бѣда вѣдь! Они всѣхъ оленей передушатъ!

Мишка, молодой мальчикъ съ бѣлокурыми волосами, съ красивымъ, но болѣзненнымъ лицомъ, окончательно повернулъ нарту къ подъему.

— Таймъ, таймъ! Тахъ, тахъ, тахъ! — раздался рѣзкій окрикъ собачьей команды. Собаки полѣзли на косогоръ, направляясь къ стойбищу. Васька и Анюта пошли сзади.

— Почего пріѣхала? — спрашивалъ Васька довольно суровымъ голосомъ. Они не поздоровались съ женой во время ея пріѣзда, и теперь оба позабыли объ этомъ.

— Ѣды не стало, такъ пріѣхала! — угрюмо сказала баба. У насъ на Походской вискѣ сей годъ чистая бѣда! Наказаніе божеское! Ни у людей, ни у собакъ! Всѣ жители упали! Про васъ услышала, сюда пріѣхала. Можетъ, ты мнѣ хоть два оленчика убьешь!

— Я чѣмъ убью? — также угрюмо сказалъ Васька. — Чаю, табаку нѣту! Можетъ, ты привезла?

— Мы сами давно не пьемъ! — возразила баба. — *Когда себѣ четверть* выпросила у Омчата. Съ тѣмъ и жила до сегодня. А табаку отъ роду!.. Всѣ кисеты выкрошили, да выкурили!.. Братанъ пріѣхалъ изъ Средняго, четыре бутылки далъ, то привезла.

Мы поднялись на гору. Мишка уже былъ на стойбищѣ и, отвязавъ потягъ отъ *барана*[105] нарты, привязывалъ его прямо къ одному изъ деревьевъ, стоявшихъ вблизи. Собаки, почувствовавъ себя на привязи, спокойно улеглись на снѣгу, свернувшись клубочкомъ. По ихъ теперешнему виду можно было заключить, что это самыя смирныя животныя на свѣтѣ. Чукчанки, въ виду пріѣзда гостей, поспѣшно снимали съ шестовъ сушившійся пологъ, намѣреваясь поставить его въ шатрѣ на обычное мѣсто, тѣмъ болѣе, что солнце близилось къ закату. Оттва накладывала куски мерзлаго мяса въ огромный котелъ, намѣреваясь варить ѣду. Другая жена Эттыгина, молодая высокая чукчанка съ мѣдно-краснымъ загорѣлымъ лицомъ, съ двумя тонкими синими линіями татуировки, выгравированными иглой и спускавшимися отъ вершины лба вдоль щекъ до самого подбородка, съ

рубашечными пуговками въ ушахъ вмѣсто серегъ, съ тонкой ниткой мелкаго цвѣтного бисера на полуобнаженной шеѣ, сидѣла на корточкахъ и толкла мерзлое мясо большимъ каменнымъ молотомъ, настоящимъ орудіемъ каменнаго вѣка, приготовляя любимое кушанье чукчей мерзлое мясо, раздробленное на мелкія крошки.

Пологъ, натянутый на кольяхъ, уже принялъ обычную форму четырехугольнаго короба, опрокинутаго вверхъ дномъ. Бабы, ползая внутри, устилали землю двойнымъ рядомъ мохнатыхъ шкуръ, тщательно запихивая подъ нихъ нижніе края полъ. У самого входа онѣ положили два длинные и плоскіе мѣшка, набитые рухлядью, составившіе низкій барьеръ вродѣ порога, который долженъ былъ служить изголовьемъ для спящихъ (чукчи ложатся въ пологѣ головою къ выходу). Передняя пола была подобрана кверху, подвязана тонкими ремешками и неуклюжими складками спускалась внизъ вокругъ отверстія, назначеннаго для входа. Оттва положила на большую желѣзную сковороду цѣлую груду топленаго жира, лежавшаго широкими, тонкими пластами въ деревянномъ корытѣ, и зажгла толстую свѣтильню изъ размельченной гнилушки; *лейка* загорѣлась яркимъ и чистымъ пламенемъ, не дававшимъ копоти и напоминавшимъ пламя стеариновой свѣчи. Баба внесла ее въ пологъ и поставила на широкую деревянную подставку, на самомъ видномъ мѣстѣ, у задней стѣны, какъ разъ противъ входа.

— Войдите! — позвала она насъ, окончивъ всѣ приготовленія. Русскіе гости, иззябшіе на морозѣ, который усиливался по мѣрѣ приближенія вечера, торопливо полѣзли въ пологъ. Баба отвязала входную полу и опустила ее внизъ, наглухо закрывая тѣсное помѣщеніе. Пологъ наполнился бѣлыми клубами отъ дыханія, потемнившими даже свѣтлое пламя лейки, и сталъ быстро согрѣваться. Я понемногу сталъ снимать лишнюю одежду, стянулъ съ себя верхнюю кукашку, положилъ въ сторону ошейникъ изъ песцовыхъ хвостовъ, рукавицы изъ лисьихъ лапъ, подбитыхъ недопескомъ (молодой песецъ) и т. д.

Со двора пролѣзали все новые, и новые гости, наполняя всѣ углы тѣснаго помѣщенія. Входившіе чинно садились, поджимая ноги и стараясь занимать какъ можно меньше мѣста. Я, какъ почетный гость, сидѣлъ у лейки, какъ разъ противъ Эттыгина, который моргалъ своими красными глазками, мнѣ на встрѣчу, стараясь не смотрѣть на пламя, сіявшее передъ самымъ носомъ. Русскіе гости усѣлись подлѣ меня, а чукчи подлѣ Эттыгина. Мы составляли двѣ группы, разбитыя по народностямъ и, нѣкоторымъ образомъ, противупоставленныя другъ другу.

Началось чаепитіе, составляющее у всѣхъ здѣшнихъ народовъ

родъ предисловія къ ѣдѣ и дѣйствительно необходимое для того, чтобы согрѣться послѣ продолжительнаго пребыванія на сорокаградусномъ морозѣ. Оттва достала изъ маленькаго деревяннаго ящика нѣсколько разнокалиберныхъ чашекъ съ отбитыми краями, тщательно завернутыхъ въ невообразимо грязную тряпку, нѣчто вродѣ старой бумажной шали, истертой до дыръ. Разставивъ посуду на большой чугунной жаровнѣ, служившей вмѣсто стола, она палила изъ небольшаго неказистаго чайника съ полуотломленнымъ носкомъ горячую черную жидкость, потомъ прибавила кипятку. Посуда Эттыгина не отличалась многочисленностью. Кому не хватило чашекъ, тѣ пили изъ желѣзныхъ тарелокъ, изъ ковша, изъ сковороды, даже изъ старой пороховой жестянки со срѣзаннымъ верхомъ. Чукчи и русскіе жадно глотали горячую воду, стараясь наполнить драгоцѣнной теплотой всѣ поры своего тѣла. На дворѣ готовились все новые и новые запасы кипятку. Чай, вначалѣ очень крѣпкій, черный, какъ пиво, сталъ свѣтлѣть и скоро обратился въ чуть окрашенную водицу. Клубы горячаго пара, поднимавшіеся надъ чайникомъ, наполнили пологъ густымъ бѣлымъ туманомъ. Въ пологѣ стало тепло, потомъ жарко, потомъ наступила температура арестантской бани или тропическаго болота, наполненнаго міазмами. Распаривавшіеся чукчи снимали безъ церемоніи свои двойныя мѣховыя рубашки, обнажая крѣпкіе неуклюжіе торсы, по обыкновенію покрытые толстыми пластами грязи. Бабы и дѣвки вползали и выползали изъ полога, услуживая мужчинамъ, принимали самыя невѣроятныя позы, вытягивались во весь ростъ по землѣ снаружи, всовывали голову и правую руку въ пологъ, чтобы поспѣшно выпить чашку, и снова исчезали въ наружномъ мракѣ. Оттва, разливавшая чай въ пологу, разогрѣлась пуще мужчинъ и, передернувъ плечами, спустила съ правой стороны свой отрепанный кэркэръ, обнаживъ шею, черную, какъ голенище, и грязную грудь.

Васька съ безобразнымъ лицомъ, изъѣденнымъ оспой, съ вытекшимъ лѣвымъ глазомъ и плѣшивымъ затылкомъ, странно противоречившимъ его ухваткамъ женскаго любезника и удальца, сидѣлъ подлѣ меня. На плечахъ его красовалась ветхая красная рубаха, надѣтая еще осенью и уже достигавшая той роковой минуты, когда она должна была окончательно распасться на куски и расползтись въ стороны.

Жена его, съ широкимъ лицомъ и выдающимися скулами обычнаго на Колымѣ русско-юкагирскаго типа, съ маленькими черными глазками, лишенными бровей, съ широкимъ ртомъ и тонкими, почти совсѣмъ безкровными губами, съ жидкой, но грубой косичкой, какъ будто сплетенной изъ конскаго волоса,

была облечена въ сѣрую юбку и какую-то затрапезную кофту, украшенную двумя огромными бѣлыми фарфоровыми пуговицами, похожими на игрушечныя колеса. Такихъ пуговицъ я никогда не видѣлъ въ Россіи. Онѣ дѣлаются неизвѣстно гдѣ, должно быть, нарочно для Колымы, которая украшаетъ ими даже мужскія куртки и пиджаки, сшитые по модному образцу. Одежда Анюши была праздничнымъ нарядомъ, далеко превосходившимъ обычный балахонъ изъ синей дабы, облекающій плечи русской порѣчанки. Мишка помѣстился у самого входа и поминутно высовывалъ голову на свѣжій воздухъ. Онъ былъ слабъ головой и чувствовалъ себя нехорошо въ угарной атмосферѣ полога.

Люди на противуположной сторонѣ сидѣли гораздо тѣснѣе насъ. Эттыгинъ, притиснутый къ задней стѣнкѣ, чтобъ не ударить лицомъ въ грязь предъ русскими гостями, надѣлъ на свое обнаженное тѣло, за неимѣніемъ рубашки, черный вицмундиръ, купленный имъ за дорогую цѣну у какого-то чиновника, въ гор. Среднеколымскѣ, невообразимо ветхій и рваный, но украшенный новыми желтыми пуговицами съ государственнымъ орломъ. Правительство не хотѣло пожаловать Эттыгина параднымъ кафтаномъ, и онъ самъ пожаловалъ себя имъ, въ видѣ этого вицмундира. Старая тетка Эттыгина, Отаутъ, поблекшая и изсохшая, съ морщинистымъ лицомъ, на которомъ чуть виднѣлись двѣ синія черты, нататуированныя лѣтъ 40 тому назадъ, сидѣла рядомъ, обхвативъ трясущимися руками чашку и поджавъ ноги, обутыя въ толстѣйшіе сапоги, съ оттопыренными *щетками*. Возлѣ нея сидѣли два тунгуса, Егоръ и Апанай, пришедшіе въ гости изъ тунгусскаго стойбища, расположеннаго на той же вискѣ, на версту повыше, которое всю зиму слѣдавало за чукчами, чтобы питаться крохами съ ихъ стола. Эти тунгусы не имѣли ровно ничего и безъ чукчей давно умерли бы съ голоду. Но Апанай не принадлежалъ къ этому стойбищу. Онъ пріѣхалъ нѣсколько дней тому назадъ, съ рѣки Алазеи, гдѣ у него было нѣсколько десятковъ собственныхъ оленей. Оба они считались самыми сильными шаманами въ ближайшей округѣ, особенно старый Егоръ, видавшій на вѣку всякіе виды, творившій по-русски и по-якутски, бывшій когда-то богачемъ, но давно пропившій все до послѣдняго оленя. Лицо его было совсѣмъ другого типа, чѣмъ у чукчей, блѣдное, продолговатое, съ лукавыми глазами, съ длинными волосами, висѣвшими кругомъ головы безпорядочными космами. Онъ тоже снялъ кукашку, обнаживъ тѣло, тощее, какъ у комара, и, если возможно, еще болѣе грязное, чѣмъ у чукчей. Апанай (Афанасій) былъ гораздо моложе. Глаза его дико горѣли. Взоръ то уходилъ внутрь, то недвижно останавливался, устремляясь куда-то вверхъ, черезъ головы

сидѣвшихъ напротивъ людей, какъ будто присматриваясь къ чему-то невидимому для иныхъ взоровъ. Чукчи въ такія минуты боязливо поталкивали другъ друга, испуганно взглядывая по направленію этихъ странныхъ глазъ. Даже Васька, черезъ голову котораго взглядывалъ дикій шаманъ, раза два обернулся и внимательно осмотрѣлъ стѣну за своей спиной. Волосы Апаная были заплетены въ двѣ косы, упадавшія по плечамъ; онъ носилъ національную тунгузскую одежду и, снявъ свой кафтанъ страннаго покроя, узкій на груди и украшенный внизу широкими оттопыренными полами, собранными въ крупныя складки, остался въ одномъ нагрудникѣ, подпиравшемъ шею и переходившемъ внизу въ четырехугольный передникъ, сшитый изъ сѣраго низкошерстнаго мѣха.

Дальше Апаная сидѣли трое молодыхъ парной, пастуховъ Эттыгина, который не любилъ лично присматривать за стадомъ. Поближе сидѣлъ Пуккаль, тоже считавшійся шаманомъ, — маленькій, приземистый, съ темнокоричневымъ лицомъ и гладкоостриженной, почти обритой головой, обрамленной спереди узкой полоской волосъ и украшенной двумя небольшими клочками, похожими на звѣриныя уши. Въ его ушахъ виднѣлись длинныя бисерныя подвѣски, спускавшіяся до плечъ. У Пуккаля было нѣсколько десятковъ собственныхъ оленей, и онъ жилъ у Эттыгина скорѣе въ качествѣ *подсосѣдка*, чѣмъ настоящаго работника. Тощій и долгій Ранаургинъ, тотъ самый, который недавно хотѣлъ остановить собакъ вмѣстѣ съ Эттыгиномъ, сидѣлъ рядомъ, выставивъ костлявыя колѣни, съ продранными мѣховыми заплатами. Это было признакомъ крайней нищеты, ибо даже самые бѣдные изъ чукчей не носятъ зимою потертой или изорванной одежды: шкуръ на тундрѣ много, и онѣ ничего не стоятъ. Но жена Ранаургина была подъ стать ему, хворая, безсильная, почти глухая, сильно хромавшая на одну ногу, совсѣмъ задавленная тяжелой долой чукотской женщины. Мужъ ея вѣчно ходилъ въ старой изорванной одеждѣ, ибо она никогда не могла во время приготовить ему новую, пологъ ея протерся до дыръ, собственный кэркэръ давно потерялъ всю шерсть и лоснился отъ сала. Самъ Ранаургинъ былъ бѣднѣе всякаго тунгуса: у него не было даже собственной пары пряговыхъ оленей, а между тѣмъ старый Руккватъ, его отецъ, владѣлъ трехтысячнымъ стадомъ. Но Рукквата унесла «долгозубая старуха», прокочевавшая по тундрѣ на красныхъ оленяхъ десять лѣтъ тому назадъ (по просту говоря — оспа), и Ранаургинъ остался послѣ него маленькимъ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Плохо охраняемое стадо растаяло, какъ комъ снѣга подъ майскимъ солнцемъ, и теперь сынъ Рукквата долженъ былъ изъ

милости сторожить чужія стада, питаясь *худомозглыми* пыжиками, которые годились на пищу развѣ собакамъ, но всегда выпадали на долю его шатра при очередномъ убоѣ.

У входной стѣнки сидѣлъ Эуръ, маленькій, корявый, съ совершенно животнымъ выраженіемъ лица, съ большими оттопыренными ушами, какъ у летучей мыши. Полтора года тому назадъ, Эуръ высваталъ у Эттыгина дочь, обязавшись ему, какъ нѣкогда Яковъ Лавану, сторожить его стада въ теченіе трехъ лѣтъ. Но бракъ считался дѣйствительнымъ со дня договора, и молодая Тытынна (игла) спала не только, съ Эуромъ, но даже съ его другомъ Пуккалемъ, не имѣвшимъ собственной жены. Это случалось каждый разъ, какъ Эуръ уходилъ ночевать въ стадо, т. е. по меньшой мѣрѣ пять разъ въ недѣлю, ибо Эура, выкупавшаго себѣ жену нечего было щадить. Узы дружбы, соединявшей его съ Пуккалемъ, превратились, благодаря этой оригинальной формѣ брака, въ узы родства, дававшаго даже право наслѣдства послѣ такого смѣннаго товарища въ бракѣ.

Лица чукчей не отличались рѣзкостью признаковъ монгольской расы: глаза были прорѣзаны прямо, носы имѣли довольно почтенный размѣръ, но ихъ никакъ нельзя было назвать красавцами. Черты ихъ были грубы, словно вытесаны топоромъ, лица имѣли широкую лунообразную форму. Узкій, покатый лобъ уходилъ назадъ, переходя въ квадратный, словно приплюснутый черепъ, маленькіе глазки не имѣли никакого выраженія, широкіе рты часто разѣвались, обнажая крѣпкія клыкастыя челюсти, легко разгрызающія твердыя оленьи кости. Что-то неуклюжее, несимметричное было въ каждой головѣ и въ каждой фигурѣ. Бѣглому взгляду казалось, что и руки, и ноги, и голова каждаго изъ нихъ прикрѣплены какъ-то не у мѣста, или что у нихъ обѣ руки только лѣвыя и обѣ ноги тоже лѣвыя, и все тѣло состоитъ изъ двухъ лѣвыхъ половинъ, не совсѣмъ удачно пригнанныхъ другъ къ другу.

Чаепитіе продолжалось добрыхъ полтора часа. Когда, наконецъ, нѣсколько огромныхъ чайниковъ кипятку были опорожнены, Оттва допила всѣ остатки изъ разнообразныхъ сосудовъ, тщательно облизала чашки, собирая языкомъ всѣ крошки спитаго чая, завернула вытертую посуду въ ту же тряпку и бережно сунула ее въ ящикъ. Женская рука, просунувшись изъ подъ полы полога, протолкнула на середину огромную сковородъ, на которой лежала цѣлая гора толченаго мерзлаго мяса. О ложкахъ не было и помину, гости ѣли руками, погружая ихъ въ порошкообразную массу и каждый разъ тщательно облизывая полурастаявшія крошки, приставшія къ концамъ пальцевъ. Между тѣмъ бабы на дворѣ, притащивъ изъ подъ горы пыжика,

назначеннаго на кормъ собакамъ, достали изъ него внутренности, намѣреваясь приготовить ихъ для параднаго угощенія. Когда мерзлое мясо было съѣдено, со двора стали слѣдовать одинъ за другимъ всевозможные виды hors d'oeuvre'овъ, быстро приготовленныхъ по всѣмъ правиламъ чукотскаго кулинарнаго искусства. Тутъ были и головной мозгъ, который Оттва разорвала на мелкія кусочки своими черными, какъ сама грязь, руками и положила на тарелку, оленьи глаза, видъ которыхъ внушалъ содроганіе, большіе, круглые, съ кровавыми бѣлками и мелкими обрывками связокъ; почки и печень, нарѣзанныя ломтиками, носовые хрящи, мелко изрубленные ножомъ. Самое видное мѣсто занимали свѣжеободранныя ноги, которыя болѣе почетные гости разобрали по рукамъ и, вооружившись огромными ножами, стали отдирать и разгрызать жесткія связки съ искусствомъ и остервенѣніемъ, которыя сдѣлали бы честь любой собакѣ. Обглодавъ жилы, обѣдающіе стали разбивать спинкой тяжелаго ножа костяныя трубки для того, чтобы извлечь *кымель* (костный мозгъ), составляющій наиболѣе драгоцѣнное лакомство чукотскаго меню. Разбивъ кость, они обязательно передавали ее хозяйкѣ, которая вынимала круглую полоску мозга и, разорвавъ на кусочки, прежнимъ порядкомъ раздавала присутствующимъ.

Сама Оттва во всѣхъ этихъ лакомыхъ блюдахъ не принимала никакого участія и ограничивалась тѣмъ, что каждый разъ тщательно собирала крошки, оставшіяся отъ мужчинъ, и запихивала ихъ въ ротъ. Только старая Отаутъ, истинная владѣтельница большой частію оленьяго стада, пасшагося вокругъ стойбища, сидѣвшая рядомъ съ Эттыгиномъ на почетномъ мѣстѣ, имѣла право ѣсть вмѣстѣ съ мужчинами.

Послѣ закусокъ послѣдовала серьезная трапеза. Цѣлая гора полусваренныхъ кусковъ мяса, наваленныхъ на ту же сковороду, явилась среди полога. Баба срѣзывала куски мякоти, немилосердно тиская и комкая мясо своими липкими руками, и крошила ихъ на мелкіе кусочки, чтобы мужчинамъ было удобнѣе ѣсть. На долю женщинамъ оставались кости и объѣдки. Вмѣстѣ съ мясомъ женское населеніе проникло въ пологъ и, разобравъ кости, принялось ихъ глодать. Гора мяса на сковородѣ дважды исчезала и дважды появлялась вновь, пополняясь изъ невидимаго запаса такой же таинственной рукой, просовывавшейся въ пологъ снаружи. Очевидно, на дворѣ еще оставались бабы, которымъ не было мѣста въ пологѣ.

Чукчи ѣли съ торопливымъ остервененіемъ, съ какими-то отвратительными всхлебываніями послѣ каждаго куска, яростно разгрызая зубами кости. Бабы разбивали спинкой ножа костныя трубки, чтобы извлечь оттуда мозгъ, который отдавали

мужчинамъ, обсасывая только жиръ, текшій по пальцамъ.

— Отчего мало варили? — проворчалъ Эттыгинъ, снимая со сковороды послѣдній кусокъ. — Принесите хоть крови!

Черезъ минуту таинственная ручка, принявъ опустѣвшую сковороду, протолкнула ее обратно въ пологъ, наполненную оригинальнымъ кушаньемъ изъ опаленныхъ губъ и копытъ, мелко накрошенныхъ и облитыхъ свѣжей кровью недавно убитаго оленя. Пастухи и бабы, которые чувствовали еще голодъ, дружно накинулись на вновь принесенное блюдо и скоро выпачкались въ немъ до ушей, напоминая общество пирующихъ людоѣдовъ, только что опустошившихъ жилы закланной жертвы.

Эттыгинъ ѣлъ неохотно. Мысли его были чѣмъ-то поглощены.

— Гдѣ Васька? — спросилъ онъ вдругъ.

Я уже нѣсколько минутъ чувствовалъ, что мнѣ стало свободнѣе сидѣть, и теперь понялъ, что это произошло отъ удаленія Каурова, который очень ловко выскользнулъ изъ полога.

Анюша скорчила недовольную гримасу.

— Гдѣ будетъ? Однако, у нарты стоитъ, съ фляжкой цѣлуется! — проговорила она по-русски. Эттыгинъ, почти ничего непонимавшій по-русски, все-таки утвердительно кивнулъ головой. Онъ хорошо зналъ и самъ, куда могъ скрыться Васька. Не говоря ни слова, онъ натянулъ свою кукашку на голову и торопливо скользнулъ изъ полога. Только бѣлыя пятки его сверкнули передъ глазами. Сосѣди не обратили вниманія на его исчезновеніе и продолжали пировать надъ сковородой. Пологъ былъ наполненъ запахомъ пота, вонью распарившагося человѣческаго тѣла, испареніями горячей нищи, промозглымъ зловоніемъ оттаявшихъ оленьихъ шкуръ и еще, Богъ знаетъ, какими запахами. Дышать было нечѣмъ. Мишка высунулъ голову изъ полога наружу и такъ и остался въ этомъ положеніи, не рѣшаясь вернуться обратно. Я кое-какъ проползъ къ выходу и, приподнявъ край шкуры, тоже высунулся на улицу, обдаваемый ледянымъ дыханіемъ сорока-градуснаго мороза. Но моя голова была крѣпче Мишкиной, и я разсудилъ вернуться къ покинутымъ мною сосѣдямъ, тѣмъ болѣе, что наши вытянутыя рядомъ тѣла сильно стѣсняли Анюшу, сидѣвшую въ промежуткѣ. Отсутствіе Эттыгина продолжалось недолго. Но когда онъ вернулся, въ его лицѣ и манерахъ была замѣтна явственная перемѣна. Забравшись въ пологъ, онъ вмѣсто того, чтобы сѣсть, выпрямился во весь свой, впрочемъ, очень маленькій ростъ, подпирая головой невысокую крышу.

Одна нога его попала въ самую середину сковороды и скользнула по размазанной крови, упираясь носкомъ въ желѣзные края. Ранаургинъ посмотрѣлъ съ упрекомъ вверхъ, но сказать

ничего не рѣшился, только принялся усиленно выгребать пальцами остатки крови изъ подъ жесткой щетинистой подошвы сапога. Но Эттыгину было мало того, что онъ самъ стоялъ на сковородѣ. — «Встаньте!» — сказалъ онъ повелительно. Не долго думая, онъ опустилъ внизъ руки и, поймавъ за волосы двухъ ближайшихъ сосѣдей, потянулъ ихъ кверху. Остальные не заставили себя просить и встали сами. Ранаургинъ въ послѣдній разъ провелъ ладонью по сковородѣ и, забравъ сколько могъ крови, всталъ на ноги и принялся тщательно облизывать свою руку. Я равнодушно смотрѣлъ на группу, стоявшую передо мной въ самыхъ нелѣпыхъ позахъ, подъ низенькой крышкой полога. Каждый разъ, когда Эттыгинъ напивался, онъ продѣлывалъ передо мной ту-же самую сцену.

— Великій начальникъ! — сказалъ Эттыгинъ. — Открой намъ свое ухо! Мы всѣ стоимъ передъ тобой, и у насъ во рту одинъ языкъ! Мы хотимъ просить великою просьбою на русскихъ гостей, которые пріѣзжаютъ къ намъ за торгомъ! Ты напиши наше слово на большую бумагу и пошли ее Солнечному Владыкѣ, чтобы онъ узналъ объ обидѣ своихъ людей. Сердитая вода — худая вода, и люди на тундрѣ всѣ обѣднѣли отъ нея. На *Камень* мало ѣздятъ русскіе купцы, и всѣ люди тамъ богаты оленями, а мой народъ сталъ бѣденъ… Зачѣмъ купцы возятъ водку? Глаза увидятъ, душа захочетъ, тогда житель отдастъ все!

Онъ долго говорилъ на эту тему, кланяясь и заставляя кланяться другихъ, которые, впрочемъ и безъ того стояли, сильно наклонившись впередъ.

Я безстрастно слушалъ рѣчи Эттыгина, не считая даже за нужное повторять мое прежнее увѣреніе, что я вовсе не великій начальникъ и не уполномоченъ принимать такія жалобы. Я ожидалъ, когда онъ закончитъ свою рѣчь послѣдней заключительной просьбой, а именно попроситъ, чтобы я угостилъ его хоть получашкой водки, ибо умъ «великаго начальника» хорошо знаетъ, гдѣ ее можно найти, и сердце его можетъ потребовать ее, напримѣръ, отъ казака, который не смѣетъ противиться начальству, такъ какъ онъ казакъ и получаетъ паекъ и т. д. Но услышать обычное заключеніе пьяныхъ жалобъ чукотскаго старосты мнѣ не пришлось на этотъ разъ. На дворѣ раздался оглушительный вой дюжины собачьихъ глотокъ Мишкиной упряжки, которому вторили разсѣянные голоса чукотскихъ собакъ, привязанныхъ тамъ и сямъ у опрокинутыхъ саней. Парни, сунувъ головы въ кукашки, проворно нырнули изъ полога. На стойбищѣ всегда можно опасаться нападенія волковъ на оленье стадо, и пастухамъ приходится вѣчно быть на сторожѣ.

Но на этотъ разъ переполохъ произошелъ не отъ волковъ. Ку-

ухъ! ку-ухъ! — послышалось протяжное гарканье[106], сопровождаемое мягкимъ шуршаніемъ полозьевъ по снѣгу. Черезъ минуту Пуккаль подбѣжалъ къ пологу, наскоро просунулъ голову внутрь и, радостно сообщивъ: «Хечька пріѣхалъ, водку привезъ!» — такъ же быстро исчезъ вновь. Черезъ нѣсколько минутъ въ пологъ проползъ новый гость, высокій, плотный человѣкъ среднихъ лѣтъ, съ лицомъ тоже крайне обезображеннымъ оспой, повредившей, какъ и у Васьки, лѣвый глазъ. То былъ Ѳедоръ Ошеловъ, извѣстный на тундрѣ подъ именемъ Хечьки (Ѳедька), одинъ изъ мелкихъ скупщиковъ выпоротка, песца и прочей чукотской пушнины. Ѳедька былъ мастеръ на всѣ руки: и промышленникъ, и собачій каюръ, и даже борецъ, съ молоду очень любившій участвовать въ состязаніяхъ, до которыхъ и чукчи, и тунгусы большіе охотники. Среди неуклюжихъ чукчей и тощихъ тунгусовъ его статная фигура производила пріятное впечатлѣніе, почти выкупавшее безобразіе рябого лица.

Даже среди нижнеколымскихъ порѣчанъ Ѳедоръ выдавался пристрастіемъ къ карточной игрѣ, за которой проводилъ дни и ночи полярной зимы, когда порѣчанину и дѣлать-то больше нечего. Онъ считался великимъ искусникомъ «козла» и собиралъ въ теченіи зимы посильную дань со всѣхъ своихъ партнеровъ, разныхъ казаковъ и мѣщанъ, живущихъ въ крѣпости по сосѣднимъ заимкамъ. Но весной, во время пріѣзда на анюйскую ярмарку купцовъ и властей изъ Среднеколымска, онъ каждый разъ отдавалъ всю эту дань «столичнымъ» игрокамъ, съ значительной приплатой изъ собственнаго кармана. Въ свободное отъ картъ время Ѳедоръ занимался мелкой торговлей на тундрѣ, кредитуясь для этого у среднеколымскихъ купцовъ на нѣсколько сотъ рублей.

Не смотря на выгодность этой торговли, имѣвшей, впрочемъ, очень незначительные размѣры, барышей съ нея не хватало даже для пополненія карточныхъ дефицитовъ, и Ѳедоръ сводилъ концы съ концами только благодаря торговлѣ водкой, въ которой онъ спеціализировался и которая въ нижнеколымскомъ округѣ даетъ барыши по истинѣ громадные. Въ Нижнеколымскѣ, собственно говоря, продажа спиртныхъ напитковъ воспрещена, но Ѳедоръ ежегодно выписывалъ двѣ или три фляги[107] спирту «для собственнаго потребленія», «разсыропливалъ» ихъ содержимое водой и на каждой бутылкѣ наживалъ 300 или 400 процентовъ барыша.

Ѳедоръ пролѣзъ на почетное мѣсто и сѣлъ рядомъ съ Эттыгиномъ, оттѣснивъ старую тетку. Въ пологъ набилось народу больше прежняго. Пуккаль и Ранаургинъ тоже вернулись вслѣдъ за Ѳедькой, только Эура не было: онъ ушелъ, по обыкновенію, «въ

ночное».

Собаки, завывавшія на дворѣ, очевидно, обрадывались поводу дать одинъ изъ тѣхъ ужасныхъ концертовъ, о которыхъ не слышавшій не имѣетъ никакого понятія. Ѳедькины собаки тоже присоединились къ дикому хору. Три десятка визгливыхъ глотокъ, надрываясь отъ усердія, издавали ужасающіе звуки, способные потрясти небо и землю. Старые псы лаяли отрывистымъ хриплымъ басомъ. Молодые щенки выводили тончайшимъ фальцетомъ унылыя, безконечно долгія рулады, надрывавшія душу и улетавшія въ недосягаемую высоту. То былъ чудовищный гимнъ дѣтей мрака, воспѣвавшихъ свое иго и морозныя узы. Я готовъ былъ заткнуть уши и забиться головою подъ шкуры, чтобы не слышать его…

— Здравствуй, другъ, — сказалъ Ѳедоръ, совершивъ церемонію привѣтственнаго прикладыванія щекъ крестъ на крестъ, замѣняющую поцѣлуй на тундрѣ. — Тебя давно не видалъ, соскучился, повидать пріѣхалъ! — говорилъ онъ льстивымъ голосомъ, изображая сладкую улыбку на своемъ хитромъ лицѣ..

— А гостинца привезъ? — спросилъ Эттыгинъ, который, повидимому, не могъ думать ни о чемъ другомъ, кромѣ водки.

— Другу, да не привезу? — отвѣтилъ Ѳедоръ и, вытащивъ изъ-за пазухи зеленую бутылку, передалъ ее Эттыгину.

Бутылка была весьма коварнаго свойства. По виду она совсѣмъ походила на *шампанку*, но была меньше ея объемомъ, съ короткимъ горлышкомъ и огромнымъ выемомъ на днѣ, значительно уменьшавшимъ ея вмѣстимость.

Но подслѣповатые глазки Эттыгина сразу оцѣнили коварство бутылки.

— Зачѣмъ маленькую бутылку привезъ? — зарычалъ онъ, схвативъ, однако, подарокъ и прижимая его къ груди обѣими руками. — Зачѣмъ не привезъ большую?..

— А ты мой тятя! — смиренно возразилъ Ѳедоръ. — Я передъ тобой все равно собака! Сказалъ: большую, въ другой разъ привезу большую. Теперь иной посуды дома не случилось!

Русскій нижнеколымчанинъ.

Русская нижнеколымчанка.

Эттыгинъ налилъ чашку и выпилъ ее залпомъ.

— Посмотримъ! — сказалъ онъ, — какая водка! И намочивъ палецъ прямо изъ бутылки, подносъ его къ огню. Голубоватое пламя вспыхнуло около пальца.

— Не жжетъ! — сказалъ Эттыгинъ. — Вотъ я изъ Средняго взялъ флягу, да пробовалъ, такъ палецъ горитъ вмѣстѣ. Вотъ водка!

— Видишь, какъ бредитъ! — сказалъ Васька. Это надъ подаркомъ такъ согнушается! Сказано, нехристь!

Ѳедоръ только покачалъ головой и не отвѣтилъ ни слова.

Началась попойка. Эттыгинъ пилъ съ собачьей жадностью, но считалъ за нужное угощать также почетныхъ гостей, хотя, подъ

предлогомъ большого почета, поилъ ихъ не изъ чашки, а изъ мѣдной чарки, которую велѣлъ бабѣ достать изъ посуднаго ящика. Я рѣшительно отказался отъ вонючей сивухи, способной возбудить рвоту при первомъ глоткѣ. Васька тоже долго отнѣкивался, потомъ выпилъ. Выпили и Ѳедоръ, и Егоръ, и старая Отаутъ. Эттыгинъ началъ пьянѣть, и буйство его дикой природы проснулось и вырывалось наружу. Ему хотѣлось задирать всѣхъ и каждаго. Но на первый разъ онъ счелъ за лучшее начать съ низшихъ членовъ общества.

— Ранаургинъ, ты худой человѣкъ! — заговорилъ Эттыгинъ. — Ты мое мясо ѣшь, ты худой человѣкъ! Отчего ты не въ стадѣ. Ты всегда хочешь сидѣть въ пологу! Каждую ночь спать съ бабой! Съ бабой спать станешь, какой пастухъ будешь?..

Ранаургинъ не отвѣчалъ ни слова.

— Ты воръ! — продолжалъ Эттыгинъ, повысивъ діапазонъ обвиненій. — Ты у меня укралъ десять оленей и отдалъ ихъ Ванчеру. Ты тунгусовъ къ моимъ оленямъ прикармливаешь!.. Твое сердце не любитъ оленей. Ты слишкомъ любишь спать! Дома съ бабой спишь, въ стадо придешь, спишь!.. Худой человѣкъ! Лѣнивыя ноги, незрячіе глаза, тяжелая поясница!

Рукквatовъ сынъ молчалъ и, кажется, плохо слушалъ слова хозяина. Вее время онъ, не отрываясь, смотрѣлъ жадными глазами на зеленую бутылку, которая быстро пустѣла и изъ которой ему не досталось ни капли.

— А ты, Пуккаль, ѣздилъ на Анюй? — продолжалъ Эттыгинъ, обращая свое нападеніе на новое лицо. — Зачѣмъ даромъ оленей гонялъ? Зачѣмъ ничего не привезъ оттуда? Ни бѣличьяго хвоста, ни лисьей лапы! Два мѣсяца даромъ провелъ! Худой человѣкъ! Пустой человѣкъ! выпотрошенный желудокъ!

Пуккаль низко опустилъ голову и тряхнулъ своими длинными подвѣсками. Но Эттыгинъ умилостивился и налилъ ему чарку. Онъ опрокинулъ ее въ ротъ и хотѣлъ уже проглотить ея содержимое, какъ вдругъ его остановила рука Ранаургина, безмолвно требовавшаго своей доли.

Пуккаль безпрекословно выпустилъ изо рта часть водки обратно въ чарку и подалъ ее Ранаургину.

— Васька! — закричалъ Эттыгинъ, чувствовавшій все большую и большую злобу. — Давай водки! Ты много дней мою ѣду ѣшь! Пои меня водкой! Не то убирайся вмѣстѣ со своей бабой на свою голодную землю!

Васька посмотрѣлъ на него злыми глазами.

— *Ужо, ужо!* — сказалъ онъ; однако, не тронулся съ мѣста.

— Вы нищіе! — кричалъ Эттыгинъ, — вы всѣ только нашу ѣду ѣдите! Дай водки, Васька! Сейчасъ!! Принеси!!..

— Хорошо! — отвѣтилъ Васька, но взглянулъ на него еще свирѣпѣе. У русскихъ принято въ разговорѣ не противорѣчить чукчамъ, что бы они ни говорили. Тѣмъ не менѣе, несмотря на утвердительные отвѣты Васьки, видно было, что еще одинъ окрикъ со стороны Эттыгина — и начнется драка.

— Анюша! — началъ опять Эттыгинъ. — Дай рыбки! хочу ѣсть рыбку! Тащи! У тебя есть! Вотъ сковорода! Сейчасъ принеси! Кроши!..

Дикій человѣкъ расходился и сознавалъ себя властелиномъ.

— Я всѣхъ голодныхъ кормлю! Я русаковъ сорокъ лѣтъ кормилъ, самъ бѣденъ сталъ! Кормите меня рыбкой! Больше не дамъ оленины!..

— Анюша посмотрѣла на него еще злѣе, чѣмъ ея супругъ.

— Я въ первый разъ вижу этотъ твой домъ! — возразила она сердито. — Зачѣмъ ты говоришь понапрасну такъ много словъ?.. Охъ жалко, я настояще не знаю по чукотски! Я-бы тебя выговорила! — прибавила она уже по русски.

Женщина оказалась бойчѣе мужчинъ.

— Чтожъ дѣлать? — подхватилъ Ѳедоръ. — Какъ мы, значитъ, всѣ имъ подвластны. Потому, промышляй, не промышляй, до весны все равно не хватитъ. А тутъ еще собаки. Безъ оленей наплачешься. Такъ ужъ намъ надо угождать имъ!..

Но Эттыгинъ уже перешелъ къ другому предмету.

— Лаымэръ![108] — обратился ко мнѣ неукротимый старикъ. — Ты все пишешь!.. Напиши комиссару, чтобы онъ моихъ триста оленей отдалъ! Уже десять лѣтъ, какъ я заплатилъ сто оленей, да Эункэу по моему слову далъ сто, да сто отдалъ Аттанъ. Все равно, я далъ всѣ триста! А кафтана все нѣтъ, да нѣтъ. Говоритъ, на будущій годъ! А я считаю, что онъ совсѣмъ не написалъ Солнечному Владыкѣ, что чукотскій староста Эттыгинъ отдалъ голоднымъ русскимъ триста оленей… Это все равно, что у меня украли! Не даютъ кафтана, давайте оленей назадъ!.. Ой! будемъ шумѣть! — неожиданно крикнулъ онъ. — Будемъ кричать! Сегодня праздникъ! Водка есть! У Хечьки есть! У Васьки есть! Много есть!.. Лаымэръ, давай сухарей и сахару!..

Я насыпалъ на тарелку жесткихъ ржаныхъ сухарей изъ моего скуднаго дорожнаго запаса. Попойка разыгрывалась.

Ѳедоръ принесъ боченокъ, въ которомъ было еще три бутылки, и отдалъ его Эттыгину. Даже Пуккаль успѣлъ напиться и дикимъ голосомъ вопилъ какую-то нелѣпицу, воспѣвая лейку и стѣны полога, боченокъ водки и рюмку, которую держалъ въ рукахъ. Я молча наблюдалъ за дѣйствіями всей подпившей компаніи.

— Вася! — сказалъ Ѳедоръ. — Надо веселить барина! И мы

запоемъ!

— Запоемъ! — согласился Васька. — Только стару пѣсенку! Баринъ стары пѣсни любитъ!

И, откинувъ назадъ голову, онъ затянулъ тончайшимъ фальцетомъ жалобно наивный мотивъ «Скопиной пѣсни».

Скопину да его мати приговаривала:
Ты не ѣзди, Скопинъ, во каменну Москву и т. д.

Странно и печально зазвенѣла пѣсня древней Москвы, полная отраженіемъ чувствъ и впечатлѣній совершенно иного порядка, среди этой грубой обстановки вылетавшая изъ устъ порѣчанина, почти такого же дикаря, какъ и окружавшіе его чукчи, Какъ будто внезапный лучъ свѣта прорѣзался среди безобразной мглы, въ которой погрязъ и я самъ, и все окружающее меня.

Но Васькѣ не пришлось допѣть до конца своей пѣсни.

Общее вниманіе привлекъ на себя тунгусъ Егоръ, который, подвыпивъ, расхвастался своимъ шаманскимъ искусствомъ:

— Я великій шаманъ! — кричалъ онъ. — Истыкайте меня всего ножами! Вотъ мое брюхо! распорите его ножомъ! Мнѣ все ни почемъ! Я живой буду! Только на столъ положите сто рублей! Вотъ мое брюхо! Колите ножомъ! Я не боюсь! Пропаду, пускай! Ладно!.. По крайней мѣрѣ у моихъ дѣтей ѣда будетъ! — закончилъ онъ не совсѣмъ логично.

— Выпей водки! — приставалъ къ ному Эттыгинъ.

— Мнѣ водки не надо, мнѣ надо ѣду! — закричалъ тунгусъ, однако, съ жадностью схватилъ чарку и выпилъ что то ужъ въ десятый разъ.

— Какую тобѣ ѣду? — завизжалъ Эттыгинъ. — Вы, тунгусы, и такъ, какъ собаки, вытаскиваете мясо изъ нашего котла! — Васъ убить надо!

Молодой тунгусъ, державшій въ рукахъ рюмку и собиравшійся ее выпить, рѣзкимъ движеніемъ бросилъ ее на сковороду.

— Ты чего кричишь? — спросилъ онъ тихимъ, но зловѣщимъ голосомъ: — Хочешь, я тебя съѣмъ!

— Зачѣмъ ты льешь водку, проклятый? — заревѣлъ Эттыгинъ.

— Сердце у тебя выну и скормлю собакамъ! — возвысилъ голосъ тунгусъ. — Душу твою разорву на четыре части и разбросаю по сторонамъ!

Эттыгинъ разсвирѣпѣлъ.

— Ты дьяволъ! — завопилъ онъ не своимъ голосомъ. — Я тебя зарѣжу! — И, схвативъ полуаршинный ножъ, лежавшій на шкурѣ подлѣ него, онъ бросился на тунгуса.

— Будетъ тебѣ, дьяволъ! — сказалъ Ѳедоръ по-русски и ловкимъ движеніемъ выбилъ ножъ изъ его нетвердой руки. — Ты чего, ыкыргаулинъ, что ли? рѣзать людей задумалъ? — сказалъ онъ Эттыгину.

Эттынринъ сразу утихъ.

— А зачѣмъ онъ водку проливаетъ? — бормоталъ онъ. — Здѣсь не Якутскъ! Водка дорога!

И, поднявъ сковороду на уровень своего рта, онъ выхлебнулъ изъ нея пролитую водку, смѣшанную съ остатками крови и цѣлой кучей оленьей шерсти.

— Якутскъ далеко! — повторилъ онъ, улыбаясь, и посмотрѣлъ побѣдоносно по сторонамъ, какъ будто совершивъ какой то подвигъ. — Тебѣ какая Ъда нужна? — обратился онъ опять къ Егору, что то припомнивъ. — А куда ты дѣлъ семьдесятъ оленей, которыхъ получилъ отъ моего брата за дѣвку? Неужели всѣхъ проигралъ въ карты?

— Полно безумное говорить! — разсердился Егоръ. — И одного не проигралъ въ карты! Все на водку ушло и теперь на водку идетъ! Полно кричать! Хочешь пить? Вотъ моя бутылка! Пей!

И онъ поставилъ на столъ бутылку, вынутую изъ-подъ полы, которую успѣлъ пріобрѣсти отъ Васьки, какъ послѣ я узналъ, въ обмѣнъ за одного изъ десяти пряговыхъ оленей, еще уцѣлѣвшихъ у него отъ прежняго стада.

Пирующіе приходили и уходили. Только Ранаургинъ не слѣдовалъ за ними и печально сидѣлъ въ опустѣвшемъ пологу. Васька тоже остался и пододвинулся къ сыну Рукквата.

— Зачѣмъ это Эттыгинъ съ тобой такъ худо разговариваетъ? — подзадоривалъ онъ молодого пастуха. Пьяный худо разговариваетъ, трезвый худо разговариваетъ… Зачѣмъ слушаешь, какъ тебѣ говорятъ худыя слова, будто ты дѣвка?..

Ранаургинъ поддакивалъ, но плохо слушалъ слова Васьки. Онъ думалъ о боченкѣ, который унесли изъ полога, и соображалъ, сколько тамъ еще осталось и достанется ли на его долю хоть нѣсколько капель. У чукчей считается большой обидой, если при выпивкѣ кому нибудь изъ присутствующихъ не поднесутъ ни капли, хотя бы на столько, чтобы замочить губы.

Пьяная компанія вернулась и продолжала попойку. Только Апаная не было.

— Давайте бороться! — кричалъ Егоръ. — Даромъ я тунгусъ, а давайте бороться! Я хоть старый человѣкъ, а постою за себя!

— Э, врешь! Русскіе лучше васъ! — сказалъ Ѳедоръ, блеснувъ единственнымъ глазомъ. — Если станемъ бороться, — да мы всю землю вашей спиной вымѣряемъ! Вотъ давайте лучше побѣжимъ

до Лакеева объ закладъ, кто кого покинетъ! Ставлю десять рублей! А станемъ бороться, — да мы отъ васъ лоскутьевъ не найдемъ!.. Правда Васька? — спросилъ онъ казака.

Будь здѣсь какіе нибудь чукчи поудалѣе, дѣло не обошлось бы безъ драки, но, какъ нарочно, Эттыгинъ и его пастухи были люди слишкомъ ничтожные, чтобы состязаться съ Ѳедькой.

— Ты, Пуккаль, слушай и молчи! — ядовито заговорилъ Эттыгинъ. — Когда русскіе говорятъ, ты молчи и бойся, потому что они лучше тебя. Когда русскіе и тунгусы говорятъ тебѣ съ обидой, ты молчи и бойся, какъ трусливая дѣвка!

Но Пуккаль дѣйствительно молчалъ, несмотря на всѣ поддразниванія старика.

— Гдѣ Апанай? — вдругъ спросилъ Эттыгинъ съ замѣтнымъ безпокойствомъ. — Почему онъ не пьетъ съ нами? Пойдемъ искать его!

Вся толпа опять вылѣзла изъ полога. Я послѣдовалъ за ними. Апаная мы нашли въ сосѣднемъ пологу, гдѣ онъ сидѣлъ у лейки и угощалъ самъ себя водкой изъ чашки, которую ему удалось купить у казака. Онъ наливалъ изъ чашки нѣсколько капель въ рюмку, ставилъ ее на тарелку, потомъ приглашалъ самъ себя выпить, какъ будто обращаясь къ постороннему лицу, бралъ рюмку, подносилъ ее ко рту съ невнятнымъ бормотаніемъ и дѣлалъ медленный глотокъ. Все это имѣло цѣлью по возможности продолжить наслажденіе напиткомъ, ибо въ чашкѣ оставалось уже очень мало.

Однако, увидѣвъ эти манипуляціи, Эттыгинъ замѣтно струсилъ. «Не надо худое думать! — заискивающе сказалъ онъ шаману. — Лучше выпей!» И онъ налилъ большой чайный стаканъ и поднесъ его Апанаю.

— И боченокъ тоже твой! Онъ поставилъ деревянный бочонокъ около шамана на оленью шкуру, предварительно встряхнувъ его, чтобы доказать, что въ немъ есть еще водка.

Апанай величественно принялъ стаканъ.

— То то! — сказалъ онъ. — Не надо слишкомъ много говорить! Пей да молчи! А съ шаманами не ссорься. — Пойдемъ опять въ твой пологъ! — прибавилъ онъ, мимоходомъ допивая и свою чашку и подхвативъ боченокъ подъ мышку. Мы вернулись въ пологъ Эттыгина, который все таки былъ больше. Попойка дошла до апогея.

Егоръ припалъ ко мнѣ на грудь и совалъ мнѣ въ ротъ свои мокрые усы, вонявшіе сивухой.

— Начальникъ! — говорилъ онъ. — Я знаю, ты хочешь ѣхать далеко. Дай мнѣ четыре рубля, и я призову тебѣ на помощь всѣхъ своихъ духовъ. И того, что клекочетъ, какъ щеглокъ, и того, что

каркаетъ, какъ воронъ, и того, что стучитъ, какъ желна, и того, что кичетъ, какъ лебедь!.. Ты вѣдь знаешь!

Компанія мало по малу расходилась, одолѣваемая опьяненіемъ и сномъ. Мишка, который все время смотрѣлъ на эти дикія сцены широкораскрытыми, немного испуганными глазами, задремалъ въ уголку, съежившись, какъ котенокъ. Ѳедоръ ушелъ спать въ пологъ Эура.

Оттва уложила въ другомъ углу двухъ своихъ маленькихъ сыновей и приготовляла ложе для своего властелина. Васька и Анюша легли тутъ же рядомъ. Я кое какъ примостился, протянувъ ноги къ тому углу, гдѣ скорчился Мишка. Егоръ сѣлъ посреди полога, на небольшомъ мѣстечкѣ у лейки, которое обыкновенно оставляется не занятымъ, и объявилъ, что тоже хочетъ остаться здѣсь и будетъ спать сидя.

Устроивъ ложе, т. е. расправивъ барьеръ изъ мѣшковъ, служившій изголовьемъ, и притащивъ огромное одѣяло изъ толстыхъ оленьихъ шкуръ. Оттва привела откуда то Эттыгина, стащила съ него одежду и стала укладывать его, какъ ребенка.

Но у Эттыгина были совсѣмъ другіе планы.

— Не хочу съ тобой спать! — кричалъ расходившійся старичишка. — Ты старая! У тебя кожа сморщилась, какъ опаленная ровдуга[109]. Пойду къ ламуткѣ! Пусть у меня будетъ три жены! — И, откинувъ одѣяло, онъ, совершенно нагой, быстро выползъ изъ полога.

Васька безпокойно заворочался съ боку на бокъ.

— Ты главная жена! — сказалъ онъ бабѣ, которая лежала въ нерѣшимости, не зная, что предпринять. — Ты ему столько дѣтей нарожала, а онъ тебя покидаетъ для какой то ламутской шлюхи!

Слово его вывели Оттву изъ нерѣшительнаго состоянія. Сбросивъ въ свою очередь одѣяло, она предстала предъ нами, во всемъ ужасѣ своей наготы, какъ чукотская венера, выходящая изъ груды оленьихъ шкуръ, и не обращая на насъ особаго вниманія, стала подвязывать длинные оборы своихъ мѣховыхъ сапогъ, потомъ натянула на себя свое просторное платье и, въ свою очередь, вышла изъ полога въ погоню за невѣрнымъ мужемъ. Черезъ нѣсколько минутъ она вернулась, таща Эттыгина за загривокъ, какъ кошка тащитъ котенка. Онъ по прежнему былъ нагъ, какъ Адамъ до грѣхопаденія.

— Спи тутъ! — сказала она, съ силой бросая его на прежнее мѣсто.

— Харэм, Харэм, Харэм! Не стану, не стану, не стану! — кричалъ Эттыгинъ. — И онъ опять нырнулъ изъ подъ одѣяла.

— Ты чего убѣгаешь? — сказалъ Егоръ со смѣхомъ ему въ догонку.

Но Эттыгинъ не слушалъ увѣщаній. Это была отвратительная, и вмѣстѣ съ тѣмъ забавная сцена: три раза Эттыгинъ убѣгалъ къ ламуткѣ, и три раза Оттва извлекала его изъ запретнаго Эдема и водворяла на законное мѣсто.

Не дожидаясь окончанія этой оригинальной борьбы, я забылся тяжелымъ и безпокойнымъ сномъ. Егоръ раздумалъ спать сидя и примостился поперекъ двухъ супружескихъ паръ, положивъ голову на постель Эттыгина, а ноги протянувъ прямо на Ваську. Пуккаль и Апанай еще ходили по стойбищу. Засыпая, я слышалъ ихъ пьяные голоса, распѣвавшіе дикую импровизацію чукотской пѣсни и очень похожіе на волчій вой.

На другой день пьяная компанія проснулась довольно поздно. Эттыгинъ, трезвый и мрачный, немедленно приступилъ къ выполненію тѣхъ обязательствъ, которыя онъ молча взялъ на себя вчера, выпивая Ѳедъкину водку.

Ѳедькѣ надо было убить шесть оленей. Кромѣ того, по какому то странному разсчету, оказалось, что за водку, взятую у казака Егоромъ и Апанаемъ, приходится убивать оленей тоже Эттыгину. Одинъ изъ десяти пряговыхъ оленей Егора на этотъ разъ спасся отъ угрожавшей ему участи. Васькѣ нужно было убить трехъ оленей, принимая во вниманіе тѣ четыре чашки, которыми онъ угостилъ Эттыгина вечеромъ.

Ранаургинъ и Эуръ пригнали съ пастбища одно изъ стадъ, принадлежавшихъ Эттыгину; нѣсколько сотъ оленей сгрудились на одномъ концѣ площадки, гдѣ было посвободнѣе, и испуганно смотрѣли на людей, копошившихся въ лагерѣ. Когда кто нибудь приближался къ нимъ, они спѣшили перебѣжать на другой конецъ площади. На срединѣ площади образовалось нѣчто въ родѣ арены, по обѣимъ сторонамъ которой стояли Эуръ и Пуккаль съ длинными арканами въ рукахъ. Ранаургинъ на своихъ длинныхъ ногахъ бѣгалъ взадъ и впередъ, стараясь перегонять оленей черезъ арену самыми небольшими группами. Ему помогали и Эттыгинъ, и тунгусы, и русскіе гости, и бабы, и даже старая Отаутъ, чуть ковылявшая на своихъ дряхлыхъ ногахъ. Нужно было девять оленей, заранѣе обреченныхъ на закланіе, прогнать мимо стоявшихъ впереди пастуховъ, на разстояніи, удобномъ для того, чтобы бросить арканъ. Но дѣло шло медленно. Олени ни за что не хотѣли повиноваться и все устремлялись не туда, гдѣ стерегли ихъ Пуккалъ и Эуръ. Но Эуръ, улучивъ минуту, кинулъ арканъ и поймалъ молодую сѣрую важенку, пробѣгавшую мимо.

Почувствовавъ на своихъ рогахъ арканъ, важенка немедленно принялась выдѣлывать отчаянные прыжки и курбеты, оказывая ожесточенное сопротивленіе власти человѣка. Двое чукчей подбѣжали на помощь и, осторожно перебираясь по аркану,

успѣли схватить ее за рога. Эуръ, вынувъ ножъ изъ-за пояса, подошелъ къ важенкѣ и ловкимъ ударомъ ткнулъ ее прямо въ сердце. Люди, державшіе арканъ, старались такъ натянуть его, чтобы убитое животное упало раной вверхъ. Эуръ омочилъ свои пальцы въ свѣжей крови и, зачерпнувъ, немного, брызнулъ на закатъ солнца.

Когда всѣ олени были убиты, подошли бабы и стали потрошить. Вынувъ внутренности и вываливъ въ котелъ моняло изъ большого желудка, они наливали туда кровь, черпая ее ковшемъ изъ оленьяго брюха. Моняло предназначалось для ихъ собственнаго употребленія. Изъ брюха каждой важенки онѣ доставали совершенно сформировавшагося выпоротка, длиннаго и тощаго, обросшаго скользкой черной шкуркой. Ихъ было шесть, ибо Эттыгинъ велѣлъ убить трехъ быковъ и шесть важенокъ. Важенки были меньше, а потому дешевле. Эттыгинъ мрачно посмотрѣлъ на выпоротковъ.

— Вмѣсто одного оленя, двухъ убиваю! — сказалъ онъ Ѳедькѣ. — На новый мѣсяцъ родились бы, на своихъ ногахъ ходили бы!

Выпоротковъ чукчанки тоже отложили въ сторону. Кромѣ того, у каждаго оленя онѣ очень искусно вырубили и выломали темянную кость вмѣстѣ съ рогами, укрѣпленными на ней. Это предназначалось для весенняго праздника роговъ, который долженъ былъ скоро наступить.

Когда оленьи туши были совсѣмъ готовы, Ѳедоръ и Мишка поспѣшно нагрузили свои нарты. Они торопились уѣхать, чтобы добраться до Ермолова, лежавшаго верстахъ въ пятидесяти, хотя бы не позже полуночи. Анюша осталась на стойбищѣ, чтобы пожить нѣсколько дней вмѣстѣ съ мужемъ.

Проводивъ русскихъ гостей, Эттыгинъ по вчерашнему усѣлся у шатра и сталъ скоблить свои неизмѣнныя палочки. Пастухи угнали стадо въ лѣсъ. Бабы принялись за обычныя работы. Въ простотѣ моего сердца я полагалъ, что попойка окончена и что опять началась обычная трезвая и трудовая жизнь.

Однако, Васька, тоже по вчерашнему сидѣвшій на пнѣ съ неизмѣнной трубкой въ зубахъ, скоро вывелъ меня изъ этого заблужденія.

— Вотъ сегодня закурятъ, такъ закурятъ! — сказалъ онъ, подходя ко мнѣ. — Вчера манонько выпили, а сегодня закрутятъ ужъ по настоящему!

— Какъ закрутятъ? — спросилъ я. — А водка гдѣ?

— Вона! — отвѣтилъ Васька. — Водка куда дѣвается? У стараго чорта за пологомъ цѣлая фляга спрятана. Онъ у Петрушки взялъ за казенныхъ оленей. Сами, однако, знаете!

Дѣйствительно, мнѣ было извѣстно, что казакъ, закупавшій оленей для Среднеколымской казачьей команды, заплатилъ Эттыгину за тридцать два оленя флягу спирта, но я какъ-то выпустилъ изъ виду это обстоятельство.

— Вотъ посмотрите, какъ они сегодня будутъ чертить! — продолжалъ Васька. — Старый-то дьяволъ русскую водку выдудилъ, такъ хорошо раззарился! Теперь прильнется къ флягѣ, его и лошадьми не отодрать!

На вискѣ послышался топотъ и скрипъ полозьевъ, и два огромные оленя, какъ вихрь, взлетѣли по косогору, увлекая за собой маленькую, словно игрушечную, *турку*, на которой сидѣлъ верхомъ, толкаясь объ снѣгъ ногами, здоровый чукча въ длинной желтой кухлянкѣ съ волчьимъ колпакомъ.

— Видишь! какъ воронъ на падаль, такъ и явился! — замѣтилъ Васька, набивая опять трубку. — У нихъ, однако, на водку особенный нюхъ есть!

Пріѣхавшій оказался двоюроднымъ братомъ Оттвы, старшой жены Эттыгина. Стойбище его находилось верстахъ въ восьмидесяти, но такое разстояніе для чукчей ничего не значитъ. Онъ выѣхалъ утромъ и намѣревался переночевать, а на другое утро уѣхать домой.

Началась обычная вечерняя суета, происходящая всегда по одному и тому-же образцу и закончившаяся продолжительнымъ чаепитіемъ и обильной трапезой. Какъ только послѣдній кусокъ былъ съѣденъ, Эттыгинъ вышелъ изъ полога и скоро вернулся съ большой бутылкой, наполненной крѣпкимъ спиртомъ. Чукчи не признаютъ необходимости «сыропить» сердитую воду.

Попойка началась также, какъ и вчера. Чукчи пили спиртъ чашками, какъ воду, не думая о закускѣ.

— А знаешь, зачѣмъ я пріѣхалъ, — сказалъ Кэоульгинъ (таково было имя новаго гостя), обращаясь къ Эттыгину. — Арара приказалъ привезти ламутскую бабу!

Васька сдѣлалъ движеніе, какъ будто его укусили.

— Зачѣмъ Арарѣ ламутка? — спросилъ онъ отрывисто.

— Не Арарѣ, Якулю! — отвѣтилъ Кэоульгинъ. — Арара голова. Большой человѣкъ на тундрѣ… Якуль ему жаловался, говоритъ: «жену мою отняли!» Нехорошо! Она вѣдь его купленная, да и попъ вѣнчалъ!

— А тебѣ какое дѣло до Якуля? — спросилъ Васька грубо.

— Якуль мой другъ! Якуль мнѣ, все равно братъ, больше чѣмъ братъ! — живо возразилъ Кэоульгинъ.

Васька насупился и замолчалъ. Выпивка подвигалась впередъ быстрѣе вчерашняго. Видно было, что въ водкѣ нѣтъ недостатка. Эттыгинъ приносилъ изъ тайника, скрытаго гдѣ-то за пологомъ,

бутылку за бутылкой. Гости, которымъ было душно въ пологу, вылѣзли въ переднее отдѣленіе шатра и сѣли на разостланныхъ шкурахъ передъ огнищемъ, на которомъ еще тлѣло нѣсколько углей.

Сегодня въ попойкѣ принималъ большое участіе женскій элементъ, вчера пребывавшій совсѣмъ на заднемъ планѣ. Старая Отаутъ, выпивъ нѣсколько рюмокъ, скоро опьянѣла.

— У меня нѣтъ ни отца, ни матери, ни мужа, ни дѣтей! — запѣла она жалобнымъ голосомъ. — Отецъ и мать ушли, когда эти большія лиственницы были еще тонки, какъ оленьи ребра…

Она широкимъ жестомъ показала на лѣсъ, виднѣвшійся сквозь отверстіе полуоткрытаго шатра.

— Мужа и сыновей унесъ Великій Моръ, чтобы они были пастухами при его красныхъ оленяхъ. А я осталась одна, какъ сухое дерево среди тундры… Когда Отаутъ сидѣла одна у порога своего пустого шатра и умъ ея былъ смутенъ отъ слезъ, пришелъ съ запада лживый человѣкъ и сказалъ: «поди, Отаутъ, со мной! Я буду тебѣ сыномъ!» Лживый человѣкъ, лукавый человѣкъ, любилъ не Отаутъ, а ея оленей, но безумная старуха повѣрила словамъ и покинула родные камни и могилы, и ушла на чужую западную тундру!.. Никогда, никогда не будетъ у Отаутъ сына на западной тундрѣ!..

Старуха пѣла эти жалобы протяжнымъ речитативомъ, разбивая ихъ на строфы и сопровождая каждую строфу самыми горькими рыданіями.

Подъ лживымъ человѣкомъ подразумевался Эттыгинъ. Старуха была родомъ съ «каменнаго» берега, но Эттыгинъ сманилъ ее съ собою на тундру, послѣ того, какъ оспа унесла ея мужа и дѣтей. Кэоульгинъ сидѣлъ рядомъ и пѣлъ дикимъ голосомъ:

— «Вотъ моя тру-у-бка, тру-у-убка, тру-у-у-у-бка. А въ ней та-ба-акъ, таба-акъ, та-ба-акъ!»

Но старуха, окончивъ свою импровизацію, совсѣмъ разрыдалась и упала къ нему на грудь, повторяя свою вѣчную жалобу на одиночество. Кэоульгинъ нѣжно обнималъ ее; отъ сочувствія ея слезамъ онъ и самъ прослезился, и замочилъ ей все лицо.

Отъ Кэоульгина старуха перешла къ Васькѣ и, заключивъ его въ объятія, снова стала произносить свои причитанія тѣмъ же раздирающимъ речитативомъ.

— Я одна, всегда одна! — повторяла она. — Мужъ и дѣти меня покинули! Зачѣмъ они ушли, а я осталась? Мои зубы не могутъ жевать, руки не въ силахъ мять кожу, глаза вѣчно плачутъ и не видятъ ничего! Когда падаетъ снѣгъ на мою шею, мнѣ

холодно, когда солнце жжетъ мнѣ голову, мнѣ жарко!.. Зачѣмъ старымъ глазамъ смотрѣть на солнце?.. Лучше для Отаутъ попросить послѣдняго удара…

Возможно, что Эттыгинъ воспользовался бы намекомъ, заключавшимся въ этихъ словахъ, если бы не было русскихъ гостей. Старая Отаутъ не разъ уже подумывала о спасительномъ ударѣ ножа или копья, освобождающемъ отъ старческаго бремени, невыносимаго при суровыхъ условіяхъ этой жизни, но еще не могла принять опредѣленнаго рѣшенія. Но въ присутствіи русскихъ гостей словамъ старухи нельзя было дать дальнѣйшаго развитія. Эттыгинъ ограничился только тѣмъ, что въ знакъ одобренія налилъ большую чашку водки и подалъ старухѣ. Эпитеты лживый и лукавый, относившіеся къ его особѣ, повидимому, мало задѣли его. Старуха выпила и окончательно опьянѣла.

Придвинувшись къ огницу, она наклонилась надъ тлѣвшими углями, дѣлая руками странные жесты и произнося невнятныя заклинанія. Она молилась огню, чтобы онъ даровалъ ей скорое свиданіе съ ея родными. Тѣло ея склонялось все болѣе и болѣе, и она окончила бы тѣмъ, что упала бы на горячіе угли, если бы ламутка и другая баба не схватили ее за платье и не оттащили въ сторону. Видя, что она не шевелится и находится уже въ совершенно безсознательномъ состояніи, онѣ взяли ее за руки и за ноги и утащили въ ея пологъ, стоявшій рядомъ.

Оттва и другія бабы, которыхъ Эттыгинъ угощалъ все-таки очень скупо, тѣмъ не менѣе, становились все возбужденнѣе и веселѣе. Развязность ихъ рѣчей и движеній замѣтно увеличивалась. Очевидно, веселье мужчинъ дѣйствовало на нихъ заражающе, или же онѣ черпали вдохновеніе изъ какого-то неизвѣстнаго источника. Оттва явно была навеселѣ и, прищелкивая пальцами, кружилась на одномъ мѣстѣ, тяжело притопывая своими неуклюжими сапогами. Васька, выпившій три или четыре чашки, выглядѣлъ съ виду совершенно трезвымъ. Анюша, питавшая великое прозрѣніе къ *чукчишкамъ*, ушла въ пологъ и легла спать.

Вдругъ Кэоульгинъ, замѣтивъ, что ламутка не показывается обратно, всталъ съ своего мѣста и вышелъ изъ шатра. Васька вскочилъ, какъ уколотый, и послѣдовалъ за нимъ. Выпивающее общество разбрелось по угламъ. Я тоже всталъ и вышелъ вслѣдъ за Васькой. На дворѣ уже не было никого, но изъ полога старухи слышались громкіе голоса, и я вошелъ туда.

Васька и Кэоульгинъ сидѣли другъ противъ друга и вели разговоръ, повидимому, довольно дружелюбный, но тонъ голосовъ повышался, и дѣло грозило окончиться дракой. Ламутки

не было, а Отаутъ лежала навзничь, неподвижная, какъ трупъ, крѣпко сомкнувъ глаза и широко раскрывъ свои беззубый ротъ.

Кэоульгинъ былъ настроенъ примирительно. Васька, напротивъ, считалъ, что новый гость вторгается въ его владѣнія, и потому въ свою очередь задиралъ его.

— У меня сердце есть и мужество есть! — говорилъ Васька. — И я никого не боюсь! Никакихъ людей вашего рода я никогда не боялся!..

— И я не боюсь никого! — отвѣчалъ гость. — Ты все равно мой братъ! У насъ сердце равное!

— Сердце мое совершенно крѣпкое! — кричалъ Васька. — Нисколько я не пугаюсь! Не боялся я «кавралиновъ», а васъ и подавно! И раньше этого постоянно ѣздилъ къ вамъ и не боялся! Вашъ родъ плохой! Слабый вашъ родъ!

— Вотъ и я никого не боюсь! — кричалъ чукча. — У насъ сердце совсѣмъ одинаковое! Мы два брата!

Такіе переговоры продолжались до тѣхъ поръ, пока Кэоульгинъ, раздраженный приставаніями, не объявилъ, что у него сердце больше.

— А, больше?.. Могу я тебѣ показать, что не больше, а меньше! — И не говоря лишняго слова, Васька полѣзъ на соперника со сжатыми кулаками. Кэоульгинъ приготовилъ ему достойную встрѣчу, и, сцѣпившись, какъ собаки, они стали кататься и кувыркаться по пологу, рискуя совсѣмъ задавить неподвижную старуху. Пользуясь уклономъ почвы, я выждалъ удобную минуту и вытолкнулъ живой клубъ изъ полога наружу.

Очутившись въ переднемъ шатрѣ, они выбѣжали вонъ, ища болѣе удобной арены. Я поспѣшно послѣдовалъ за ними.

Богатый чукча с двумя женами.

Противники уже стояли другъ противъ друга въ боевой позиціи.

— Я за ламутскую бабу заплатилъ! — кричалъ Васька. — Поллахтака! Фунтъ табаку! Кирпичъ чаю! Я ее купилъ! Она все равно моя жена! Ты зачѣмъ къ ней лѣзешь? Пока я тутъ живу, ни одинъ чукча не отниметъ ее!

— Я силенъ, я отниму! — кричалъ чукча. — Ты казакъ, ѣздишь на собакахъ, умъ у тебя все равно, какъ у собаки! Собака! Собака! Собака! На! На! На!

— Ты хочешь драки? — кричалъ Васька. — Хочешь драки? Давай! Я могу!

Противники сняли кукашки и, швырнувъ ихъ въ сторону, кинулись другъ на друга. Я сдѣлалъ попытку растащить ихъ.

— Не мѣшай, баринъ! — сердито крикнулъ Васька.

Онъ перервалъ пополамъ свою ветхую рубаху, чтобы уровняться съ чукчей, и бросилъ обрывки на снѣгъ.

Противники опять встали другъ противъ друга. Видъ ихъ былъ ужасенъ. Нижняя часть тѣла, одѣтая въ толстую мохнатую одежду, какъ-то нелѣпо оттѣняла верхнюю, совершенно обнаженную и несоразмѣрно тонкую. Рябое и безобразное лицо Васьки совершенно исказилось отъ ярости, на углахъ рта выступила пѣна. Его худое и корявое тѣло, повидимому, зябло на морозѣ, и онъ каждый разъ передергивалъ плечами, безсознательно стараясь укрыть то треугольное мѣстечко между

лопатками, которое у обнаженнаго человѣка зябнетъ больше всего… Короткіе усы Кэоульгина ощетинились, какъ у кота. Его большая голова моталась во всѣ стороны, зубы свѣтились, какъ у волка.

Онъ, повидимому, совершенно не ощущалъ холода и бѣгалъ, какъ безумный, вокругъ противника, осыпая его бранью и восхваляя свое мужество.

Наконецъ, они снова бросились другъ на друга и стали бороться. Топая ногами по снѣгу, они то толклись на одномъ мѣстѣ, то передвигались впередъ или кидались въ сторону, силясь пригнуть противника къ землѣ. По временамъ одинъ схватывалъ другого за кожу и, собравъ ее въ рукѣ, какъ будто это была одежда, старался приподнять противника вверхъ.

Васька, очевидно, былъ сильнѣе Кэоульгина и скоро подмялъ его подъ себя; но чукча, ловкій, какъ кошка, мгновенно высвободился, и, сцѣпившись клубомъ, враги стали кувыркаться по сугробамъ, перекатываясь другъ черезъ друга и обминая своими обнаженными плечами каждое мягкое мѣстечко на снѣгу. Черезъ минуту они уже опять стояли на старомъ мѣстѣ, другъ противъ друга, въ боевой позиціи.

Я видѣлъ, что дѣло не окончится для Васьки добромъ. Плечи его судорожно подергивались, шаровары были набиты снѣгомъ, затискавшимся за поясъ.

— Надо ихъ разнять! — сказалъ я Пуккалю и Ранаургину, которые стояли рядомъ со мной, съ наслажденіемъ любуясь единоборствомъ. «Эгей!» — дружелюбно сказали пастухи. Неожиданное зрѣлище привело ихъ въ превосходнѣйшее расположеніе духа. Они осторожно зашли сзади Кэоульгина и, схвативъ его внезапно за руки, потащили къ шатру Эура, стоявшему поодаль. Васька, повидимому, былъ доволенъ такимъ оборотомъ дѣла. Молча надѣвъ свою кукашку, онъ опять полѣзъ въ пологъ старухи, куда, мимоходомъ сказать, недавно пролѣзла и ламутка. Она помогала старухѣ исполнять тяжелыя обязанности женскаго хозяйства, и пологъ Отаутъ былъ ея жилищемъ.

Пастухи дотащили Кэоульгина до входа въ шатеръ, но онъ выразилъ рѣшительное нежеланіе войти туда и принялся даже кусаться и лягаться ногами. Они были принуждены оставить его снаружи и сами остались вмѣстѣ съ нимъ. Кэоульгинъ стоялъ, широко разставивъ ноги и опираясь плечами на людей, державшихъ его за руки. Оставшись на свѣжемъ воздухѣ, онъ успокоился и больше не пытался вырваться, остатокъ-же своей ярости изливалъ въ цѣломъ потокѣ вызововъ и бранныхъ словъ. Я стоялъ неподалеку и смотрѣлъ на его нелѣпую полуобнаженную фигуру. Его неуклюжее тѣло напоминало уродливыя формы

деревянныхъ божковъ, вырѣзываемыхъ эскимосскими или негритянскими художниками. Холода онъ, очевидно, вовсе не ощущалъ, и ему въ голову не пришло потребовать свою одежду, лежавшую на снѣгу. Наскучивъ вызывать отсутствующаго врага, онъ сталъ обращаться ко мнѣ:

— Ты все-равно русскій! — кричатъ онъ. — Давай, помѣряемъ силу! — Если ты мужчина и у тебя не бабье сердце, давай, попробуемъ, кто изъ насъ лучше!.. Ты писарь! Ты вѣчно пишешь! Я пишу лучше тебя! — кричалъ онъ, думая уязвить меня въ самое чувствительное мѣсто моего самолюбія. — Давай вмѣстѣ станемъ писать письмо на этомъ снѣгу!

Я уступилъ Кэоульгину поле сраженія и направился въ пологъ Эттыгина. Мнѣ было холодно, несмотря на двойную мѣховую одежду. Въ пологѣ были Эттыгинъ и его двѣ жены, Пуккаль и Ранаургинъ. Анюша спала въ углу сномъ праведницы. Эттыгинъ былъ совершенно пьянъ и съ противнымъ смѣхомъ говорилъ самыя откровенныя сальности, слишкомъ рискованныя даже для чукотскаго обихода.

Но бабы были въ восторгѣ и шумно хохотали. Оттва, въ порывѣ неудержимаго веселья, прищелкнула пальцами и, выдернувъ изъ за пазухи черную бутылку, наполненную до краевъ, потрясла ею надъ головой, подмигивая Эттыгину. Она, очевидно, разсчитывала, что смѣлость ея сойдетъ благополучно, ибо ея повелитель находится въ слишкомъ игривомъ настроеніи, чтобы сердиться на что-бы то ни было. Но ея разсчетъ не оправдался.

— Зачѣмъ женщины смѣются, когда я говорю? — неистово завопилъ Эттыгинъ.

Его охватилъ припадокъ неудержимой ярости, присущей каждому чукчѣ въ пьяномъ состояніи.

— Зачѣмъ женщины говорятъ такъ много словъ, когда мы вдвоемъ разговариваемъ?.. Зачѣмъ женщины пьютъ водку?.. Оленій Богъ не велѣлъ, чтобы женщины пили водку! Отчего онѣ пьяны?.. Будьте прокляты!

И, не долго думая, онъ схватилъ сковороду, наполненную растопленнымъ жиромъ, пылавшимъ большимъ и яркимъ пламенемъ, и бросилъ ее въ голову Оттвѣ, вмѣстѣ съ деревянной подставой. Въ пологѣ воцарилась тьма, а во тьмѣ началась борьба. Я слышалъ пыхтѣніе борющихся, переворачиваніе тѣлъ, сплетенныхъ вмѣстѣ, глухіе удары кулаковъ, ругательства и женскій визгъ. Подобравъ кое-какъ лейку, я поспѣшно выскочилъ изъ полога и зажегъ ее отъ угольевъ на огнищѣ, еще тлѣвшихъ подъ пепломъ. Вернувшись въ пологъ, я увидѣлъ, что маленькій Эттыгинъ сидитъ верхомъ на своей огромной женѣ и колотитъ ее

кулаками по обнаженной спинѣ.

— Откуда у тебя бутылка? — кричалъ онъ въ изступленіи. Ты украла у меня бутылку водки! — и онъ старался вырвать у нея спорную посудину. Ранаургинъ и Пуккаль помогали ему, но не очень усердно. Они, пожалуй, предпочли бы полюбовно распить эту бутылку вмѣстѣ съ ея владѣтельницей. Оттва не защищалась, но упорно отстаивала свою драгоцѣнность, запихнувъ ее въ сокровенныя глубины своихъ косматыхъ шароваръ и какъ будто даже обвившись вокругъ нея своимъ долгимъ тѣломъ.

Видя, что съ ней ничего нельзя подѣлать, разсвирѣпѣвшій старикъ схватилъ посохъ, валявшійся на шкурахъ около лейки. Оттва только крѣпче стиснула зубы и зарылась головой въ широкій воротъ кэркэра.

Видя, что дѣло грозитъ зайти слишкомъ далеко, я счелъ необходимымъ вмѣшаться и, въ свою очередь, сталъ кричать на Эттыгина, требуя, чтобы онъ немедленно оставилъ въ покоѣ бабу.

— Я только хотѣлъ отнять у нея бутылку, — сказалъ старикъ. — Зачѣмъ женщинамъ пить краденую водку? — Однако, онъ послушался и выпустилъ Оттву. Она забилась въ уголъ, какъ избитая собака, и горько плакала, сжимая завѣтную бутылку въ глубинѣ своихъ одеждъ.

— Развѣ я ребенокъ, что ты меня бьешь? — говорила она. Она была горда своимъ положеніемъ старшей жены, народившей мужу столько здоровыхъ дѣтей, и не ожидала съ его стороны такой жестокости.

Анюша проснулась отъ шума и сонно протирала глаза.

— А гдѣ твой Васька? — спросилъ я, не безъ задней мысли.

— Гдѣ будетъ? — отвѣтила она просто. — У ламутки *однако*!

— Да развѣ тебѣ ничего, — спросилъ я съ удивленіемъ, — что онъ къ другимъ ходитъ?

— И, баринъ! — сказала баба. — Походитъ, походитъ, такой-же назадъ вернется! *Ихъ* Кауровыми не сдѣлаетъ и моего отъ меня не отниметъ. Я какъ была Каурова, такъ и останусь Каурова! Потому я вѣнчанная!

Предъ такой широкой терпимостью оставалось только развести руками.

Молодыя бабы принесли сковороду, наполненную кусками варенаго мяса. Чукчи, торопившіеся при вечерней ѣдѣ, не успѣли хорошенько поѣсть и теперь опять проголодались. Эттыгинъ заискивающе посмотрѣлъ на меня.

— Ты не пилъ съ нами! — сказалъ онъ. — Съѣшь хоть кусокъ изъ моихъ рукъ!

И отломивъ отъ запаса, лежавшаго на сковородѣ лейки, кусокъ грязнаго сала, къ тому-же совершенно обвалянный

оленьей шерстью, онъ прибавилъ къ нему кусочекъ мяса, смялъ все это въ комокъ въ своей ужасной рукѣ и сдѣлалъ попытку втиснуть его въ мой ротъ. Я чуть не схватилъ его за горло.

Самый видъ этой черной лапы, съ затиснутымъ въ ней угощеніемъ, вызывалъ во мнѣ рвоту. Эттыгинъ, видя мое сопротивленіе, бросилъ на меня удивленный взглядъ, потомъ широко улыбнулся, сунулъ комокъ въ свой собственный ротъ, пожевалъ, проглотилъ и почмокалъ губами, чтобъ показать, какъ это вкусно. Оттва, не переставая плакать, вытянула руку и, схвативъ со сковороды огромную кость, принялась грызть ее, какъ волчица, дѣйствуя и зубами, и ножомъ. Но слезы мѣшали ей Ѣсть. Отрѣзавъ одинъ или два куска, она провела ножемъ у себя подъ носомъ и продолжала разрѣзывать мясо, даже не обтеревъ запачканнаго клинка… Я положилъ кусокъ, который держалъ въ рукѣ. Меня тошнило.

Тотчасъ-же послѣ ужина попойка возобновилась. На этотъ разъ угощалъ Пуккаль, который купилъ у Эттыгина двѣ бутылки за пару «чемодановъ» и выставилъ ихъ обществу. Пирующіе опять покинули пологъ Эттыгина и ушли въ шатеръ Эура, гдѣ Пуккаль игралъ роль второго хозяина.

На дворѣ снова раздались крики. То были недавніе противники, встрѣтившіеся у входа въ шатеръ.

— Собака, собака, собака! — кричалъ чукча по прежнему.

— А ты волкъ, волкъ! Не взять тебѣ ламутки! Чего пристаешь, по волчьи? Не взять тебѣ ламутки! Я за нее выкупъ далъ!

— Собака, собака, собака! — повторялъ чукча, еще ожесточеннѣе.

— А ты волкъ, волкъ!.. Ты волкъ, а я медвѣдь! Не боюсь никого! На своемъ владѣніи, я, какъ медвѣдь, противъ всѣхъ чукчей!

Мнѣ надоѣло слушать эту перебранку, и я вернулся въ шатеръ Эттыгина. Нѣсколько бабъ суетились въ переднемъ отдѣленіи, занимаясь совершенно необычайнымъ дѣломъ. Онѣ, очевидно, выпили уже бутылку Оттвы и хотѣли достать еще водки.

Долгая Оттва возилась, какъ домовой, въ черномъ и глубокомъ углу, сзади полога. Тытынна стояла на стражѣ, а вторая жена Эттыгина свѣтила Оттвѣ огромной головней, принесенной отъ костра, на которомъ недавно варили пищу, и разсыпавшей вокругъ искры.

Мое появленіе произвело было тревогу, но, узнавъ мое лицо, бабы успокоились. Оттва подняла голову и издали привѣтливо кивнула мнѣ. Она не забыла моего недавняго заступничества. Потомъ она опять принялась за прерванное занятіе. Вытащивъ

флягу изъ подъ какихъ-то саней, она высвободила туго замкнутую пробку при помощи ногтей и зубовъ и, сильными руками приподнявъ грузный сосудъ, налила спирту въ подставленный котелокъ, еще хранившій на стѣнкахъ слѣды «моняльной» каши. Ламутка, изъ за которой на дворѣ происходила борьба, была тоже здѣсь. При невѣрномъ свѣтѣ головни, я увидѣлъ, какъ блестятъ ея глаза, издали слѣдившіе за каждымъ движеніемъ Оттвы.

Мужчины съ криками и шумомъ ходили изъ шатра въ шатеръ. Эттыгинъ упалъ на дворѣ, и обѣ жены дружно потащили его за ноги къ его пологу. Онъ валялся по снѣгу и кричалъ.

— Когда я былъ молодъ, у меня было четыре жены, и мнѣ было хорошо! Теперь у меня двѣ жены, и мнѣ тоже хорошо!

Бабы шумно смѣялись и душили его поцѣлуями.

Маленькій сынъ Оттвы, котораго она впопыхахъ забыла накормить, съ ревомъ бродилъ по стойбищу. Онъ хотѣлъ ѣсть и спать. Но въ однихъ пологахъ было темно, другіе были набиты пьяными, которыхъ крики его пугали. Не находя удобнаго пріюта, онъ растянулся прямо на снѣгу, опираясь головой объ дерево и, спрятавъ поглубже голову въ большой мѣховой капюшонъ своей одежды, заснулъ подъ открытымъ небомъ. Васька и Кэоульгинъ давно уже обнимались и угощали другъ друга водкой изъ Пуккалевой бутылки. Кэоульгинъ называлъ Ваську своимъ братомъ и брачнымъ товарищемъ, вѣроятно, имѣя въ виду именно ламутку. Онъ даже спрашивалъ, не ссорятся-ли люди на дворѣ. Ему казалось, будто онъ недавно слышалъ чьи-то крики и будто кто-то хотѣлъ обидѣть его брата. Но онъ заступится!

— Пускай, пускай, — кричалъ чукча, ударяя правымъ кулакомъ по лѣвой ладони. — Пускай! Горло перерву! — и онъ выразительно щелкалъ своими волчьими челюстями.

Въ шатрѣ Эттыгина, напротивъ, происходила ожесточенная борьба между Оттвой и ея дочерью. Дѣло шло опять о бутылкѣ водки, которую Оттва припрятала себѣ на утреннее похмѣлье, а Тытынна подсмотрѣла и вытащила, собираясь угоститься, какъ слѣдуетъ. Оттва поймала ее на мѣстѣ преступленія и теперь хотѣла отвоевать свою собственность. Старая чукчанка оказалась гораздо болѣе жестокой, чѣмъ колотившіе ее недавно мужчины. Она съ неописанной яростью таскала дочь за волосы и топтала ее ногами. Тытынна не сопротивлялась, но также отчаянно сжимала добычу въ глубинахъ своихъ одеждъ.

— Я тоже хочу пить! — хрипѣла она, стараясь укрыть голову отъ сыпавшихся ударовъ. — Ты мнѣ ничего не давала!

Было уже за полночь. Я вошелъ въ пологъ, зажегъ свѣчу и сталъ устраиваться на ночлегъ, предоставивъ чукчамъ окончить пиръ безъ моего присутствія.

* * *

Кэоульгинъ уѣхалъ рано утромъ, когда я еще спалъ, и увезъ съ собой Авдотью; Васька, по словамъ Эттыгина, очень дружелюбно попрощался съ обоими. Впрочемъ, Кэоульгинъ обѣщалъ, что уговоритъ Якуля заплатить ВаськѢ на Анюйской ярмаркѣ покупную цѣну ламутки.

Черезъ два дня мы перешли Колыму и откочевали на тундру. Васька съ Анюшей жили, какъ примѣрные супруги, и о второй женѣ, купленной за поллахтака и т. д., не говорилось ни слова. Но чукчи долго съ наслажденіемъ вспоминали подробности попойки. Эттыгинъ припряталъ остатокъ спирту и крѣпился, намѣреваясь выгодно сбыть его на ярмаркѣ, гдѣ у «чаунскихъ» или у «носовыхъ» пришлецовъ можно взять по лисицѣ за «разсиропленную» бутылку. Пастухи все время проводили въ стадѣ, ибо олени стали безпокойнѣе. Приближалось время рожденія телятъ, когда для чукотскихъ пастуховъ начинается страда, продолжающаяся всю весну и все лѣто, до тѣхъ поръ, пока воды снова покроются льдомъ, и земля одѣнется толстымъ слоемъ снѣга.

На Рѣкѣ Россомашьей

Изъ впечатлѣній счетчика.

Уже третью недѣлю я проживалъ на верховьяхъ р. Россомашьей у восточной границы чукотскихъ стойбищъ, протянувшихся длинной лентой вдоль сѣвернаго края пріанюйскихъ лѣсовъ на разстояніи около шестисотъ верстъ къ востоку отъ Колымы.

Я только-что окончилъ перепись анюйскихъ чукчей, довольно трудную задачу, для исполненія которой мнѣ пришлось истратить не мало времени и терпѣнія, и теперь, объѣхавъ долгій рядъ стойбищъ отъ Колымы до верховьевъ Сухого Анюя, оставался на одномъ мѣстѣ, ожидая прихода послѣднихъ каравановъ съ Чукотскаго носа, направлявшихся къ Анюю для обычной весенней торговли.

Ѣхать дальше на востокъ было невозможно.

Чаунскіе жители, ближайшія стойбища которыхъ обыкновенно отстоятъ не болѣе, какъ на три дневныхъ перехода отъ границы анюйскихъ поселеній, въ настоящую зиму удалились далеко вглубь пустыни, «убѣгая отъ злого духа болѣзни» по образному выраженію чукчей. Болѣзнь эта была однимъ изъ обычныхъ на полярномъ сѣверовостокѣ простудныхъ повѣтрій, которое минувшимъ лѣтомъ прокатилось по р. Колымѣ и теперь медленно распространялось къ востоку, переходя отъ жительства къ жительству и съ одного горнаго перевала на другой, постепенно покидая старые районы, для того, чтобы захватить новые. Изъ среды чукчей она успѣла выхватить уже не одинъ десятокъ жертвъ.

Поэтому чаунскіе чукчи, не дожидаясь ея прихода, поторопились уйти какъ можно дальше и очистили весь лѣвый берегъ рѣки Чауна, чтобы отдѣлить себя отъ заразы широкой полосой необитаемаго пространства.

По словамъ кавралиновъ, недавно проходившихъ чрезъ ту землю, самое переднее стойбище отстояло отъ рѣки Россомашьей на десять дневныхъ переходовъ по безлюдной безжизненной пустынѣ, лишенной растительности и топлива и ничѣмъ не защищенной отъ свирѣпаго сѣвернаго вѣтра, который прилетаетъ съ моря.

За Чауномъ, впрочемъ, начинался другой округъ — Анадырскій или, если угодно, «независимая чукотская землица», по выраженію древнихъ актовъ, во всякомъ случаѣ такая

территорія, которая къ Колымскому округу не принадлежала и не могла подлежать переписной дѣятельности колымскихъ счетчиковъ.

Поэтому я пересталъ думать о дальнѣйшемъ путешествіи на востокъ, но и возвращаться вспять не особенно торопился. До ярмарки на Островномъ, куда я долженъ былъ пріѣхать для переписи ламутовъ, оставалось еще болѣе мѣсяца, а окружавшіе меня люди и условія жизни были исполнены такого своеобразнаго интереса, какой не всегда можно найти на самыхъ многочисленныхъ стойбищахъ бродячихъ народовъ Колымы.

То были старинныя чукотскія жительства, занятыя ими около двухъ вѣковъ. Населеніе здѣсь было замѣтно гуще, чѣмъ на западѣ у береговъ Колымы, гдѣ чукчи были недавними пришельцами. Жители р. Россомашьей, пріѣзжая въ гости на приколымскія стойбища, съ гордостью разсказывали, что на ихъ родной землѣ «люди многочисленнѣе комаровъ» и «съ одного стойбища можно различить дымъ другого». И дѣйствительно черезъ каждыя пять или десять верстъ можно было увидѣть въ глубинѣ ущелья или на склонѣ сопки не дымъ, а густой бѣлый туманъ, стелющійся надъ чернымъ лѣсомъ, какъ низкое облако, въ знакъ свидѣтельства о многочисленномъ оленьемъ стадѣ, разсыпавшемся внизу по моховищу.

Кромѣ того, въ настоящее время между коренными жителями по обѣ стороны Россомашьей были разсыпаны десятка полтора стойбищъ кавралиновъ. Не обращая особаго вниманія на заразу, которая какъ-то щадила этихъ пришельцевъ, они вели бойкую торговлю съ оленеводами, собирая оленьи шкуры для перепродажи приморскимъ сидячимъ чукчамъ и заморскимъ эскимосамъ и отдавая взамѣнъ тюленьи шкуры, кожи моржей и лахтаковъ, свитки ремней, узкія полоски китовыхъ костей, употребляемыя весной вмѣсто подрѣзовъ на полозьяхъ и т. п. приморскія произведенія. Пришельцевъ съ Чауна было мало, несмотря на близость анюйской ярмарки. Чаунщики предпочли остаться безъ чаю и табаку, чѣмъ подвергнуться опасности.

Кромѣ торговыхъ сношеній, пришельцы съ восточнаго моря были соединены съ коренными жителями множествомъ разнообразныхъ связей; большая часть изъ нихъ имѣла на оленной землѣ друзей и родственниковъ, которые много лѣтъ тому назадъ промѣняли голодную жизнь приморскаго охотника на болѣе обезпеченное существованіе оленнаго пастуха.

Иные изъ этихъ переселенцевъ успѣли расплодить многочисленныя стада и считали своей обязанностью оказывать помощь и поддержку каждому пришельцу изъ далекой родины. Многія жены и хозяйки исконныхъ оленныхъ владѣльцевъ тоже

были родомъ изъ приморскихъ поселковъ.

Оленные люди охотно выбирали невѣстъ между кавралинками, ибо онѣ считались бойчѣе и неутомимѣе на всякую работу. Съ другой стороны, не одна молодая дѣвушка изъ уединеннаго стойбища среди анюйскихъ горъ, прельщенная удалью и чудесными разсказами одного изъ вѣчныхъ «бродягъ», покинула свою родную землю, чтобы сдѣлаться полуголодной спутницей «бѣломорскаго истребителя моржей»[110].

Кавралины, имѣвшіе родственниковъ оленеводовъ, обыкновенно приходили прямо къ нимъ на стойбище, все время получали отъ нихъ пищу и, возвращаясь на родину, увозили съ собой щедрые дары въ видѣ запаса шкуръ и живыхъ оленей, которые у восточнаго моря цѣнятся гораздо дороже, чѣмъ въ глубинѣ моховыхъ пастбищъ. Отъ нихъ-же они получали поддержку во время столкновеній съ другими жителями оленной земли.

А такихъ столкновеній было не мало. Обитатели пустыни, привыкшіе вести совершенно разрозненную жизнь, отличаются неуступчивостью нрава; при каждомъ общественномъ собраніи сколько-нибудь разнообразныхъ элементовъ это выражается множествомъ споровъ и ссоръ, которые большею частью тутъ-же забываются, но не рѣдко обостряются, приводятъ къ кровавому столкновенію и потомъ затягиваются на многіе годы, замирая на неопредѣленные промежутки времени, но вспыхивая съ новой силой при каждой случайной встрѣчѣ.

За то приходъ торговыхъ гостей послужилъ естественнымъ поводомъ для цѣлаго ряда общественныхъ увеселеній. Чукчи страстно любятъ всевозможныя состязанія, требующія физической силы и ловкости, и пользуются каждымъ удобнымъ случаемъ для ихъ устройства. Черезъ каждые три или четыре дня на различныхъ стойбищахъ околотка устраивались гонки на оленяхъ съ безконечнымъ разнообразіемъ призовыхъ ставокъ отъ куска облѣзлой волчьей шкуры до дорогого бобра. Эти гонки разнообразились пѣшимъ бѣгомъ, борьбою, прыганьемъ черезъ барьеръ, скачками на лахтакѣ[111] и т. п, и перемежались жертвоприношеніями, куда собирались ближніе и дальніе шаманы, чтобы состязаться во вдохновеніи. Чукчи усиленно веселились и старались запастись весельемъ на цѣлый годъ вплоть до будущей весны.

Я переѣзжалъ со стойбища на стойбище, отдаваясь интересу этой своеобразной жизни. Въ одномъ мѣстѣ наблюдалъ, какъ чукотки длинными ножами разрѣзываютъ трупъ, чтобы, обнаживъ сердце, собственными глазами изслѣдовать причину смерти, въ другомъ слушалъ хитроплетенныя сказанія «временъ сотворенія

міра и еще раньше того», а въ третьемъ старался укрѣпить свой слухъ предъ оглушительнымъ трескомъ бубна во время торжественнаго служенія богамъ. Чукчи успѣли привыкнуть къ моимъ разспросамъ и не оказывали мнѣ недовѣрія. Труднѣе всего было прокормить двѣ собачьи упряжки, цѣлую прожорливую стаю изъ двадцати пяти здоровенныхъ псовъ, для пропитанія которой требовалось ежедневное закалываніе двухъ оленей. Мои покупательныя средства состояли изъ нѣсколькихъ десятковъ кирпичей чаю и такого-же количества пачекъ листового табаку, а дорожные запасы ограничивались двумя мѣшками ржаныхъ сухарей и связкой сушеной рыбы. Но въ глазахъ чукчей и эти скромные продукты имѣли несравненную цѣнность и они охотно убивали двухгодовалаго оленя за половину чайнаго кирпича съ придачей двухъ листовъ табаку. Окаменѣлые сухари казались имъ лакомствомъ, въ обмѣнъ за которое они оказывали посильное гостепріимство мнѣ и моимъ тремъ спутникамъ.

Одинъ изъ эпизодовъ этого весенняго веселья полярной пустыни я постараюсь описать на нижеслѣдующихъ страницахъ.

I.

Стойбище Акомлюки раскинулось на правомъ берегу р. Россомашьей по большому ровному полю, которое разливы рѣки успѣли отвоевать у линіи хребтовъ и обратить въ заливной лугъ. Вездѣ кругомъ были горы. Двѣ волнистыя гряды невысокихъ, но довольно обрывистыхъ вершинъ тянулись вдоль обоихъ береговъ, часто подходя къ самой водѣ и запирая рѣку въ узкія стремнины, спадавшія во время весенняго разлива быстрыми и бурливыми шиверами[112]. Подальше, въ сторонѣ отъ рѣки, повсюду поднимались сопки, круглыя, правильно обточенныя, поросшія по склонамъ жидкимъ лѣскомъ съ коническими бѣлыми вершинами, похожіе на кучу приземистыхъ сахарныхъ головъ въ безпорядкѣ высыпанныхъ изъ какого-то исполинскаго мѣшка. Горы повсюду заслоняли горизонтъ, оставляя открытымъ для взора только небольшой промежутокъ между противоположными склонами. Впрочемъ, на югѣ по направленію рѣчной долины онѣ нѣсколько расходились и открывали болѣе широкій видъ, составлявшій какъ-бы брешь въ общей круговой каймѣ и замыкавшійся узкой поперечной полоской, чуть синѣвшей вдали. То былъ зарѣчный берегъ р. Сухого Анюя, принимавшаго воды р. Россомашьей почти подъ прямымъ угломъ.

Тѣмъ не менѣе для большого чукотскаго стойбища осталось довольно мѣста. Обширный лугъ, въ настоящее время покрытый

толстымъ слоемъ снѣга, былъ гладко утоптанъ ногами людей и безчисленными копытами оленей, которыхъ то и дѣло прогоняли взадъ и впередъ мимо стойбища. Шесть огромныхъ шатровъ, обращенныхъ, по обычаю, устьями къ востоку, вытянулись въ длинную линію, заполненную въ промежуткахъ группами кладовыхъ саней, грузными связками оленьихъ шкуръ и всякой рухлядью, составляющей необходимую принадлежность кочевой жизни. На верхнемъ концѣ стойбища возились бабы, устанавливая деревянный остовъ седьмого шатра, оболочка котораго лежала на землѣ въ видѣ трехъ огромныхъ мѣховыхъ грудъ. Мѣсто это по праву принадлежало Этынкэу, старшему въ родѣ по общему родословному счету семьи Кэргинто, и не могло быть занято никѣмъ другимъ. Этынкэу съ мѣсяцъ тому назадъ отдѣлился отъ большого стойбища и отправился съ походнымъ шатромъ и небольшимъ стадомъ верстъ за 400 на югъ къ берегамъ р. Большого Анюя для рубки березы, изъ которой выдѣлываются полозья, затѣйливыя рѣшетки и переплеты ѣздовыхъ нартъ, — и возвратился только теперь. Экспедиція его увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, и онъ успѣлъ заготовить около тридцати связокъ березовыхъ жердей, представлявшихъ матеріалъ для такого-же количества нартъ, каждая стоимостью по два оленя. Въ благодарность за такіе блестящіе результаты, онъ собирался устроить большой бѣгъ и жертвоприношеніе богамъ и на обратномъ пути отъ Большого Анюя, приближаясь къ своему стойбищу, разослалъ всѣмъ сосѣдямъ оповѣщеніе собираться на завтра. Въ качествѣ приза, Этынкэу собирался поставить полный приборъ березовыхъ частей бѣговой нарты. Кромѣ того, я обѣщалъ хозяевамъ поставить послѣдовательно нѣсколько небольшихъ призовъ для пѣшаго бѣга, борьбы и прыганья. Берега рѣки Россомашьей представляли крайній предѣлъ моей поѣздки, и согласно чукотскимъ воззрѣніямъ, я тоже долженъ былъ выступить устроителемъ бѣга, чтобы обезпечить себѣ покровительство «внѣшнихъ силъ» для благополучнаго возвращенія на родину. Такимъ образомъ, увеселенія обѣщали принять универсальный характеръ, и всѣ молодые люди на сто верстъ въ окружности уже десять дней говорили только объ нихъ, заранѣе волнуясь и обсуждая шансы того или другого изъ будущихъ соперниковъ.

Этынкэу пріѣхалъ не болѣе часа тому назадъ, покинувъ жену и обозъ на послѣднемъ ночлегѣ верстахъ въ десяти пониже, и тотчасъ-же заставилъ женщинъ на стойбищѣ, по большей части все своихъ племянницъ и невѣстокъ, поставить на переднемъ планѣ его большой бычачевидный[113] шатеръ, снятый на время его отсутствія. На нижнемъ концѣ стойбищѣ воздвигалось еще

цѣлыхъ три шатра. Тамъ тоже суетились женщины, устанавливая на снѣгу длинные шесты, опертые другъ на друга, и цѣлую систему жердочекъ, связанныхъ ремешками. То были гости, съѣхавшіеся для участія въ завтрашнемъ праздникѣ и для большаго удобства захватившіе съ собой и жилища.

Все ближайшее пространство передъ шатрами было наполнено группами стоявшихъ и сидѣвшихъ людей. Кромѣ довольно многочисленныхъ хозяевъ тутъ были кавралины съ близъ лежащаго стойбища, отстоявшаго не болѣе какъ на версту, и чаунскіе гости, стойбище которыхъ находилось еще ближе, по ту сторону р. Россомашьей. Молодые и старые Ѣздоки на оленяхъ съѣхались со всѣхъ окружныхъ стойбищъ. Одни усѣлись на нартахъ и на грудахъ шкуръ, другіе развалились на снѣгу такъ непринужденно, какъ будто это были теплые палати только-что вытопленной избы, и не обращая вниманія на морозъ, обсуждали порядокъ и устройство завтрашнихъ увеселеній. А морозъ выдался не на шутку. Февральское солнце, цѣлый день заливавшее снѣгъ ослѣпительнымъ блескомъ, быстро катилось подъ гору, такъ быстро, что, казалось, его движеніе можно уловить глазами. Въ глубинѣ рѣчной долины надъ самымъ горизонтомъ поднимался легкій туманъ, заслоняя чуть замѣтную полоску анюйскихъ горъ.

Ѣздовые олени гостей, привязанные къ рѣдкимъ деревьямъ стойбища, отказывались раскапывать копытами слежавшійся снѣгъ и стояли, неподвижно понуривъ голову и слегка подрагивая всѣмъ тѣломъ отъ холода. Маленькіе, тощіе щенки, выращиваемые чукчами на закланіе во время жертвоприношеній, набились къ огнищу и смѣло лѣзли въ костеръ, чтобы спастись отъ мороза. Даже большія мохнатыя собаки моихъ упряжекъ, привязанныя сзади шатровъ и обставленныя со всѣхъ сторонъ санями, чтобы какой-нибудь глупый теленокъ не могъ подойти слишкомъ близко къ ихъ сокрушительнымъ зубамъ, свернулись въ клубокъ, тщательно подобравъ подъ себя лапы, уткнувъ носъ въ брюхо и покрывъ голову пушистымъ хвостомъ.

Чукчей спасали отъ холода теплыя кукашки, сшитыя изъ самаго пышнаго густошерстнаго пыжика, лоснившагося, какъ бархатъ, и отливавшаго красивымъ коричневымъ цвѣтомъ.

Кто былъ почувствительнѣе къ холоду, втягивалъ голову въ глубину широкаго ворота, опушеннаго полосой собачьяго или волчьяго мѣха, и, выпроставъ руки внутрь, складывалъ ихъ на груди, напоминая огромную черепаху и согрѣваясь своимъ собственнымъ тепломъ.

Спутники мои, пріѣхавшіе со мной изъ русскихъ поселеній на Колымѣ, одѣтые въ старыя вытертыя парки, давно отслужившія

свой вѣкъ, не раздѣляли равнодушія чукчей къ вечернему холоду. Долговязый Митрофанъ проявлялъ необычайную дѣятельность. Его крѣпкая фигура то и дѣло мелькала взадъ и впередъ съ огромными деревьями на плечѣ, каждое изъ которыхъ могло удовлетворить дневное потребленіе всѣхъ огнищъ стойбища. Впрочемъ, кромѣ желанія согрѣться, онъ имѣлъ въ виду еще заслужить одобреніе дѣвокъ, которыя при каждомъ принесенномъ деревѣ всплескивали руками и громко удивлялись его величинѣ и тяжести.

Маленькій тощій Селивановъ съ злымъ лицомъ, украшеннымъ остроконечной бородкой, — надвинувъ поглубже на голову ветхій капюшонъ своей ровдужной камлеи[114] ожесточенно рубилъ на части принесенныя Митрофаномъ деревья, съ шумомъ перебрасывая полѣнья на довольно далекое растояніе къ грудѣ дровъ, расползавшейся во всѣ стороны у одного изъ шатровъ. Только старый Айганватъ, натянувъ на себя нѣсколько самыхъ разнообразныхъ одеждъ, неподвижно улегся на нартѣ и не хотѣлъ принимать участія ни въ бесѣдахъ, ни въ работѣ. Уже второй годъ онъ служилъ мнѣ не столько переводчикомъ, сколько истолкователемъ непонятныхъ мнѣ явленій, обычаевъ и поступковъ и несмотря на свою чисто чукотскую кровь, считалъ себя вправѣ съ презрѣніемъ смотрѣть на своихъ соплеменниковъ, ихъ жизнь и увеселенія.

Я ходилъ взадъ и впередъ по стойбищу, останавливаясь тамъ, гдѣ разговоръ казался мнѣ интереснѣе. Одежда моя была совершенно достаточна для защиты отъ холода, но послѣ длиннаго дня, проведеннаго на морозѣ, неопредѣленное ощущеніе озноба понемногу забиралось подъ мѣхъ, и какъ-то само собою возникало въ глубинѣ костей.

Длинная двойная парка давила мнѣ плечи, какъ броня. Шапка, рукавицы, сапоги, все состояло изъ двойного, даже тройного мѣха и соединялось такъ плотно, какъ вооруженіе средневѣковаго латника. Это дѣйствительно было вооруженіе и врагъ, противъ котораго оно давало оборону, — жестокій властитель полярной пустыни, морозъ, — былъ страшнѣе цѣлой толпы человѣческихъ враговъ со всѣми изобрѣтенными ими средствами нападенія.

Однако, несмотря на усталость, я не чувствовалъ желанія войти подъ защиту чукотскаго домашняго крова. Подъ открытымъ небомъ было такъ свѣтло, такъ весело. Косые лучи солнца, приближавшагося къ закату, придавали снѣжной поверхности какой-то особенно нарядный розоватый оттѣнокъ. Бѣлыя вершины сопокъ блестѣли, какъ полированныя. Въ сравненіи со всѣмъ этимъ великолѣпіемъ, духота и вонь глухого мѣховаго

ящика, который даетъ чукчамъ ночной пріютъ, не представляли особеннаго соблазна. Пологъ былъ тюрьмой, гдѣ вѣчно царствовала тьма, озаряемая тусклымъ свѣтомъ жировой лампы, гдѣ поперемѣнно бывало то холодно, какъ въ глубинѣ колодца, то жарко, какъ въ банѣ, гдѣ всѣ мы были обречены задыхаться вечеромъ, тѣсниться ночью, какъ сельди въ бочкѣ, и откуда каждое утро мы съ отвращеніемъ вылѣзали наружу, щурясь отъ рѣзкаго контраста между ночнымъ и дневнымъ свѣтомъ, раздѣленными только тонкой мѣховой перегородкой.

Селивановъ, наконецъ, бросилъ топоръ и подошелъ ко мнѣ.

— Хоть бы скорѣе пологъ поставили! — проворчалъ онъ недовольно, стряхивая съ камейки нѣсколько приставшихъ стружокъ дерева.

— А что? — спросилъ я невнимательно.

— Да чего! — проворчалъ онъ еще съ большимъ неудовольствіемъ. — *Исти страсть охота! Съ утра вѣдъ, не Ѣденые ходимъ! У, клятые! какъ только живые ходятъ? Жистъ ихняя лебяжья!*[115] — не утерпѣлъ онъ, чтобы не выругаться.

Дѣйствительно, по исконному обычаю скупой тундры утромъ мы покидали пологъ послѣ самого ничтожнаго завтрака, состоявшаго изъ вчерашнихъ объѣдковъ и полуобглоданныхъ костей. Днемъ не полагалось никакой Ѣды, даже во время празднествъ и общественныхъ увеселеній. Единственной трапезой въ теченіе сутокъ являлся ужинъ, за которымъ каждый старался наѣсться такъ, чтобы хватило на слѣдующія сутки до новаго ужина.

Такъ живутъ чукчи изо дня въ день и такъ должны были жить и мы. Я, впрочемъ, относился довольно равнодушно къ этимъ спартанскимъ порядкамъ. Чукотское корыто для Ѣды было покрыто слишкомъ толстымъ слоемъ грязи и прогорклаго жира, чтобы желать его появленія чаще, чѣмъ разъ въ сутки. Я почти не участвовалъ даже въ вечерней трапезѣ и предпочиталъ питаться по просту сырою печенью, почками и т. п., нарѣзывая ихъ тонкими ломтями и замораживая до твердости камня.

Митрофанъ тоже пересталъ таскать деревья и подошелъ къ намъ. Старая Роутына, мать Акомлюки, во вниманіе къ его усердію, дала ому надѣть свою просторную кухлянку[116], украшенную запутанной сѣтью кожаныхъ и мѣховыхъ хвостиковъ и полосокъ. Для нашихъ глазъ, привыкшихъ отличать женскую одежду отъ мужской, его длинная фигура, облеченная въ, этотъ несоотвѣтственный нарядъ, выглядѣла какъ-то особенно нелѣпо. Тѣмъ не менѣе его широкое и безбородое лицо, обрамленное косматой оторочкой огромной шапки изъ волчьяго мѣха, носило на себѣ слѣды озабоченности.

— А знаешь! — сказалъ онъ таинственно. — Кэргакъ съ братомъ уѣхали домой, а до Акомлюкиной руйты[117] и близко не доходили.

Акомлюка былъ племянникомъ Этынкэу, но имѣлъ гораздо больше богатства и вліянія и являлся дѣйствительнымъ хозяиномъ нашего стойбища. Кэргакъ былъ кавралинъ, недавно пришедшій съ восточнаго моря и заявлялъ притязаніе на часть стада Акомлюки.

Отецъ этого послѣдняго много лѣтъ тому назадъ захватилъ стадо послѣ смерти одного изъ своихъ родственниковъ, не оставившаго прямыхъ потомковъ, и теперь Кэргакъ, на основаніи весьма запутанныхъ вычисленій доказывалъ, что ближайшимъ наслѣдникомъ являются именно онъ и братъ его Умка. Споръ изъ-за наслѣдства тянулся уже нѣсколько лѣтъ безъ всякихъ очевидныхъ результатовъ: Акомлюка имѣлъ пять родныхъ братьевъ, и втрое противъ того двоюродныхъ. Противъ такой сильной семьи было опасно прибѣгнуть къ насилію. Съ другой стороны, Кэргакъ и его братъ были бѣдны и предметъ спора слишкомъ возбуждалъ ихъ алчность, для того, чтобы они согласились отступиться.

— Посмотримъ, чего завтра будетъ — сказалъ Митрофанъ, — Умка-то хочетъ бороться!

— Пускай борются! — возразилъ я. — Намъ что? Мы смотрѣть станемъ.

— Умка-то, да еще тутъ кавралинъ Ятиргинъ на славу борцы! — продолжалъ Митрофанъ также таинственно, — а оленные поддаваться не хотятъ. Ночью то за 40 верстъ по борца бѣгали. Вонъ какого чертушку привезли!

Молодой чукча огромнаго роста и атлетическаго тѣлосложенія неторопливо подошелъ къ намъ и, остановившись немного поодаль, принялся разсматривать насъ съ такимъ неослабнымъ вниманіемъ, какъ будто мы были какіе-то невиданные звѣри.

При видѣ его, лицо Митрофана еще болѣе омрачилось.

— *Видишь, какъ зиркатъ*[118], *идолъ!* — сказалъ онъ тихо.

— *Чего ты запинаться?* — сказалъ Селивановъ, замѣтивъ, что Митрофанъ не договариваетъ. — *Сказывай, чего есть дакъ!..*

— Да чукчи говорили, будто что я бороться хочу! — признался Митрофанъ. — Ну вотъ, онъ какъ пріѣхалъ, такъ и сталъ ходить за мной слѣдомъ. Чисто не отстаетъ. Куды я — туды и онъ. А глазами-то словно мѣрку съ меня сыматъ!

Въ это время молодой чукча подошелъ ближе и обвелъ Митрофана долгимъ взглядомъ, какъ-бы дѣйствительно измѣривая его съ ногъ до головы.

Такъ всегда аляснича́ете[119], — сказалъ Селивановъ сердито. — *А тебѣ почего хвастать было? Ну, пускай они борются, въ озеро ихъ. Нечего тебѣ съ ними заплетаться!..*

Митрофанъ молчалъ, видимо, сознавая свою опрометчивость. Я заговорилъ съ подошедшимъ. Имя его было Энмувія. Ему было никакъ не болѣе двадцати пяти лѣтъ, его смуглое лицо носило выраженіе простодушной наивности, какъ часто бываетъ у очень смѣлыхъ людей. Я спросилъ его, будетъ-ли онъ завтра участвовать въ пѣшемъ бѣгѣ и борьбѣ. Онъ сказалъ, что есть люди гораздо лучше его, и что ему въ его возрастѣ не слѣдуетъ равняться съ борцами и бѣгунами, достигшими зенита силъ, что, впрочемъ, онъ побѣжитъ сзади всѣхъ и будетъ бороться съ тѣми, кто, уставъ состязаться съ сильными, захочетъ отдохнуть предъ слабымъ противникомъ…

Такія рѣчи считаются наиболѣе приличными для благомыслящаго молодого человѣка, и Энмувія, очевидно, не имѣлъ наклонности къ хвастовству, столь распространенной между чукчами, и предпочиталъ употреблять самые скромные обороты рѣчи, говоря о своей силѣ.

Самая большая группа людей сидѣла около шатра Акомлюки. Я проходилъ мимо нея, направляясь на другой конецъ стойбища, но долженъ былъ остановиться.

— Ты, Вэипъ? — окликнулъ меня маленькій подвижной старикъ съ красными глазами, лишенными вѣкъ и съ рѣдкой рыжебурой щетиной, мелкими кустиками разбросанной по подбородку, совершенно утопавшій въ широкомъ верхнемъ балахонѣ, сшитомъ изъ двухъ пестрыхъ американскихъ одѣялъ.

— Я думалъ ты, спишь на нартѣ вмѣстѣ съ Айганватомъ.

Чукчи называли меня Вэипъ по предполагаемому сходству моего лица съ какимъ-то торговцемъ изъ кавралиновъ, умершимъ лѣтъ десять тому назадъ.

— А гдѣ твои писанія? — продолжалъ старичокъ. — А ну-ка, ну-ка, посмотри, найдешь-ли ты домочадцевъ Такэ?..

Черновая тетрадь, куда я заносилъ предварительныя данныя по переписи, служила на всѣхъ окрестныхъ стойбищахъ неисчерпаемымъ источникомъ забавы. Для чукчей являлось чудесной и неразрѣшимой загадкой то безошибочное знаніе именъ и семейныхъ отношеній, которое я мгновенно пріобрѣталъ, беря въ руки тетрадь, хотя въ обычное время былъ совершенно лишенъ этого дара.

До извѣстной степени я пользовался ихъ интересомъ для повѣрки записей, но чукчи такъ надоѣли мнѣ безконечнымъ повтореніемъ этой игры въ перепись, что я не чувствовалъ никакого желанія приступить къ ней еще разъ. Поэтому я

поспѣшилъ отвлечь мысли старика въ другую сторону.

— *Йыномъ!* — произнесъ я, дѣлая жестъ, какъ будто ударялъ колотушкой въ воображаемый бубенъ.

— *Йыномъ, йыномъ!* — радостно подхватилъ старичокъ, вскакивая на ноги. Онъ былъ такъ подвиженъ, что не могъ просидѣть на мѣстѣ болѣе пяти минутъ. «Йыномъ!» было началомъ шаманскаго припѣва одной сказки, которую мы услышали вмѣстѣ со старичкомъ нѣсколько дней тому назадъ отъ сказочника кавралина. Она произвела на старика такое впечатлѣніе, что онъ только и бродилъ ею. Это слово съ тѣхъ поръ служило мнѣ при встрѣчахъ съ нимъ чѣмъ-то вродѣ масонскаго пароля.

— А что? — спросилъ я, — когда живость его воспоминаній нѣсколько улеглась. — Какъ думаете, кто завтра возьметъ ставку?

Задать этотъ вопросъ значило бросить искру на кучу пороха.

— Я говорю! — воскликнулъ Этынкэу, приземистый человѣкъ среднихъ лѣтъ съ мрачнымъ лицомъ и широкимъ шрамомъ поперекъ лба, — я говорю: пусть моя ставка, а если обгоню, все равно, самъ возьму, насмѣюсь надъ другими!

Этынкэу, какъ сказано, былъ хозяиномъ и устроителемъ бѣга и рѣчь его представляла забвеніе исконнаго обычая, запрещающаго устроителю самому взять свой призъ.

— Не знаю! — медленно протянулъ пожилой человѣкъ съ насмѣшливыми глазами и большимъ лысымъ лбомъ, высовывавшимися изъ-подъ мѣховой шапки, сдвинутой на затылокъ. — Хозяева бѣговъ не берутъ ставки. У насъ… на Чаунѣ… А, здѣсь, можетъ, иначе…

То былъ Рольтыиргинъ, самый старый изъ чаунскихъ гостей, слывшій за ревностнаго хранителя старинныхъ обычаевъ и установленій.

— Зачѣмъ говорить пустое? — сказалъ Акомлюка, спѣша загладить неловкія слова своего дяди. — Какъ знать, кто возьмите? У кого еще олени быстрѣе… Вонъ мой правый олень тяжелъ, никогда мнѣ не пріѣхать первому.

— Развѣ Толинъ возьметъ! — прибавилъ онъ послѣ краткой паузы, указывая на высокаго дюжаго молодца съ безобразнымъ лицомъ, маленькими глазками и длинными бисерными серьгами, свѣшивавшимися до плечъ.

Толинъ считался лучшимъ ѣздокомъ по всѣмъ Анюйскимъ стойбищамъ. Онъ обиталъ далеко на западѣ, вблизи отъ русскихъ селеній и пріѣхалъ на Россомашью столько же для участія въ весеннихъ бѣгахъ, сколько для обычнаго торга съ кавралинами.

— Не я возьму! — счелъ нужнымъ возразить онъ. — Мои олени устали. Развѣ Коколи-Ятиргинъ.

Маленькій черный человѣкъ, сидѣвшій на корточкахъ съ глазами, опущенными къ землѣ, сердито тряхнулъ головой и пробормоталъ что-то не весьма любезное по адресу Толина. Коколи-Ятиргинъ считался лучшимъ ѣздокомъ на р. Россомашьей, но Толинъ совершенно затмилъ его. Уже на третьемъ бѣгу Коколи остался сзади на довольно значительное разстояніе и слова Толина очень походили на насмѣшку.

— А ты, иди, куда идешь! — обратился ко мнѣ красноглазый старичокъ, — я вѣдь знаю. Тебѣ Тылювію нужно.

— Коккой![120] — со страхомъ произнесъ Этынькэу. — У тебя, Амрилькутъ, видно сердце не боязливое!

Дѣйствительно на нижнемъ концѣ стойбища находилась личность, возбуждавшая во мнѣ самое живое любопытство, соразмѣрное только тому почтительному страху, съ которымъ относились къ ней окружавшіе чукчи. То былъ, или, если хотите, была — Тылювія, *ирка-ляуль*, т. е. мужчина, принявшій на себя роль женщины и исполнявшій ее вполнѣ добросовѣстно до самыхъ послѣднихъ подробностей жизни. Такія превращенія встрѣчаются иногда среди чукчей въ связи съ особенностями шаманскихъ вѣрованій. Мужчина, которому духи велѣли сдѣлаться женщиной, совершенно отрекается отъ мужской природы, надѣваетъ на себя женское платье, усваиваетъ женское произношеніе[121] и всѣ женскія работы, наконецъ, выходитъ замужъ и исполняетъ всѣ обязанности жены, конечно, modo Socratis. Превращенныя жены относятся очень ревниво къ своимъ мужьямъ и не позволяетъ имъ ни малѣйшей невѣрности, хотя нѣкоторыя изъ нихъ въ свою очередь не прочь тайно воспользоваться любовью другихъ женщинъ. Кромѣ мужа плотскаго онѣ обыкновенно имѣютъ succub'а, мужа изъ области духовъ, который одарилъ ихъ шаманскимъ могуществомъ высшаго разряда. Чукчи считаютъ ихъ самыми сильными изъ всѣхъ — «духовдохновенныхъ» и относятся къ нимъ съ весьма большимъ страхомъ.

Тылювія была родомъ изъ Энурмина, приморскаго поселка на Чукотскомъ Носу и пришла вслѣдъ за другими кавралинами, чтобы *выколачивать шатеръ*[122] своего мужа Ятиргина, который привезъ на продажу оленнымъ жителямъ два десятка свитковъ моржового ремня и нѣсколько лахтачныхъ шкуръ. Оригинальная супружеская чета прибыла на стойбище Акомлюки нѣсколько часовъ тому назадъ и тоже привезла съ собой жилище и домашнія принадлежности. Тылювія не успѣла еще окончить установку шатра и возилась около своихъ саней рядомъ въ другими сосѣдками.

Оставивъ чукчей препираться о вѣроятномъ исходѣ

завтрашняго бѣга, я отправился на нижній конецъ стойбища, и обмѣнившись съ работавшими женщинами нѣсколькими незначительными словами, замѣняющими привѣтствіе, усѣлся на пнѣ и принялся глядѣть во всѣ глаза.

Положимъ, я чувствовалъ нѣкоторую неловкость. Точно такими же глазами разсматривали чукчи мою собственную особу на каждомъ стойбищѣ, куда я пріѣзжалъ въ первый разъ. Но я добросовѣстно старался преодолѣть это чувство и прилежно наблюдалъ за дѣйствіями Тылювіи. Мнѣ приходилось уже разъ или два видѣть такихъ превращенныхъ мужчинъ, но впервые я могъ наблюдать ирка-ляуля въ его домашней обстановкѣ.

Тылювія была высокаго роста, — по крайней мѣрѣ 8-ми вершковъ, съ такими широкими плечами, которыя сдѣлали бы честь любому гренадеру. Ея огромныя руки съ узловатыми пальцами, которыми она перебирала тонкія завязки полога, скорѣе годились бы для топора или копья. Осанка и походка ея были совершенно мужскія. Подъ широкими женскими одеждами можно было угадать худощавое мускулистое тѣло съ длинными ногами и узкимъ тазомъ. Изъ подъ вырѣза корсажа виднѣлась обнаженная шея и часть груди, плоской и костлявой, съ рѣзко обозначенными ямками и выступами ключицъ и безъ всякихъ признаковъ женственности. Но всего необыкновеннѣе было лицо Тылювіи. Оно было круглое, широкое, съ большимъ носомъ, низкимъ и прямымъ лбомъ и рѣзкими складками около угловъ рта. Несмотря на довольно замѣтный пушокъ, пробивавшійся на верхней губѣ, нельзя было сказать, что это мужское лицо. Что-то странное, не вполнѣ уловимое, но, тѣмъ не менѣе, ясно замѣтное, пробивалось сквозь суровость этихъ мужественныхъ линій и придавало имъ совсѣмъ особое выраженіе. Это дѣйствительно было лицо преображеннаго существа, внезапно измѣнившаго самую суть своей природы. Впечатлѣніе усиливалось цѣлымъ лѣсомъ растрепанныхъ черныхъ волосъ, небрежно свитыхъ въ двѣ толстыя косы, и неподвижнымъ взглядомъ глубокихъ черныхъ глазъ, устремленныхъ куда-то внутрь и застывшихъ въ этомъ созерцаніи. Лицо Тылювіи походило на трагическую маску. Это была голова Горгоны, снятая со щита Паллады и снова посаженная на живое человѣческое тѣло. Въ общемъ, вся фигура Тылювіи казалась существомъ совсѣмъ иной породы, женщиной изъ народа великановъ, послѣдней представительницей загадочной расы Лельгиленовъ, о которой разсказываютъ нѣкоторыя чукотскія легенды.

Тылювія усердно хлопотала вокругъ своего ночевища, выколачивая шкуры, выгребая снѣгъ, натягивая полы шатра при помощи длинныхъ веревокъ, привязанныхъ къ кладовымъ

нартамъ, разставленнымъ вокругъ. Женское дѣло спорилось у ней въ рукахъ. Ея верхняя кухлянка, небрежно брошенная у входа, была украшена вышивками и запутанной бахромой изъ тонкихъ полосокъ разноцвѣтнаго мѣха, какъ бываетъ только у щеголихъ. По временамъ она останавливалась и хваталась руками за грудь, заливаясь удушливымъ кашлемъ. Злой духъ кашляющей болѣзни, очевидно, не устрашился ея сверхъ-естественнаго могущества и по дорогѣ на Чаунъ мимоходомъ заглянулъ въ ея жилище. Разъ или два ея неподвижный взоръ обращался въ мою сторону съ какимъ-то особеннымъ, не то сердитымъ, не то смущеннымъ выраженіемъ.

Молодой чукча, довольно тщедушнаго вида, съ ординарнымъ лицомъ, одѣтый въ короткую пеструю кукашку, со свиткомъ аркана, наброшеннымъ на шею, подошелъ къ огнищу. То былъ Ятиргинъ, супругъ Тылювіи.

— А что котелъ? — спросилъ онъ беззаботнымъ тономъ. — Вечеръ близко!

Тылювія молча кивнула своей растрепанной головой, указывая глазами на котелъ, навѣшенный надъ огнемъ и кипѣвшій ключемъ. Ятиргинъ подошелъ къ шатру и, усѣвшись на снѣгу, снялъ рукавицы и принялся перелаживать расхлябавшіеся копылья одной изъ нартъ, туго стягивая ихъ тонкими ремешками. Тылювія схватила въ охапку всю груду шкуръ, лежавшихъ на снѣгу, и отнесла ихъ къ пологу. Умостивъ ихъ въ пологѣ, она заглянула въ котелъ, поправила огонь и, къ немалому моему удивленію, подошла къ сосѣдкѣ, хлопотавшей около другого шатра, оперлась брюхомъ на одинъ изъ основныхъ столбовъ и завязала болтовню точно такъ, какъ это дѣлаютъ всѣ молодыя и старыя чукчанки, управившись съ предварительными вечерними занятіями и ожидая той минуты, когда мужчины, наконецъ, рѣшатся войти въ пологъ. Сосѣдка — маленькая, тощая, съ корявымъ, но веселымъ лицомъ, и юркими движеніями, рядомъ съ колоссальной Тылювіей напоминавшая шавку предъ овчаркой, тѣмъ не менѣе разговаривала съ ней такъ непринужденно, какъ будто бы стоявшее предъ ней существо не представляло ровно ничего удивительнаго. Маленькій ребенокъ, походившій скорѣе на мѣшокъ, набитый оленьей шерстью, съ четырьмя короткими отростками вмѣсто рукъ и ногъ, закопошился въ глубинѣ шатра. Тылювія живо отдѣлилась отъ своего столба и подхватила ребенка, осыпая его поцѣлуями.

— Твой, Каляи? — спросила она съ завистливой нотой въ голосѣ.

— Нѣтъ! — сказала Каляи, и ея веселое лицо на мгновеніе затуманилось.

— Мужъ не хочетъ меня, онъ любитъ только Карыну! — прибавила она просто.

Ятиргинъ кончилъ работу и поднялся на ноги, отряхивая отъ снѣга свои рукавицы. Тылювія, замѣтивъ это, тотчасъ же вернулась къ своему шатру и опять стала хлопотать вокругъ костра. Я рѣшилъ, наконецъ, возвратиться къ шатру Акомлюки, дававшему мнѣ ночлегъ. Онъ уже былъ приготовленъ для входа мужчинъ. Толстая Виськатъ, сестра Акомлюки, распластавшись по землѣ, уже собиралась вползти въ пологъ съ лампою въ рукахъ. Другія женщины снимали съ крючьевъ огромные чайники и переворачивали горячее мясо въ котлахъ, для того, чтобы оно лучше варилось, хватая куски голыми руками и немилосердно обжигаясь. Во всѣхъ концахъ стойбища слышался частей и глухой стукъ. То мужчины выколачивали свои плечи и ноги роговыми колотушками, приготовляясь войти въ домашнее святилище. Въ пологъ нельзя внести на одеждѣ ни одной порошинки снѣга, ибо она превратится въ сырость, а чукотскій обиходъ не изобрѣлъ еще никакихъ средствъ для сушенія отсырѣвшей одежды. Волей-неволей и мнѣ приходилось послѣдовать примѣру другихъ и полѣзать въ пологъ.

Черезъ четверть часа всѣ прелести чукотскаго домашняго комфорта были на лицо. Я сидѣлъ въ углу, снявъ съ себя всю лишнюю одежду и скорчившись въ три погибели, для того, чтобы занимать поменьше мѣста. Весь пологъ отъ края до края былъ наполненъ полуобнаженными человѣческими тѣлами, которыя разгорѣлись отъ внезапнаго перехода отъ холода къ теплу и блестѣли крупными каплями пота. Изъ-подъ входной полы виднѣлся рядъ круглыхъ, гладкоостриженныхъ головъ, такъ плотно окутанныхъ тяжелой мѣховой драпировкой, что о существованіи туловищъ сзади можно было только догадываться.

Это были люди, которымъ не хватило мѣста въ пологу и которые не хотѣли лишиться своей доли въ пиршествѣ. Кавралины и чаунщики съ ближайшихъ стойбищъ уѣхали домой, но и безъ нихъ было довольно гостей. Люди въ пологу нажимали другъ друга колѣнями и плечами, принимали самыя неудобныя и неестественныя позы, сохраняемыя только благодаря силѣ взаимнаго подпиранія. Мнѣ было не лучше, чѣмъ другимъ. Широкая спина Акомлюки простиралась предъ самымъ моимъ лицомъ, скрывая отъ меня свѣтъ лампы, а другая, не менѣе увѣсистая туша, принадлежавшая молодому гостю изъ кавралиновъ, двоюродному брату Умки, весьма больно притиснула къ землѣ мою лѣвую ногу. Въ пологѣ было жарко, какъ въ печи. Рѣзкій запахъ человѣческихъ испареній такъ и бросался въ голову. Сѣрая оленья шерсть носилась повсюду,

прилипала къ потнымъ щекамъ, назойливо лѣзла въ носъ и въ ротъ, примѣшивалась къ каждому глотку чая и къ каждому куску пищи. Чаепитіе кончилось, не успѣвъ начаться. Два ведерныхъ чайника опустѣли, а присутствующимъ насилу досталось по чашкѣ. Женщины опять стали возиться на дворѣ, а общество старалось сократить время ожиданія разговорами. Я кое-какъ уговорилъ Акомлюку отодвинуть свою спину и, доставъ изъ портфеля записную книжку, принялся заполнять страницу дневника. Чукчи смотрѣли на мои руки съ такимъ пристальнымъ вниманіемъ, какъ будто я разыгрывалъ предъ ними на своихъ десяти пальцахъ самое удивительное представленіе. Этынькэу, сидѣвшій наискось, такъ низко перегнулся надъ моими колѣнями, что его голова задѣвала за ручку пера, мѣшая мнѣ писать.

— Ого! — сказалъ онъ, — хорошо ты выучился! Словно бѣгъ мышиныхъ ногъ!

— Словно бѣгъ водяного червяка! — прибавилъ кавралинъ, сидѣвшій рядомъ со мной.

— Это что? — подхватилъ красноглазый Амрикультъ съ торжествующимъ видомъ.

— А нука, Вэипъ, достань бумагу, гдѣ жители! Найди семью Такэ! Посмотримъ, всѣхъ-ли назовешь?..

И онъ опять весь затрясся отъ предвкушаемаго наслажденія.

На этотъ разъ никакія отговорки не помогли. Скрѣпя сердце, я досталъ изъ портфеля злополучные списки и принялся вычитывать рядъ неудобопроизносимыхъ именъ, которыми лучше не отягощать этихъ страницъ. Чукчи слушали съ молчаливымъ удивленіемъ, которое каждую минуту возрастало. Этынькэу поочередно смотрѣлъ то на мои губы, то на бумагу.

— Гдѣ ты ихъ видишь? — сказалъ онъ, наконецъ.

— Развѣ это похоже на людей? Гдѣ носъ, гдѣ глаза, гдѣ ноги?

— Ого! — говорилъ Амрилькутъ. — Развѣ одинъ Такэ? Эта тетрадь знаетъ всѣхъ жителей. Хорошій пастухъ! Забралъ все стадо къ себѣ и стережетъ, не отпуская.

И онъ указывалъ на мои списки съ такимъ увѣреннымъ видомъ, какъ будто ему была въ точности извѣстна каждая подробность ихъ содержанія. Онъ уже готовился раскрыть ротъ, чтобъ потребовать перечисленія именъ другой семьи, но одна изъ головъ, торчавшихъ изъ-подъ входной полы, неожиданно помѣшала ему.

— Мы тебя не знаемъ и никогда не видѣли! — сурово заговорила голова, обращаясь ко мнѣ. — Гдѣ могъ ты увидѣть наши имена и имена нашихъ дѣтей?

— Во снѣ! — отшутился я. — А ты кто такой? — прибавилъ я съ невольнымъ любопытствомъ.

Голова стала еще мрачнѣе, и внезапно изъ подъ мѣховой драпировки выползло массивное туловище и, раздвинувъ двухъ ближайшихъ сосѣдей, пододвинулось ко мнѣ.

— Ты смѣешься надо мной! — заговорилъ мой вопрошатель. — Я Авжольгинъ, сынъ Такэ. Ты только что назвалъ мое имя, а теперь говоришь такъ, будто не знаешь меня совсѣмъ!..

Дѣйствительно, я встрѣтилъ стараго Такэ нѣсколько дней тому назадъ на сосѣднемъ стойбищѣ, и изъ его устъ записалъ имена его домочадцевъ, но я не имѣлъ никакого понятія о томъ, что прямо предо мной торчитъ голова его сына.

— Зачѣмъ ты записываешь имена маленькихъ дѣтой? — продолжалъ Авжольгинъ. — Отъ этого можетъ быть, вредъ!..

Я хотѣлъ начать длинное и утомительное объясненіе, но пріятели мои, слышавшіе его уже нѣсколько разъ, не дали мнѣ раскрыть рта.

— Ты чего? — напустились они на вопрошателя. — Развѣ этотъ плохъ? Этотъ хорошъ!..

— Это не ко вреду! Это для жизни, это для счастья! Солнечный Владыка желаетъ узнать имена здѣшнихъ жителей, всѣхъ — и женщинъ, и дѣтей… Онъ говоритъ: Если я отецъ, почему-же я не знаю, какъ зовутъ моихъ дѣтей? Онъ хочетъ узнать, сколько кому нужно посылать товаровъ: чаю, табаку и тканей!..

Послѣднее соображеніе было, впрочемъ, произведеніемъ ихъ собственной изобрѣтательности.

Авжольгинъ замолчалъ. Я опять сталъ перелистывать списки. Митрофанъ, сидѣвшій у входа, возбудилъ неожиданный вопросъ.

— А что? — спросилъ онъ меня. — Тылювію-то какъ записалъ, мужчиной или женщиной?..

Я дѣйствительно затруднился, какую отмѣтку сдѣлать противъ имени «превращенной» въ графѣ о полѣ.

— А ты какъ думаешь? — обратился я полушутя къ Этынькэу за разрѣшеніемъ недоумѣнія.

— Ко! — тотчасъ-же отвѣтилъ Этынькэу. — Я не знаю! Похожа на женщину!..

— А почему у ней усы на верхней губѣ? — насмѣшливо возразилъ Митрофанъ. — Ты развѣ не видалъ?..

— Коккой! — со страхомъ отвѣтилъ Этынькэу. — Я не приглядывался. Для меня великій страхъ смотрѣть на такое лицо.

— Отчего страхъ? — безпечно возразилъ Митрофанъ, тряхнувъ головой. — Я не боюсь!

— Не говори! — сказалъ Этынькэу, понизивъ голосъ. — Вотъ моего старшаго брата *такая* сдѣлала хромымъ.

— Да вы что насъ спрашиваете? — задорно сказалъ

Амрилькутъ. — Хотите знать, — спросите у нея самой!..

Я, впрочемъ, заранѣе собирался провести эту ночь въ шатрѣ Тылювіи и счелъ эту минуту наиболѣе удобной для того, чтобы разстаться съ хозяевами. Виськатъ и ея сестра, только что втащившія въ пологъ кипящіе чайники съ чаемъ, узнавъ, что я хочу отправиться къ Тылювіи, стали меня удерживать.

— Зачѣмъ ты пойдешь? — говорили они, — что пить станешь? У нихъ нѣтъ даже чайнаго котла!..

— Я возьму этотъ! — сказалъ я, указывая на небольшой походный чайникъ, принадлежавшій мнѣ.

— Смотри! — сурово сказала Раутына. — Если тамъ повѣсишь чайникъ надъ огнемъ, назадъ его не приноси!..

Въ качествѣ старухи, Раутына была ревностной блюстительницей чистоты домашняго очага, который считается оскверненнымъ, если къ нему попадаетъ какой-нибудь предметъ, находившійся въ общеніи съ очагомъ чужой семьи.

Несмотря на предостереженіе, я подхватилъ свой чайникъ и отправился къ шатру Ятиргина. Однако, у входа я остановился въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Огонь на очагѣ былъ погашенъ, и обгорѣлыя головни разбросаны вокругъ. Въ наружной половинѣ шатра никого не было. Обитатели уже успѣли забраться въ свое гнѣздо и теперь ужинали или ложились спать. Вторгнуться къ нимъ безъ предупрежденія не соотвѣтствовало даже обычной безцеремонности полярной жизни. Къ счастью, голосъ хозяина вывелъ меня изъ затрудненія.

— Кто тамъ? — спросилъ онъ изнутри. — Кто пришелъ?

— Гость! — отвѣтилъ я.

— Кто ты?.. — повторилъ Ятиргинъ.

— Гость, Вэипъ, пишущій человѣкъ!

— Войди! — сказалъ Ятиргинъ.

Я немедленно распростерся по землѣ и, проползши подъ входной полой, очутился въ пологѣ.

Хозяева только-что поужинали. Ятиргинъ собирался закурить трубку и усердно ковырялъ мѣдной заправкой закопченный деревянный мундштукъ, чтобы добыть немного нагару.

Табаку у него не было, какъ и у всѣхъ кавралиновъ, уже полгода. Я поспѣшилъ предложить ему листокъ изъ табачнаго мѣшка, который я всегда носилъ въ карманѣ для угощенія чукчей. Онъ жадно схватилъ его и немедленно принялся крошить на небольшой дощечкѣ, потомъ наскоблилъ сырого дерева и, смѣшавъ оба ингредіента, набилъ трубку и съ наслажденіемъ закурилъ.

— Крѣпкій табакъ! — похвалилъ онъ. — Уже шестой мѣсяцъ горькаго не пробовалъ!..

Тылювія съ ожесточеніемъ скоблила ногтями деревянное корыто, въ которомъ недавно помѣщалось мясо, тщательно облизывая буроватую грязь, приставшую къ пальцамъ. Звукъ этого скобленія напоминалъ треніе стального напилка о сухое дерево. Кромѣ супружеской четы, въ пологѣ былъ еще неуклюжій мальчикъ лѣтъ 16, съ круглымъ лицомъ, чернымъ, какъ голенище, и такими оттопыренными губами, какъ будто онъ постоянно собирался свиснуть. То былъ братъ Ятиргина, Китувія, который пришелъ вмѣстѣ съ нимъ изъ Энурмина, чтобы помогать въ дорогѣ, но собирался остаться у Акомлюки въ качествѣ кандидата въ женихи, который долженъ работать и стеречь стадо, пока его признаютъ годнымъ въ мужья. Предметомъ его искательствъ была Нулинга, двоюродная сестра Акомлюки, костлявая, худая, и, вдобавокъ кривая на одинъ глазъ дѣвка, которую никто не хотѣлъ сватать изъ-за ея безобразія. Она была почти вдвое старше Китувіи, но при заключеніи чукотскихъ браковъ это не составляетъ препятствія, если дѣло идетъ о томъ, чтобы бѣдному искателю вступить въ семью богатыхъ стадовладѣльцевъ.

— Итакъ, ты пришелъ! — сказалъ Ятиргинъ, сдѣлавъ нѣсколько затяжекъ изъ трубки.

Слова эти замѣняютъ у чукчей привѣтствіе, но въ данномъ случаѣ они выражали недоумѣніе хозяина.

Я объяснилъ, что у Акомлюки очень тѣсно и что я пришелъ сюда, зная, что тутъ мало людей, и хотѣлъ бы тутъ переночевать.

— Ночуй, ночуй! — поспѣшно сказалъ Ятиргинъ. — Домъ жителя — домъ гостя… Хоть десять ночей кряду… Сколько самъ захочешь…

Я, впрочемъ, заранѣе былъ увѣренъ, что встрѣчу гостепріимный пріемъ, ибо приморскіе чукчи относятся къ гостямъ съ особеннымъ радушіемъ.

— Ухъ! — уже суетился Ятиргинъ. — Чѣмъ только угощать тебя? Мы уже поужинали. Вотъ только объѣдки остались…

Покажи! — обратился онъ къ женѣ. Тылювія молча протянула мнѣ круглый коробъ изъ гнутаго сосноваго луба издѣлія американскихъ эскимосовъ, наполненный истерзанными кусками холоднаго мяса, которое предназначалось къ завтраку.

— Сваримъ чай! — предложилъ я, зная пристрастіе чукчей къ этому напитку.

— Ахъ, у меня нѣтъ чаю! — сказалъ съ сокрушеніемъ хозяинъ. — Было-бы, развѣ я самъ не угостилъ-бы тебя?

— У меня есть, сказалъ я.

— Чайника нѣтъ! — возражалъ хозяинъ.

— У меня есть чайникъ!.. И сахаръ, и сухари! — прибавилъ я, видя его нерѣшительность.

Ятиргинъ все-таки колебался.

— Но вѣдь твой котелъ стоялъ у чужого огня, — жалобно сказалъ онъ. — Грѣхъ противъ домашняго обычая!.. Стой, стой! — вдругъ прибавилъ онъ оживленно. — У меня есть американское шаркающее огниво (спички). Можно будетъ развести новый огонь!..

Дѣйствительно осквернѳніе касается только огня, добытаго отъ деревяннаго огнива, которое составляетъ часть домашнихъ пенатовъ. Огонь-же, добытый при помощи стали и кремня, а тѣмъ болѣе спичекъ, считается безразличнымъ и осквернѳнію не подлежащимъ.

Я послалъ Китувію къ своимъ спутникамъ за дорожными переметами[123] и портфелемъ; Тылювія опять принялась хлопотать около огнища, приготовляя чай и новый ужинъ. Черезъ полчаса мы уже наслаждались горячимъ напиткомъ, на этотъ разъ вполнѣ невозмутимо, ибо назойливая свора любопытныхъ и жаждущихъ подачки людей, отравлявшая каждое мгновѳніе каждаго моего ночлега, никогда-бы не посмѣла набиться въ шатеръ превращенной шаманки. За то пологъ Тылювіи былъ гораздо хуже полога Акомлюки. Онъ былъ такъ тѣсенъ, что мы вчетверомъ едва помѣщались въ его предѣлахъ. Лампа, въ видѣ большой каменной чаши, выдолбленной изъ мягкаго песчаника, была наполнена протухлымъ тюленьимъ жиромъ и немилосердно коптила. Ѣдкая вонь горящей ворвани смѣшивалась съ прѣлымъ запахомъ вареной ѣды и немытой посуды въ такой острый букетъ, что даже привычные хозяева время отъ времени просовывали голову наружу, чувствуя потребность освѣжиться. По обычаю приморскихъ жителей, они раздѣлись до нага и сидѣли въ костюмѣ Адама, прикрывая чресла небрежно брошенной полой мѣховой одежды. Тылювія тоже сняла свои необъятные шаровары и разостлала ихъ у себя на колѣняхъ. Я съ любопытствомъ смотрѣлъ на формы шаманки. Конечно, это было мужское тѣло. Грудь, плечи, животъ, ширина таза — все имѣло рѣзко выраженный мужской характеръ.

— Итакъ, ты пришелъ! — повторилъ Ятиргинъ выразительно, когда второй ужинъ тоже былъ оконченъ. Я отложилъ въ сторону дипломатію и безъ обиняковъ объяснилъ ему, что я ѣзжу для того, чтобы узнавать все примѣчательное, и что его шатеръ привлекъ меня, ибо такихъ людей я еще не видѣлъ близко. На лицѣ Тылювіи выразилось мучительное смущѳніе. Ей, очевидно, было стыдно, что разговоръ собирается коснуться щекотливыхъ особенностей ея исключительнаго состоянія, но Ятиргинъ не раздѣлялъ этого ложнаго стыда.

— Конечно! — сказалъ онъ самодовольно. — Такихъ людей

не часто можно встрѣтить! — и онъ безцеремонно ткнулъ пальцемъ въ грудь своей огромной супруги.

Тылювія смущенно опустила глаза и сдѣлала движеніе, чтобы закрыть лицо руками. Подъ этой маской Горгоны скрывались застѣнчивость шестнадцатилѣтней дѣвочки. Я осторожно объяснилъ, что желаю предложить нѣсколько вопросовъ Тылювіи, чтобы лучше понять свойство ея превращенія.

— Спрашивай, — тотчасъ-же сказалъ Ятиргинъ. — Она будетъ отвѣчать.

Однако, Тылювія сидѣла въ упорномъ молчаніи, перебирая руками оторочку мѣховой одежды и отказываясь подарить меня хоть однимъ взглядомъ.

Дальнѣйшій разговоръ происходилъ въ довольно оригинальномъ порядкѣ. Я задавалъ вопросы, обращаясь къ Тылювіи, но великанша не хотѣла открыть рта и вмѣсто нея говорилъ Ятиргинъ, обнаруживший полную готовность дать объясненіе на самые щекотливые вопросы. Онъ разсказалъ мнѣ, что Тылювія родилась мальчикомъ въ семьѣ одного изъ оленныхъ кавралиновъ Энурмина, который, впрочемъ, снискивалъ значительную часть своего пропитанія морскими промыслами, подобно всѣмъ оленнымъ людямъ восточнаго прибрежья. До начала зрѣлости, Тылювія росла, какъ растутъ всѣ дѣти; но въ критическій періодъ перехода отъ дѣтства къ юношеству она заболѣла тяжелой и таинственной болѣзнью, отъ которой чуть не умерла. По обыкновенію чукотскихъ больныхъ она прибѣгла за помощью къ бубну и колотушкѣ и день за днемъ стала проводить въ пологу, не принимая ѣды и вызывая духовъ своимъ упорнымъ стукомъ. До тѣхъ поръ она никогда не имѣла вдохновенія и никогда не разговаривала съ духами, но теперь «внѣшнія силы» велѣли ей превратиться въ женщину, обѣщая этой цѣной даровать ей выздоровленіе. Тогда она переодѣлась изъ мужского платья въ женское, отказалась отъ мужской силы и ловкости, покинула копье и арканъ для иглы и аута[124] и стала женщиной.

— Развѣ у ней нѣтъ силы? позволилъ я себѣ усомниться въ виду могучихъ мышцъ великанши.

— Ничего нѣтъ! — увѣренно отвѣчалъ Ятиргинъ. — Ноги стали медленны, руки безсильны. А когда-то обгоняла всѣхъ парней на пѣшемъ бѣгу.

— А что трудно было научиться женской работѣ? — спросилъ я опять.

— Не надо было учиться! — послѣдовалъ многозначительный отвѣтъ. — Сразу все узнала. Внѣшнія силы дали знаніе.

На дальнѣйшіе разспросы Ятиргинъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ объяснилъ, что его супруга сохранила природу

мужчины.

— Иныя дѣйствительно совсѣмъ становятся женщинами! — признавался онъ. — Не только душа, но и тѣло… Она къ сожалѣнію не дошла еще… Можетъ быть, потомъ когда-нибудь!..

Другія подробности объясненій я предпочитаю опустить, оставляя за собою право вернуться къ этому предмету въ другое время.

Въ концѣ-концовъ я выразилъ желаніе осмотрѣть тѣло Тылювіи, предлагая за это довольно значительное вознагражденіе по моимъ скромнымъ средствамъ. Ятиргинъ ничего не имѣлъ и противъ этого, но превращенная, несмотря на мои соблазны и уговоры мужа, отказалась на отрѣзъ. Подъ конецъ она вдругъ посмотрѣла на Ятиргина такимъ зловѣщимъ взглядомъ, что онъ сразу съежился и перемѣнилъ тонъ.

— Что-же? — сказалъ онъ. — Дѣйствительно, по ея обычаю ей грѣхъ показываться чужимъ глазамъ… Довольно съ тебя моихъ словъ. Пусть твои уши станутъ тебѣ глазами!..

Я не настаивалъ дольше.

Мы еще долго разговаривали съ Ятиргинымъ въ этотъ вечеръ. Онъ оказался довольно бывалымъ человѣкомъ и обычнымъ эпическимъ языкомъ, свойственнымъ чукотскимъ разсказчикамъ, описывалъ подробности приморской жизни, условія промысла, порядки торговли съ *ротастыми* и *морскими бородачами.* Болѣе всего онъ распространялся о покупкѣ американцами живыхъ оленей для разведенія стадъ на американскомъ берегу, въ которой всѣ чукчи относятся одинаково враждебно, такъ-какъ она грозитъ еще болѣе сократить привозъ дорогихъ мѣховъ изъ полярной Америки, вымѣниваемыхъ на шкуры молодыхъ оленей, необходимыя эскимосамъ для одежды.

— Въ послѣдніе годы — говорилъ онъ — началось новое, чего раньше не бывало, чего мы не слыхали отъ своихъ отцовъ. Ходитъ Или[125] на огненныхъ судахъ, возитъ ружья и капканы и ткани и сахаръ и сердитую воду въ бочкахъ и не беретъ ни уса (китоваго), ни зуба (моржоваго)….

Или, живущій по ту сторону пролива, противъ конца земли, въ морской губѣ, между двумя мысами, въ недвижныхъ домахъ… Накупивъ чукотскихъ оленей, ставитъ на судно, сдираетъ мохъ съ чукотскихъ скалъ, кормитъ всю дорогу, потомъ выпускаетъ на своемъ берегу, творя обиду жителямъ этой земли. Создалъ стадо, соблазняетъ нашихъ пастуховъ стеречь своихъ оленей за высокую плату, размножаетъ скотъ, желая вести торгъ собственными шкурами.

— По моему уму это весьма худо. А по твоему?..

Я выразилъ осторожное мнѣніе, что все вредное жителямъ, я

тоже считаю худымъ.

— Пошелъ Или по морю! — продолжалъ Ятиргинъ — и вышелъ на открытую воду. Встрѣтилъ его Маньо, посланный Солнечнымъ Владыкой *русскій бородачъ*[126], на большомъ суднѣ съ тремя стоячими деревьями (мачтами). Или пьянъ, говоритъ:

— Я начальникъ, я силачъ, я великій, я пьяница!..

— Ага! — говоритъ Маньо[127] — приди-же ко мнѣ въ гости!..

Какъ только пришелъ, связалъ ему руки и ноги, повѣсилъ на мачтѣ внизъ головой.

Говоритъ Маньо: — Ты богачъ, ты начальникъ, ты пьяница?.. А что?..

Или только головой крутитъ. — Ухъ!..

Говоритъ Маньо: — Ты завелъ стадо?

— Завелъ!

— Зачѣмъ-же ты завелъ стадо? Какъ ты пріобрѣлъ его?

Говоритъ Или: — Отчасти, конечно, я купилъ его.

— Ага!.. Чѣмъ-же ты купилъ его?

Говоритъ Или: — Частью ружьями.

— А еще чѣмъ?

— Также сердитой водой!..

— А еще чѣмъ?..

— Иныхъ по правдѣ взялъ грабежемъ.

— Ага! — говоритъ Маньо. — Зачѣмъ-же ты завелъ стадо?

— Хотѣлъ продавать пыжики островитянамъ!..

Говоритъ его людямъ: — На четвертый день придите взять его!..

Пришли его люди на четвертый день.

— Скорѣе уходи на свою землю! Не нужно тебя. Оставь здѣсь оленей! Если Творящій создалъ тебя безъ стада, зачѣмъ противишься, творя оскорбленіе жителямъ этой страны? Уйди скорѣе домой!..

Если снова придешь, будешь убитъ до смерти!..

Тотъ ушелъ, скрылся. Маньо пошелъ по морю, снова встрѣчаетъ заморскаго бородача[128].

— Ты зачѣмъ идешь? Не нужно тебя! Вернись!

— Меня послалъ Владыка земли бородатыхъ…

— Вернись!..

— Не хочу!..

— А-а! — Давай-же сражаться!

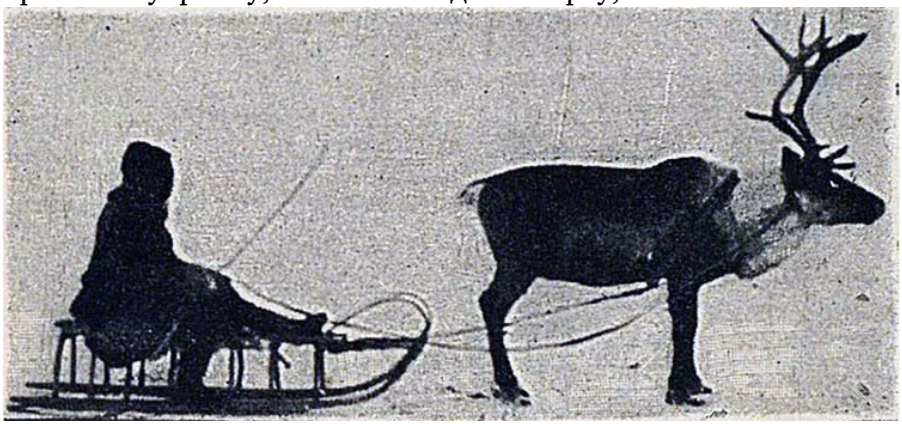
Сразились. Маньо сильнѣе. Сталъ убѣгать заморскій бородачъ. Маньо смотритъ на большую бумагу, видитъ весь путь бѣглеца, спустился подъ воду, нырнулъ, какъ гагара, вмѣстѣ съ судномъ, вынырнулъ впереди чужого судна.

Говоритъ бородатый — пристанемъ къ берегу, испытаемъ изъ

насъ двоихъ, кто лучше.

— Согласенъ!

Вышли на берегъ. Маньо — дружокъ весьма провореньъ, съ легкими членами. Сталъ на собачью нарту, прыгнулъ впередъ черезъ всю упряжку, и опять назадъ на нарту, ибо весьма легокъ.



На одномъ оленѣ.

Другой тяжелъ, колода!.. Скоро смялъ руки бородатаго, пригнулъ къ ногамъ.

— Ой, ой, отпусти!..

Связалъ желѣзной веревкой, увезъ вмѣстѣ съ собой.

Жена и братъ Ятиргина заснули на половинѣ разсказа. Мнѣ нужно было сдѣлать еще нѣсколько записей и я вынулъ изъ портфеля свою тетрадь. Гостепріимный хозяинъ непремѣнно хотѣлъ бодрствовать вмѣстѣ со мною.

— Нѣтъ, нѣтъ! — рѣшительно отвѣчалъ онъ на всѣ уговоры. Пока твои глаза еще смотрятъ, стыдно моимъ закрыться. Буду тебѣ товарищемъ скуки. Стану смотрѣть на бѣгъ твоей руки.

Впрочемъ, такъ поступалъ хозяинъ каждаго шатра, гдѣ мнѣ случалось провести ночь. Мы заснули только около полуночи, одновременно и внезапно побѣжденные усталостью, едва найдя достаточно силы для того, чтобы погасить лампу и не давая себѣ даже труда улечься, какъ слѣдуетъ, на шкурахъ.

II.

Когда на другое утро я вышелъ изъ полога, приготовленія къ бѣгу были въ полномъ разгарѣ. Чаунщики и кавралины уже пріѣхали со своихъ стойбищъ. Оленные жители были тоже въ полномъ сборѣ. Кромѣ чукчей явилось еще человѣкъ двадцать ламутовъ, не столько для участія въ состязаніи, сколько въ

смутной надеждѣ урвать какъ нибудь кусокъ мяса отъ щедрости или простодушія хозяевъ.

Старики стояли группами у шатровъ, молодые люди озабоченно осматривали копыта оленей и полозья бѣговыхъ нартъ. Акомлюка праздно стоялъ у своего шатра. Не надѣясь на быстроту своей упряжки, онъ рѣшилъ отказаться отъ участія въ бѣгѣ.

— Хорошо ты спишь, Вэипъ! — привѣтствовалъ онъ меня. — Должно быть, Тылювія тебѣ мягко постлала… Видѣлъ? — прибавилъ онъ таинственнымъ тономъ, подходя ближе.

— Я какъ увижу? — переспросилъ я. — Впрочемъ, я думаю, что это женщина!..

— Ну да женщина! — вмѣшался неугомонный Амрилькутъ. — Тутъ есть старушка у кавралиновъ, изъ одной земли съ ними, въ одно время пришла, — послушай-ка, что она говоритъ!..

Ночевала, говоритъ, прошлымъ лѣтомъ въ одномъ пологу съ ними, а они лежатъ раскрывшись…

Такъ Ятиргинъ, это что? ребенокъ, а не мужчина. А настоящій-то мужчина — Тылювія…

Чукчи смѣялись, но старый Рольтыиргинъ съ испугомъ уговаривалъ ихъ говорить потише.

— Еще услышитъ та! — кивалъ онъ головой въ сторону шатра Тылювіи, какъ будто шаманка могла услышать оттуда нашъ разговоръ.

Акомлюка отозвалъ меня въ сторону.

— Ты-бы не ставилъ на борьбу!.. — заговорилъ онъ сконфуженно. — Разный народъ есть, со всѣхъ земель… Худые люди!.. Можетъ выйти драка!..

— Нельзя не поставить!.. — отвѣчалъ я. — Всѣ люди знаютъ. Станутъ приставать! — А кто худые? — спросилъ я не безъ задней мысли. — Кэргакъ?..

— Пустое! — отвѣтилъ онъ съ неудовольствіемъ. — Умку могу я зашвырнуть дальше бѣлаго моря, пусть себѣ живетъ съ медвѣдями…

Я улыбнулся. Имя Умки дѣйствительно означаетъ по-чукотски бѣлаго медвѣдя.

— По моему пусть! — продолжалъ Акомлюка. — А только Митрошкѣ скажи, пусть онъ не борется!. Хоть станутъ тянуть за полы, хоть самъ я стану звать, пусть укрѣпится!.. Русскій!.. худо!.. Еще опять выйдетъ смута!

Онъ имѣлъ въ виду столкновеніе русскихъ съ чукчами, имѣвшее мѣсто въ 1895 году на Анюйской ярмаркѣ.

Я обѣщалъ удержать Митрофана отъ участія въ борьбѣ. Этынькэу торжественно вынесъ изъ за своего шатра связку

березовыхъ жердей, провелъ чорту на снѣгу, воткнулъ на чертѣ вѣтку тальника и подлѣ нея положилъ свою ставку. Я воткнулъ вѣтку немного подальше и привязалъ къ ней большой ножъ въ кожаныхъ ножнахъ, довольно грубое произведеніе якутскаго кузнечнаго ремесла. Третій призъ состоялъ изъ тюленьей шкуры и былъ поставленъ Акомлюкой. Женщины зажгли около каждой ставки по небольшому костру и бросили въ огонь по нѣсколько зеренъ жира. Ѣздоки уже запрягали оленей. Толинъ крѣпко подтянулся и заткнулъ за поясъ широкія полы своей кукашки.

— Ухъ! — говорилъ онъ, обращаясь къ намъ. — Я все равно вашъ землякъ, на этой землѣ одинъ съ запада. Пожелайте мнѣ счастья, чтобы я опередилъ. Они всѣ противъ меня, носовые и оленные!.. Ухъ, какъ хочется обогнать!..

Коколи-Ятиргинъ заботливо выравнивалъ длину постромокъ и испытывалъ крѣпость ремешковъ, соединяющихъ концы ременнаго хомута.

Всѣхъ упряжекъ, желавшихъ принять участіе въ бѣгѣ, было около сорока. Къ великой утѣхѣ молодыхъ людей, вертлявая Каляи вывела и свою упряжку, желая состязаться съ мужчинами.

— Го-го! — кричалъ Акомлюка. — Важенка! Хочетъ гнаться за быками!

Каляи бойко отшучивалась, приводя въ порядокъ упряжь своихъ бѣгуновъ. Быть можетъ, она хотѣла своею удалью отвоевать у счастливой соперницы любовь своего мужа. Его, впрочемъ, не было на стойбищѣ. Нѣсколько дней тому назадъ онъ уѣхалъ въ гости къ родственникамъ, жившимъ на южномъ берегу Сухого Анюя, и до-сихъ-поръ еще не возвратился.

Какъ только всѣ олени были запряжены, участники бѣга безъ всякаго порядка ринулись впередъ, каждый съ того мѣста, гдѣ находилась его нарта, и крупной рысью понеслись по дорогѣ, понемногу выравниваясь и вытягиваясь въ долгую линію. Черезъ двѣ минуты всѣ они уже исчезли въ глубинѣ дороги, но изъ средины стойбища выѣхала новая нарта, возбудившая всеобщій восторгъ зрителей. Десятилѣтняя Уанга, старшая дочь Этынькэу, изловивъ старую важенку, смирную, какъ корова, запрягла ее въ полуизломанную кладовую нарту и, насажавъ цѣлую кучу ребятишекъ, выѣхала на дорогу. Важенка бѣжала мелкой рысцой, потупивъ голову и лѣниво передвигая ноги, но Уанга немилосердно дергала возжами и махала длинной талиной, замѣнявшей бичъ. Ей во чтобы-то ни стало хотѣлось догнать старшихъ участниковъ бѣга, умчавшихся впередъ.

— Гото, гото, гото, гото! — присвистывалъ Амрилькутъ. — Вотъ самые быстрые ѣдутъ! Самые лучшіе сзади!

Нѣсколько самыхъ почтенныхъ стариковъ и старухъ, въ

порывѣ неудержимаго восторга, бросились къ нартѣ и расхватали ребятишекъ.

Любовь къ маленькимъ дѣтямъ составляетъ самую свѣтлую черту чукотской жизни и часто выражается такими бурными порывами.

Ребятишки отбивались изо всѣхъ силъ.

— Отстаньте! — кричали они. — Мы торопимся. Не приставайте!..

Старики, однако, не слушали и тащили ихъ назадъ на стойбище.

— Чѣмъ вамъ бѣгать на оленяхъ, — говорилъ Амрилькутъ, — лучше поборитесь!.. Конечно, этакіе силачи не хотятъ стоять безъ дѣла!..

— Эти пусть! — указалъ онъ на двухъ маленькихъ пузатыхъ мальчиковъ, похожихъ на самодвижущіяся связки оборванныхъ мѣховыхъ лохмотьевъ.

Мальчишки сцѣпились тутъ-же, не сходя съ дороги, и весьма добросовѣстно принялись таскать другъ друга по ухабамъ накатанныхъ колей.

Гэть, гэть, гэть!

Гы, гы!

Гычь, Гычь!

Гото, гото, гото!

Присвистывали и притопывали зрители, болѣе увлекаясь этой кукольной борьбой, чѣмъ серьезнымъ состязаніемъ взрослыхъ борцовъ.

— Ѣдутъ, Ѣдутъ! — закричали другіе мальчишки постарше, которые убѣжали впередъ, чтобы первыми увидѣть возвращеніе состязавшихся.

Зрители съ недоумѣніемъ стали присматриваться въ даль. На узкой полоскѣ дороги, убѣгавшей въ глубину рѣчной долины, дѣйствительно показались два крошечныхъ облачка снѣжной пыли, быстро приближавшихся къ стойбищу.

— Мало бѣгали! — недовольнымъ тономъ сказалъ Рольтыиргинъ. — Ставка большая, надо бѣгать дальше!

Неугомонный Амрилькутъ попытался вскарабкаться на огромную кучу мерзлыхъ шкуръ, сваленныхъ у послѣдняго шатра, но она немедленно расползлась подъ его ногами и на минуту совсѣмъ заслонила отъ его глазъ приближавшихся ѣздоковъ. Они мчались во весь опоръ, заставляя оленей напрягать послѣднія силы. Комья снѣгу такъ и летѣли изъ подъ копытъ. Маленькія легкія нарты судорожно подпрыгивали на каждомъ ухабѣ.

— Напрасно смотрите, — вдругъ сказалъ Акомлюка. — Это не передніе!

— Ты откуда знаешь? — спросилъ я съ удивленіемъ.

— А ты думаешь, передніе олени такъ отбрасываютъ ноги? — саркастически возразилъ онъ. — Это какіе-то хромые, должно быть, съ полдороги вернулись!..

Дѣйствительно, когда чрезъ нѣсколько минутъ нарты подскакали къ стойбищу, ѣздоки сконфуженно стали распрягать оленей въ сторонкѣ, не дотрагиваясь до ставки.

Настоящія переднія нарты показались почти черезъ полчаса. На этотъ разъ въ глубинѣ дороги появилось только одно облачко, которое мчалось съ удивительной быстротой, гораздо скорѣе двухъ раньше пріѣхавшихъ нартъ.

Амрилькутъ опять полѣзъ на свои шкуры.

— Двѣ нарты! — сказалъ онъ увѣренно. — Толинъ и Коколи, больше некому.

Облачко дѣйствительно раздѣлилось на двое, и задняя половина постепенно начала отставать отъ передней. Сзади на самомъ краю горизонта появилась длинная полоска снѣжной пыли, низко прилегавшая къ землѣ и тоже быстро катившаяся по направленію къ стойбищу. Черезъ пять минутъ весь поѣздъ былъ на виду. Толинъ и Коколи-Ятиргинъ дѣйствительно скакали во главѣ состязавшихся. Толинъ былъ впереди всѣхъ; его высокіе поджарые олени вытягивались, какъ борзыя собаки, и такъ далеко забрасывали свои длинныя ноги, что заднія копыта чуть не стукались о переднія. Ѣздокъ сидѣлъ скорчившись и только похлопывалъ возжами. Толинъ больше всего гордился именно тѣмъ, что его олени не нуждаются въ ударахъ бича. Коколи-Ятиргинъ, отставшій отъ него саженей на десять, напротивъ, осыпалъ оленей безпощадными ударами остраго костяного наконечника[129]. Его олени, очевидно, достигли высшей быстроты бѣга и не имѣли силъ ускорить движеніе.

По лицу Амрилькута расплылась широкая улыбка. Толинъ былъ женатъ на его племянницѣ и, пріѣзжая на Россомашью, жилъ у него на стойбищѣ.

Наддай, Толинъ! — крикнулъ онъ и, не надѣясь, что его слова будутъ услышаны, сдернулъ съ головы свой широкій лисій шлыкъ и азартно замахалъ имъ въ воздухѣ.

Толинъ бросилъ бѣглый взглядъ въ сторону зрителей и, привставъ на полозьяхъ, приподнялъ бичъ. Олени его рванулись впередъ и оставили Коколи-Ятиргина еще на нѣсколько саженей. Побѣда его была обезпечена. До конца бѣга оставалось не болѣе тридцати или сорока саженей. Вдругъ лѣвый олень неловко передернулъ въ воздухѣ передними ногами и неожиданно воткнулся носомъ въ снѣгъ. Толинъ взмахнулъ бичемъ и на этотъ этотъ разъ ударилъ оленя съ такою силой, что кровь брызнула изъ

подъ наконечника. Олень сдѣлалъ было усиліе, чтобы рвануться впередъ, но вмѣсто того сталъ клониться на сторону и, наконецъ, повалился на снѣгъ, увлекая за собой другого оленя, соединеннаго съ нимъ общей короткой уздой.

Толинъ еще разъ передернулъ возжами, потомъ хотѣлъ было соскочить съ нарты и докончить состязаніе пѣшкомъ, но было уже поздно. Коколи-Ятиргинъ успѣлъ схватить главную ставку, а сзади, какъ буря, налетала безпорядочная вереница бѣговыхъ нартъ.

— Ухъ! — жалобно простоналъ онъ, ударивъ себя ручками по бедрамъ, и пошелъ въ сторону, не позаботившись даже распречь своихъ бѣгуновъ, запутавшихся въ упряжи и бившихся на снѣгу.

Впрочемъ, два или три подростка тотчасъ-же подскочили къ его нартѣ и, осторожно распутавъ упряжь, распрягли оленей и повели ихъ къ мѣсту привязи. Лѣвый олень поднялся на ноги, и теперь, какъ ни въ чемъ не бывало, ступалъ по снѣгу вслѣдъ за мальчикомъ, державшимъ въ рукѣ узду.

Амрилькутъ, стоявшій рядомъ со мной, нахмурился.

— Посмотри, — сказалъ онъ мнѣ таинственно, указывая на удалявшихся оленей. Непремѣнно напущено! Олени совсѣмъ не пристали. Безъ колдовства развѣ упадутъ олени передъ концомъ бѣга? Чье-то злоумышленіе; тайныя слова!..

Я слушалъ его безъ удивленія, ибо мнѣ было извѣстно, какое мѣсто занимаютъ всевозможные заговоры и чары въ чукотской жизни.

Вниманіе Амрикульта тотчасъ-же отвлеклось въ другую сторону. Участники бѣга продолжали пріѣзжать то группами, то по одиночкѣ до послѣдней минуты, стараясь блеснуть предъ зрителями быстротой своихъ упряжекъ. Ѣхавшіе вмѣстѣ такъ усердно стремились обогнать другъ друга, какъ будто ни одна ставка еще не была взята. Къ великому утѣшению всѣхъ зрителей, Каляи вернулась въ числѣ самыхъ первыхъ и, подлетѣвъ къ стойбищу, бойко соскочила съ нарты, круто осадивъ оленей. Ея некрасивое лицо разгорѣлось отъ холода и движенія и какъ будто преобразилось; она казалась теперь моложе и свѣжѣе; ея юркая фигура, въ одеждѣ изъ растрепаннаго рыжаго мѣха, замелькала по стойбищу, показываясь то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ. Самые задніе вернулись шагомъ на обезсилѣвшихъ оленяхъ, еле передвигавшихъ ноги. Иные ѣхали на одномъ оленѣ, а другого вели сзади на привязи. Этынькэу, хвастливо намѣревавшійся захватить собственную ставку, пріѣхалъ двадцатымъ. Единственный ламутъ, дерзнувшій вступить въ состязаніе съ чукчами, пріѣхалъ въ самомъ хвостѣ ѣдущихъ и поспѣшилъ удалиться въ сторону, избѣгая насмѣшекъ.

Калюунъ, самый удалый изъ чаунщиковъ, олени котораго взяли не одинъ призъ на разныхъ бѣгахъ отъ Чауна до Колымы, вернулся послѣднимъ. Онъ велъ за собою на длинной привязи трехъ или четырехъ оленей. То были присталые, покинутые по дорогѣ различными ѣздоками, на попеченіе того, кто будетъ ѣхать сзади всѣхъ.

— О-о! — смѣялись чукчи, глядя на этотъ поѣздъ. — Предводитель кочевья ѣдетъ! Другъ, гдѣ твой кочевой караванъ?

Кочевой караванъ обыкновенно движется шагомъ.

— Близко! — отшучивался Калюунъ. — Да и стадо тутъ-же. Что, мохъ найдется-ли? Ваши копыта весь мохъ вытоптали!..

— Что дѣлать? Олени пристали, — объяснялъ онъ потомъ зрителямъ. — Только третьяго дня пріѣхалъ съ Чауна!..

Молодые парни, собиравшіеся состязаться въ пѣшемъ бѣгѣ, уже давно сгорали отъ нетерпѣнія. Маленькій и невзрачный Келеккакъ, бѣдный родственникъ Акомлюки, проживавшій въ качествѣ пастуха при его стадахъ, подбѣжалъ ко мнѣ съ озабоченнымъ видомъ.

— Хочешь ставить, такъ ставь! — заговорилъ онъ безъ обиняковъ. — Молодые люди хотятъ бѣжать.

Видишь, солнце перевалило черезъ макушку неба. До вечера еще много работы!..

Я велѣлъ одному изъ моихъ спутниковъ достать обѣщанную ставку.

— Только поставь побольше! — сказалъ Келеккакъ. — Далеко будемъ бѣжать! Жалко нашихъ ногъ при малой ставкѣ!..

— А тебѣ какая забота? — возразилъ я шутя. — Развѣ ты возьмешь? Твои ноги что-то коротки!..

— Пусть коротки! — возразилъ Келеккакъ увѣренно, — все равно возьму! Ставь ставку! Замедленіе ты!..

Ставка вызвала одобреніе всѣхъ присутствующихъ. Она состояла изъ полукирпича чаю и папуши листового табаку, что представляло по южно-сибирскимъ цѣнамъ стоимость немного болѣе полтинника, но мнѣ обошлось не менѣе двухъ рублей, а у окрестныхъ жителей представляло мѣновую цѣну двухъ молодыхъ оленей. Келеккакъ и его товарищи тотчасъ-же стали приготовляться къ бѣгу. Они снимали обувь и верхнее платье и оставляли на себѣ только нижнюю одежду, сдѣланную изъ тонкихъ и мягкихъ шкуръ, и тонкіе мѣховые чулки, надѣтые шерстью внутрь, запущенные подъ шаровары и плотно затянутые снурками вокругъ щиколотки. Въ рукахъ у каждаго былъ короткій и крѣпкій посохъ съ широкимъ роговымъ наконечникомъ, для того, чтобы подпираться во время бѣга. Всѣхъ участниковъ бѣга набралось человѣкъ двѣнадцать. Большая

часть ихъ сгруппировалась около ставки, нисколько не заботясь о томъ, чтобы выровняться въ линію, и дожидаясь только, чтобы послѣдніе окончили переодѣваніе. Плотная фигура Акомлюки замѣтно выдавалась между другими.

Онъ не снялъ кукашки и только плотнѣе затянулъ поясъ вокругъ стана и неподвижно стоялъ, опираясь на посохъ, весь наклонявшись впередъ и готовый каждую минуту сорваться съ мѣста. Трое молодыхъ ламутскихъ парней, тоже пожелавшихъ принять участіе въ состязаніи, тощихъ и низкорослыхъ, съ ногами, похожими на спички, выглядѣли рядомъ съ нимъ просто пигмеями.

— Какъ весенніе телята возлѣ сохатаго! — самодовольно говорили чукчи, поглядывая на группу молодыхъ людей. Старые ламуты, стоявшіе въ толпѣ, только поддакивали. Они слишкомъ боялись чукчей и зависѣли отъ нихъ, чтобы защищать передъ ними свое національное достоинство. Даже степенный Пэлэпка — Павелъ (Павелъ Филипповъ), капралъ[130] рода Балаганчиковъ, счелъ своимъ долгомъ замѣтить на ломанномъ чукотскомъ языкѣ:

— Ламуты слабѣе, ламуты мало ѣдятъ! Никогда ѣды нѣтъ — оттого!..

Какъ только послѣдній изъ переодѣвавшихся поднялся съ земли, вся группа кинулась въ разсыпную, толкая и перегоняя другъ друга, но все-таки видимо стараясь сберечь свои силы для дальнѣйшей части состязанія. Въ виду важности ставки бѣгъ предлагался далекій. — «Пока обезсилимся!» — Пока мозгъ въ костяхъ не сожмется! — говорили парни. Рѣшающее значеніе, конечно, должно было принадлежать обратной половинѣ пути по направленію къ стойбищу.

Зрители стояли, не расходясь, и смотрѣли вслѣдъ убѣгавшимъ. Я сталъ искать глазами Толина. Они стояли съ Амрилькутомъ въ сторонѣ и о чемъ-то оживлено разговаривали. Я подошелъ слушать.

— Я тебѣ опять говорю, — настаивалъ Амрилькутъ, — не гонись ты за призомъ! Ихъ умы всѣ противъ тебя! Еще испортятъ тебя, да!.. Если нельзя не состязаться, самъ останься сзади, пріѣзжай третьимъ или четвертымъ!.. Дай другимъ потѣшиться!..

Толинъ упрямо тряхнулъ своими длинными серьгами.

— Скажи ему, Вэипъ! — обратился ко мнѣ Амрилькутъ съ огорченнымъ видомъ. — Онъ русскихъ любитъ, можетъ, тебя послушаетъ!..

— Я какъ стану сзади оставаться?.. — проворчалъ Толинъ. — Люди хотятъ обогнать, а я стану оленей удерживать?.. Пусть колдуютъ! Мы тоже найдемъ вдохновеніе!..

Къ моему удивленію, Энмувія, который вчера такъ неотвязно

преслѣдовалъ Митрофана, не побѣжалъ вмѣстѣ съ другими.

— А ты чего? — насмѣшливо обратился къ нему Селивановъ. — А еще, говорятъ, легкій человѣкъ!

Энмувія печально посмотрѣлъ на него.

— Худо! — сказалъ онъ со вздохомъ. — Съ утра занемогъ. Чай пилъ плохо. ѣду не ѣлъ. Теперь все тѣло дрожитъ!..

— Отчего заболѣлъ? — допытывался Селивановъ.

— Кто знаетъ? — отвѣтилъ Энмувія уклончиво. — Людей съ твердымъ сердцемъ слишкомъ много, мужчинъ и женщинъ!..

— Видишь! — сказалъ Селивановъ съ негодованіемъ, уразумѣвъ намекъ и обращаясь на этотъ разъ ко мнѣ. — Только у нихъ ума, чтобы портить другъ дружку. Давеча Толиновихъ оленей, а теперь и до людей дошло!..

Каляи отыскивала меня въ толпѣ.

— Другъ! — сказала она просительно. — Ты обѣщалъ поставить и женщинамъ. Поставь поскорѣе! Я не въ силахъ дожидаться. Сами ноги такъ и убѣгаютъ. Поставь, пожалуйста! пусть и изъ насъ кто-нибудь потѣшитъ душу, русскую ставку возьметъ!

Я поставилъ ставку и для женщинъ. Онѣ оказались гораздо азартнѣе мужчинъ и толпою бросились впередъ, не давая себѣ даже времени раздѣться и кое-какъ на бѣгу развязывая оборы и сдергивая черезъ голову мохнатые верхніе кэркэры. Толстая Виськатъ не преминула запутаться въ собственной волочащейся штанинѣ и тутъ же около стойбища ткнулась лицомъ въ снѣгъ, вызывая смѣхъ и вольныя шутки зрителей.

Вмѣстѣ со взрослыми дѣвками и молодыми бабами, побѣжали и молоденькія дѣвочки, которыя не могли имѣть никакой надежды добѣжать даже до половины бѣга. Маленькая Уанга тоже ковыляла сзади всѣхъ на своихъ короткихъ ногахъ. Черезъ четверть часа женщины, въ свою очередь, потерялись изъ глазъ, растаявъ въ сверкающей снѣжной бѣлизнѣ рѣчной долины. Ожидать возвращенія обѣихъ партій приходилось долго, ибо пѣшій бѣгъ, конечно, происходитъ гораздо медленнѣе оленьяго.

Этынкэу посмотрѣлъ кругомъ. Акомлюки и Умки не было. Всѣ тѣ люди, столкновеніе которыхъ могло оказаться опаснымъ, были въ числѣ участниковъ бѣга. Въ его головы неожиданно родился мудрый планъ.

— Если бороться, — громко заговорилъ онъ, — надо теперь начинать. Вечеръ приближается. Когда еще окончимъ!

— Кто хочетъ бороться, пусть бѣжитъ *грѣться!* — заключилъ онъ, входя въ роль хозяина. — А *ты* давай ставку!..

Человѣкъ тридцать изъ присутствующихъ, всѣ, кто были помоложе, побѣжали толпой по общей дорогѣ. Это была уже

третья партія состязавшихся. Этынькэу, отыскавъ мѣсто поровнѣе, заботливо утаптывалъ ногами снѣгъ и убиралъ прочь сучья и щепки. Люди, побѣжавшіе грѣться, тоже скрылись изъ глазъ, но вмѣсто нихъ на горизонтѣ показалось нѣсколько движущихся точекъ, которыя, конечно, должны были принадлежать партіи женщинъ. Бѣгъ молодыхъ парней долженъ былъ простираться гораздо дальше и для нихъ было еще рано появиться на полѣ зрѣнія.

Женщины постепенно приближались къ стойбищу. Онѣ растянулись въ длинную линію съ огромными промежутками и, видимо, изнемогали отъ усталости. Всѣ силы ихъ ушли на стремительность первоначальнаго порыва. Большая часть уже думала не о ставкѣ, а о томъ, чтобы какъ-нибудь добраться до стойбища. Иныя ложились лицомъ на снѣгъ и лежали неподвижно, ожидая, пока подойдутъ бывшія позади. Только Каляи и еще одна молодая дѣвушка лѣтъ 18, разгорѣвшаяся, какъ огонь, и выпроставшая плечи и грудь изъ широкихъ рукавовъ корсажа, еще имѣла силу бѣжать взапуски. Каляи, впрочемъ, успѣла добѣжать первая и, схвативъ чай и табакъ, бывшіе на ставкѣ, въ обѣ руки, изнеможенно опустилась на землю. Лицо ея посинѣло отъ напряженія; растрепанныя косы были покрыты густымъ слоемъ мохнатаго инея; на бровяхъ, на рѣсницахъ, вездѣ былъ бѣлый налетъ. Она хотѣла что-то сказать, но не могла выговорить ни слова и только громко и часто дышала, какъ загнанная лошадь. Дѣвушка, прибѣжавшая сзади, съ досадой сдернула свой корсажъ еще ниже и повалилась навзничь въ сугробъ рыхлаго снѣга.

Люди, убѣжавшіе для того, чтобы согрѣться передъ борьбой, тоже возвращались. Добѣгая до мѣста борьбы, они устанавливались широкимъ кругомъ вмѣстѣ съ простыми зрителями. Калюунъ, славившійся своимъ искусствомъ въ борьбѣ, вышелъ на средину и сдернулъ свою парную кукашку, обнажившись до пояса. Его красивый бѣлый торсъ съ выдающимися мускулами на груди и на рукахъ, какъ-то странно отдѣлялся отъ неуклюжихъ мѣховыхъ штановъ, сшитыхъ по обычному чукотскому покрою и потому лишенныхъ пояса и упрямо сдвигавшихся внизъ.

Шея его была украшена ожерельемъ изъ двойного ряда крупныхъ разноцвѣтныхъ стеклянныхъ бусъ.

— Ну, кто хочетъ? — сказалъ онъ, присѣдая на корточки и растирая снѣгомъ свои плечи и грудь, чтобы вызвать приливъ крови къ кожѣ, защищающій отъ холода. Долговязый молодой кавралинъ выступилъ изъ рядовъ и тоже снялъ кукашку, приготовляясь къ борьбѣ. Онъ былъ хромъ на лѣвую ногу и это

помѣшало ему принять участіе въ бѣгѣ, но онъ хотѣлъ наверстать свое.

— Ты куда, Иченъ? — останавливали его зрители, — Калюунъ тебѣ еще изломаетъ что-нибудь!

Но Иченъ не обращалъ вниманія на уговоры и всталъ въ боевую позицію, наклонивъ впередъ туловище, немного разставивъ ноги и стараясь покрѣпче утвердить на снѣгу скользкія подошвы своихъ сапогъ. Борьба началась.

Противники бросались другъ на друга по очереди. Одинъ стоялъ пассивно, а другой нападалъ, стараясь сбить его съ ногъ или, по крайней мѣрѣ, стащить съ мѣста. Они безъ разбора хватали одинъ другого всей горстью за грудь, за кожу на загривкѣ, за бока, повсюду, куда только можно было впиться крѣпкими пальцами и даже ногтями. Двѣ пары рукъ, непрерывно упадая на мокрое тѣло, отскакивали съ хлопающимъ звукомъ, похожимъ на удары валька по мокрому бѣлью. Борцы падали на землю, перекатывались друга чрезъ друга, таскали одинъ другого въ мокромъ снѣгу и, вскакивая, расходились, присѣдали на корточки на противоположныхъ концахъ арены, натирались снѣгомъ и снова становились въ позицію для возобновленія борьбы. Наконецъ, Калюунъ такъ хлопнулъ Ичена объ твердо утоптанный снѣга, что тотъ, поднявшись, началъ смущенно потирать плечи и отошелъ въ сторону, признавъ себя побѣжденнымъ.

Одолѣвъ еще одного соперника, Калюунъ тоже вошелъ въ ряды для того, чтобы передохнуть. За нимъ оставалось право вступить въ единоборство съ послѣднимъ побѣдителемъ для того, чтобы испытать, кто окажется сильнѣе всѣхъ. На арену выступили новые борцы, но борьба почему-то не разгоралась. Чукчи, видимо, боялись увлекаться, очень хорошо зная, что у такихъ разнородныхъ соперниковъ, какіе были здѣсь, при первой же серьезной стычкѣ борьба можетъ обратиться въ кулачный бой и окончиться неожиданнымъ побоищемъ. Когда человѣкъ десять уже перебывало на аренѣ, наконецъ, раздался крикъ подростковъ, бѣгавшихъ взадъ и впередъ по стойбищу.

— Бѣгутъ!

Борьба тотчасъ же прекратилась: смотрѣть на состязаніе бѣжавшихъ было гораздо интереснѣе. Ставку подѣлили между собою Калюунъ и еще одинъ черный приземистый чукча, тоже свалившій двухъ человѣкъ.

Черезъ нѣсколько минутъ бѣжавшіе уже приближались къ стойбищу. Впереди всѣхъ дѣйствительно былъ Келеккакъ. Несмотря на десятиверстное разстояніе, оставшееся за его спиной, онъ бѣжалъ легко, рѣдкими и большими прыжками,

каждый разъ закидывая впередъ посохъ и стараясь ступить какъ можно дальше вытянутымъ носкомъ ноги.

— Хорошо бѣжитъ! — рѣшили знатоки. — Настоящія оленьи ноги.

Шагахъ въ двадцати за Келеккакомъ бѣжали рядомъ Акомлюка и одинъ изъ молодыхъ ламутовъ. Ламутъ постоянно убѣгалъ впередъ, но Акомлюка снова дѣлалъ усиліе и настигалъ его, забѣгая со стороны дороги и стараясь оттѣснить его въ снѣгъ. Другіе такъ отстали, что ихъ едва можно было разглядѣть. Мало-по-малу ламутъ и Акомлюка стали приближаться къ Келеккаку. Разстояніе между ними сократилось шаговъ до десяти, потомъ сдѣлалось еще меньше. Одну минуту казалось, что кто-нибудь изъ задней пары вырветъ пальму побѣды у передняго бѣгуна. Но Келеккакъ рванулся впередъ съ новой энергіей и снова оставилъ своихъ соперниковъ сзади. Нѣсколько широкими прыжками онъ достигъ цѣли и схватилъ призъ. Его волосы, брови и рѣдкіе усы тоже были запушены инеемъ, но онъ, повидимому, не очень усталъ.

— Куда имъ со мной состязаться? — гордо говорилъ онъ. Я сызмалѣтства привыкъ; сутками бѣгаю за стадомъ, ни разу не садясь; не знаю, что такое пологъ.

Акомлюка въ изнеможеніи опустился на нарту, стоявшую у межевой черты.

— Если бы не моя болѣзнь, — сказалъ онъ, съ трудомъ выговаривая слова отъ усталости, — мы бы еще потягались. Злой духъ лишилъ меня силы. Это всѣ знаютъ!

Акомлюка, дѣйствительно, недавно оправился отъ болѣзни.

— А хочешь? — сказалъ вызывающимъ тономъ Келеккакъ, въ упоеніи побѣды, повидимому, забывшій свое зависимое положеніе. — Хочешь, опять побѣжимъ! Я готовъ пробѣжать еще столько же!

Оставшіеся сзади подбѣгали одинъ за другимъ. Мой новый пріятель Ятиргинъ, несмотря на усталость, тотчасъ же освѣдомился о ставкѣ для борцовъ и былъ весьма непріятно удивленъ, узнавъ, что борьба уже окончена.

— Зачѣмъ такъ сдѣлали? — громко ропталъ онъ. — Жаль табаку! Мы развѣ не люди, что насъ не захотѣли ждать?

Однако, ропотъ его остался безъ послѣдствій. Солнце быстро спускалась на западный склонъ горизонта и для вторичнаго состязанія не оставалось времени.

Молодые подростки, не принимавшіе участія въ бѣгѣ, не желая отставать отъ старшихъ, затѣяли состязаніе въ прыганій, воздвигая изъ жердей и изломанныхъ саней импровизированные барьеры и преграды. Прыгали они, не раздвигая ногъ, съ плотно

сложенными носками, стараясь придать себѣ легкости нѣсколькими послѣдовательными прыжками и сдѣлать послѣдній рѣшительный прыжокъ возможно дальше. Неловкій обыкновенно попадалъ ногами въ средину груды деревянныхъ обломковъ и платился довольно чувствительными ушибами. Парни, немного отдохнувъ, принялись прыгать взадъ и впередъ съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто никто изъ нихъ не участвовалъ въ недавнемъ бѣгѣ. Каждый, вновь прыгавшій, старался превзойти предшественника; предѣльная черта прыжка отодвигалась все дальше и дальше. Побѣдителемъ, однако, оказался не Келеккакъ и никто изъ чукотскихъ парней, а довольно пожилой ламутъ съ безобразнымъ лицомъ и ногами, искривленными отъ постояннаго сидѣнья на оленьемъ хребтѣ. Его подошвы, казалось, были сдѣланы изъ каучука; онъ легко переносился черезъ всѣ барьеры и каждый слѣдъ, оставленный его ногами на снѣгу послѣ предѣльнаго прыжка, былъ недостижимой цѣлью для всѣхъ чукотскихъ прыгуновъ.

Мальчишки отстали отъ взрослыхъ и, привязавъ къ вершинѣ дерева длинный ремень съ лямкой на концѣ, бѣгали по кругу, забавляясь «гигантскими шагами». Нѣсколько молодыхъ женщинъ собрались на другомъ концѣ стойбища и затѣяли своеобразное игрище, которое тотчасъ-же привлекло къ себѣ вниманіе всѣхъ мужчинъ, молодыхъ и старыхъ.

Три пары самыхъ бойкихъ женщинъ встали другъ противъ друга и начали такъ называемое «горлохрипѣніе», которое замѣняетъ у чукчей хоровое пѣніе и служитъ введеніемъ къ пляскѣ.

Онѣ испускали странные горловые звуки, совершенно не поддающіеся описанію, производя ихъ непрерывной смѣной короткихъ и отрывистыхъ вдыханій и выдыханій. Казалось, какъ будто оригинальныя пѣвицы изо всѣхъ силъ стараются удержать голосъ въ самой глубинѣ горла и каждый звукъ, все таки выходящій наружу, стремятся снова проглотить и вернуть обратно. Сквозь это странное хрипѣнье съ трудомъ можно было уловить слова припѣва:

— Одноглазый старикъ съ молодой дѣвкой состязались въ горлохрипѣніи… А-хай, а-хай, а-хай!

Пока у старика не вылѣзъ послѣдній глазъ изо лба… А-хай, а-хай, а-хай! А-хай, а-хай, а-хай!..

Гуна вай, гуня вай! — затянули пѣвицы протяжнымъ речитативомъ.

— Мы стали безъ костей!

Начался обычный танецъ, состоявшій изъ довольно нелѣпаго топанія на мѣстѣ и разнообразившійся вставочными

мимическими эпизодами наивно безстыднаго характера, которые я затрудняюсь описать. Мальчишки тоже приняли участіе въ пляскѣ и одинъ въ особенности возбудилъ всеобщій восторгъ выразительной гибкостью своего стана и подвижностью поясницы.

Послѣ пляски женщины завязали цѣлый рядъ разнообразныхъ игръ. Однѣ прыгали черезъ веревочку, переваливаясь съ ноги на ногу, похлопывая мѣховыми рукавами въ тактъ прыжкамъ и каждый разъ задѣвая штаниной объ штанину. Другія пускались взапуски «на четырехъ костяхъ», крѣпко упираясь въ землю носками ногъ и кулаками выпрямленныхъ рукъ, которыя должны были оставаться все время не согнутыми. Третьи прыгали взадъ и впредъ, сжавшись въ комокъ и схватившись руками за носки сапоговъ, что, при массивности мѣховыхъ одеждъ, требовало не малой ловкости. Четвертыя, наконецъ, по-просту ползли на брюхѣ, вытянувъ ноги, сложенныя вмѣстѣ, упирался локтями объ землю и поразительно напоминая ползущихъ нерпъ — онѣ дѣйствительно имѣли въ виду подражать нерпамъ.

Акомлюка проявлялъ весьма живой интересъ къ женскимъ играмъ и осыпалъ участницъ шумными возгласами одобренія. Самымъ бойкимъ онъ выражалъ свое сочувствіе еще наглядньe и пускалъ въ ходъ свои длинныя руки, что заслуживало ему отъ Каляи довольно изрядный толчекъ въ грудь.

— А ты что стоишь, какъ дерево? — задорно сказалъ онъ Ятиргину, — и не обнимаешь такихъ удалыхъ дѣвокъ?

Ятиргинъ только поглядѣлъ на него и не отвѣчалъ ни слова. Длинная фигура Тылювіи, какъ безмолвное memento mori, виднѣлась у входа въ послѣдній шатеръ. Она разложила большой огонь и накладывала куски мяса въ закопченый котелъ, готовясь подвѣсить его на крюкъ.

— Ну, давай, хоть поборемся! — предложилъ Акомлюка. — Зачѣмъ тебѣ стоять безъ дѣла?..

Ятиргинъ тотчасъ-же согласился. Несмотря на свой тщедушный видъ, онъ считался однимъ изъ самыхъ сильныхъ борцовъ въ Кичетунѣ, Энурминѣ и Нэтэнѣ, трехъ приморскихъ поселкахъ, расположенныхъ рядомъ.

Они схватились, не снимая кушаковъ, и стали топтаться на мѣстѣ, стараясь половчѣе притянуть къ себѣ противника. Акомлюка нападалъ, а Ятиргинъ, сообразно обычаямъ борьбы долженъ былъ ограничиваться только пассивнымъ сопротивленіемъ. Вдругъ, замѣтивъ, что Акомлюка слишкомъ подался впередъ, онъ сильно отскочилъ и дернулъ за плечи противника, — тотъ немедленно растянулся во всю длину, ударившись лицомъ объ снѣгъ.

— Это противъ обычая! — закричалъ онъ, вскакивая на ноги. — Не твоя очередь! Вотъ я тебя еще не такъ дерну!..

Но долговязый Энмувія удержалъ его за руки. Съ утра онъ успѣлъ оправиться и теперь сгоралъ желаніемъ испробовать свои силы. — Я стану! — говорилъ онъ нетерпѣливо. — Ты потомъ!..

— Волей-неволей Акомлюка вынужденъ былъ уступить мѣсто новому претенденту.

Началась борьба между маленькимъ кавралиномъ и долговязымъ оленеводомъ, который былъ выше своего противника на полторы головы, и длилась очень долго безъ всякаго рѣшительнаго перевѣса въ ту или другую сторону. Энмувія два раза высоко приподнималъ Ятиргина въ своихъ огромныхъ объятіяхъ и далеко бросалъ его въ сторону, совсѣмъ на-отмашь, но Ятиргинъ оба раза, какъ кошка падалъ на ноги. Съ другой стороны, всѣ уловки, изобрѣтенныя чукотской борьбой и поочередно пущенныя въ ходъ Ятиргиномъ, оказались безсильными для того, чтобы сбить съ ногъ огромнаго представителя оленныхъ людей.

Акомлюка ни за что не хотѣлъ успокоиться.

— Моя очередь! — кричалъ онъ. — Перестань, Энмувія! Пусть я попробую!..

Дюжій Умка, дѣйствительно напоминавшій фигурой бѣлаго медвѣдя и, для довершенія сходства, съ головы до ногъ облеченный въ бѣлую мѣховую одежду, выступилъ впередъ и неторопливо сталъ развязывать поясъ.

— Если тебѣ хочется, такъ попляшемъ со мной! — сказалъ онъ съ жестокой улыбкой на своемъ четвероугольномъ, кирпично-багровомъ лицѣ съ крупнымъ носомъ и массивными челюстями.

Акомлюка на минуту смѣшался, но старики, находившіеся среди зрителей, единодушно запротестовали противъ борьбы.

— Довольно! — кричалъ Амрилькутъ. — Перестаньте на ночь! Народъ озябъ, нужно войти въ пологъ, у бабъ ужъ чай варится. Вотъ и солнце входитъ въ свой шатеръ!..

Солнце дѣйствительно накатилось. У каждаго шатра былъ разведенъ огонь и женщины суетливо перебѣгали отъ огня къ шатру и обратно, занимаясь приготовленіемъ ужина и ночлега. Всѣ полога уже были поставлены на мѣсто. Морозъ былъ еще крѣпче, чѣмъ вчера. Молодыя дѣвки мерзли, и то и дѣло вскакивали въ густую струю дыма, тянувшуюся отъ костра по направленію вѣтра, для того, чтобы нѣсколько согрѣть свои полуобнаженныя плечи. Спутники мои давно забились въ пологъ, хотя въ только что поставленномъ чукотскомъ пологу, пока онъ не прогрѣется парами чайника и дыханіемъ ночлежниковъ, пожалуй, еще холоднѣе, чѣмъ на дворѣ. Тылювія зажигала

свѣтильню въ своей каменной лампѣ, намѣреваясь внести ее въ пологъ. Я счелъ за лучшее послѣдовать за ней.

III.

Ятиргинъ не заставилъ себя долго ждать. Въ качествѣ гостепріимнаго хозяина онъ считалъ своей обязанностью не оставлять меня одного въ пологу. Вмѣстѣ съ нимъ явился молодой человѣкъ съ довольно пріятнымъ лицомъ, тихимъ голосомъ и застѣнчивыми глазами. Имя его было Тэнгэтъ. Онъ былъ братомъ чаунскаго витязя Пэкуля, о похожденіяхъ котораго ходить много разсказовъ на Колымѣ. О самомъ Тэнгэтѣ говорили, что изъ всѣхъ кавралиновъ, пришедшихъ въ текущую весну на Анюйскую землю, онъ былъ самымъ сильнымъ шаманомъ, сильнѣе даже Тылювіи, несмотря на ея загадочное измѣненіе пола. Китувіи не было. Онъ ушелъ въ стадо на всю ночь.

Ужинъ прошелъ такъ же, какъ вчера. «Женщина» хлопотала на дворѣ, крошила варево, толкла мерзлое мясо на ѣду мужчинамъ, влѣзла въ пологъ для того, чтобы налить чай, и опять вылѣзла наружу, однимъ словомъ, ревностно исполняла многочисленныя вечернія обязанности чукотской хозяйки дома.

Она вошла окончательно въ пологъ только послѣ того, какъ мужчины окончили ѣду, и удовлетворилась объѣдками и костями, составляющими вѣчный удѣлъ женщинъ. Она, по вчерашнему, тщательно выскребла ногтями деревянное корыто и чисто на чисто вылизала сковородку и нѣсколько полуразбитыхъ чашекъ, изъ которыхъ мы пили чай, потомъ все ненужное выставила наружу и окончательно закрыла входную полу полога, подвернувъ ея край подъ шкуры, разостланныя на полу. Въ пологѣ было такъ же душно, какъ вчера. Мы всѣ были раздѣты до нага и все-таки обливались потомъ. Я плотно прижался къ стѣнкѣ. Подъ бокомъ у меня стоялъ огромный котелъ, наполненный холоднымъ бульономъ; онъ очень непрочно опирался на неровную подстилку и при каждомъ неосторожномъ движеніи расплескивалъ часть своего содержимаго.

Ятиргинъ опятъ началъ разсказы о чудесахъ и рѣдкостяхъ его родной земли и сопредѣльныхъ странъ.

— А за моремъ, — говорилъ онъ, — есть на далекомъ берегу большой лѣсъ, которому нѣтъ конца. Въ томъ лѣсу живутъ люди-невидимки. Когда они выходятъ на торгъ, можно видѣть только лисицъ и бобровъ, которыхъ несутъ въ рукахъ, ибо сами они неуловимѣе тѣни. Кажется, будто мѣха сами движутся по воздуху. И когда наши торговцы придутъ къ нимъ, они выбѣгаютъ на

опушку лѣса и кричатъ — давайте торговаться! Тогда купцы бросаютъ папашку табаку, какъ можно дальше вглубь лѣса.

О-о, табакъ, табакъ! раздается въ лѣсу крикъ. На опушкѣ начинается шумъ, споры… А кто галдитъ, не видно. Потомъ изъ лѣсу вылетаютъ бобры или сума съ песцами. За одну папушу даютъ полную суму песцовъ… И еще есть тамъ озера и на берегу подъ деревьями сидятъ люди-половинки, словно расколотые по длинѣ, и когда услышатъ чьи-нибудь шаги, склеиваются между собою попарно и бросаются въ воду. Они тоже желаютъ табаку. Въ землѣ выкопаны норы и въ норахъ живутъ люди, маленькіе какъ зайцы, и они тоже желаютъ табаку. Еще есть другіе, великаны, выше стоячихъ деревьевъ, они живутъ въ сопкахъ, въ горныхъ пещерахъ, и, когда варятъ пищу — огонь выходитъ изъ вершины сопки. Они тоже желаютъ табаку. И всѣ люди на томъ берегу жаждутъ только табаку и за комочекъ трубочнаго нагара, величиной съ полнаперстка, готовы отдать красную лисицу. Еще есть: въ открытомъ океанѣ, среди глубокой пучины, стоитъ высокое дерево, въ деревѣ большое дупло; въ дуплѣ живетъ злой духъ. Сучьевъ у дерева выше счисленія, на каждомъ сукѣ двадцать разъ двадцать отростковъ, на каждомъ отросткѣ по кривому шипу. Дерево ложится на бокъ и погружается въ пучину; когда поднимается, все бѣлѣетъ отъ рыбы. На каждомъ шипѣ по бѣлой рыбинѣ, вся эта рыба падаетъ въ дупло и злой духъ ее съѣдаетъ. Если чукотская байдара проходитъ слишкомъ близко, дерево падаетъ на нее и, зацѣпляя шипами, сдергиваетъ всѣхъ людей на пищу духу.

За этимъ моремъ есть материкъ, но за материкомъ опять море, а за тѣмъ моремъ птичьи ворота. Тамъ край твердаго неба падаетъ внизъ и, ударившись объ землю, отскакиваетъ обратно; никогда не перестаетъ падать и отскакивать. За тѣми воротами находится птичья земля. Туда птицы улетаютъ на зиму. Но небо падаетъ такъ быстро, что не успѣваютъ пролетѣть, и заднихъ прихлопываетъ, какъ въ ловушкѣ. Обѣ сталкивающіяся половинки покрыты толстымъ слоемъ толченыхъ птицъ, больше, чѣмъ на вышину человѣка, и перья тамъ вѣчно носятся по вѣтру…

Однако, содержаніе разсказовъ Ятиргина, несмотря на всю ихъ оригинальность, не представляло для меня интереса новизны, и я постарался свести разговоръ на шаманство, намѣреваясь упросить Тылювію показать мнѣ образчикъ своего шаманскаго искусства. Мнѣ хотѣлось узнать, дѣйствительно-ли загадочная хозяйка обладала той степенью шаманской силы, которую приписывали ей окружающіе жители.

Ятиргинъ съ первыхъ же словъ о шаманствѣ самъ перевелъ разговоръ на свою жену.

— Ты спрашиваешь, есть-ли въ нашей землѣ *вдохновенные!*.. — заговорилъ онъ. — Моя жена, хотя молода, но тоже не лишена *свободныхъ голосовъ*. Слава Богу! Можно сказать, что не одному человѣку помогла въ болѣзни. Но ни противъ кого не употребила во зло.

Тылювія, услышавъ, что разговоръ коснулся ея особы, проявила еще большую стыдливость, чѣмъ вчера. За то Тэнгэтъ, сидѣвшій все время молча, обнаружилъ неожиданную словоохотливость. — Я тоже высоко вдохновенный! — заговорилъ онъ. — Именно я, сынъ Апрыя, Тэнгэтъ! Конечно, я молодъ и стыдливъ. Когда другіе собираются состязаться во вдохновеніи, я прячусь между санями на дворѣ, и меня принуждены приводить въ пологъ силой. Но въ моемъ собственномъ пологу я каждый день разговариваю съ разнообразными духами. Въ моемъ котлѣ съ водой живетъ старый моржъ и отзывается оттуда хриплымъ ревомъ. Когда я ударю въ бубенъ, три волка приходятъ изъ-подъ постели и воютъ по очереди. Воронъ и гагара пролетаютъ взадъ и впередъ. Невидимая рука просовывается сквозь стѣну и хватаетъ за лицо каждаго изъ присутствующихъ!..

— Ты увидишь завтра! — говорилъ онъ. — Во время жертвоприношенія я ударю въ бубенъ и создамъ силу въ очагѣ, которая поднимется сквозь отверстіе шатра тонкимъ столбомъ пламени, и духъ будетъ говорить изъ черной золы.

— Моя сила все умѣетъ. Я могу глотать ножи и извергать дорогіе мѣха изъ горла, нырять въ море, какъ рыба, и летать быстрѣе птицы по небу. Однажды, когда я сидѣлъ въ пологу за ужиномъ, врагъ мой, упившись сердитой водою, взятой отъ морскихъ бородачей, разорвалъ стѣну полога и ударилъ меня ножемъ въ спину, такъ что я упалъ на лицо и умеръ. Но жена посадила меня и вложила въ одну руку бубенъ, а въ другую колотушку изъ китоваго уса, и стала барабанить по бубну, сжимая мою руку своей рукой. Тогда явился Кэля и принесъ мою улетѣвшую душу и вдунулъ ее въ отверстіе раны, чтобы я ожилъ и снова сталъ смотрѣть на солнце. А отъ раны не осталось никакого слѣда.

Я сказалъ Тэнгэту, что слава о его подвигахъ достигла *великой рѣки* и перешла за нее, что я пріѣхалъ сюда, намѣреваясь отыскать его и услышать его шаманскіе напѣвы и что чрезъ нѣсколько дней я нарочно пріѣду на его стойбище, желая давать ему отвѣтные отклики.

Послѣ этой краткой рѣчи я прямо обратился къ Тылювіи и сталъ просить ее доказать намъ, что и она одарена вдохновеніемъ и что слова ея мужа не являются напраснымъ хвастовствомъ. Однако, застѣнчивость Тылювіи оказалась препятствіемъ, которое

было не весьма легко преодолѣть. Услышавъ мое предложеніе, она немедленно спрятала уже не лицо, а всю голову подъ мѣховое одѣяло, валявшееся подлѣ, и рѣшительно отказывалась отвѣчать мнѣ хотя-бы однимъ звукомъ. Я могъ вести съ ней переговоры только при помощи мужа, который съ самаго начала сталъ держать мою сторону и, поднимая мѣховую покрышку, осторожно уговаривалъ Тылювію согласиться, на что она отвѣчала какими-то невнятными звуками, вразумительными только для одного Ятиргина.

Наконецъ, послѣ того, какъ я въ десятый разъ сослался на обычаи гостепріимства, дающіе гостю право на угожденіе хозяина, и пообѣщалъ, что о чудесной силѣ Тылювіи я разскажу на своей родинѣ всѣмъ моимъ соплеменникамъ, стыдливая шаманка поколебалась.

— Спроси его, — тихо сказала она Ятиргину, — развѣ на его землѣ люди тоже стучатъ въ бубенъ и призываютъ духовъ?

Я принужденъ былъ отвѣчать отрицательно.

— Почему-же, — недовольно проворчала она, — онъ такъ лакомъ до вызыванія духовъ?.. Я не понимаю!..

Начались новые уговоры и, наконецъ, дѣйствіемъ краснорѣчія и подаркомъ небольшой связки табачныхъ листьевъ, я вынудилъ у шаманки согласіе, выраженное, однако, устами нашего непремѣннаго посредника.

— Она будетъ шаманить! — сказалъ Ятиргинъ. — Я пойду, принесу бубенъ!..

— Лучше я сама! — сказала недовольнымъ тономъ Тылювія, натягивая мохнатыя чулки на свои могучія ноги. — Ты мужъ! сиди въ пологу! А только скажи ему, что я совсѣмъ не имѣю духовъ послѣ болѣзни. Въ вѣчномъ кашлѣ, не знаю куда дѣвались. Стуча, не могу взывать, взывая, не могу вызвать… Или они глухи?

Я счелъ своей обязанностью протестовать и выразить увѣренность, что духи по прежнему подвластны ея призыву, но Тылювія все еще не хотѣла успокоиться.

— А тебѣ лучше уйти! — обратилась она къ Тэнгэту, уже безъ посредничества мужа. — Я, вѣдь, въ твой шатеръ не хожу слушать, какъ реветъ твой моржъ.

— Эгэй! — отвѣтилъ безпрекословно Тэнгэтъ и немедленно сталъ одѣваться и собирать свои вещи. Такъ какъ съ его уходомъ въ пологу освобождалось мѣсто, я попросилъ его позвать Айганвата, который остался у Акомлюки вмѣстѣ съ Митрофаномъ и Селивановымъ.

Бубенъ Тылювіи былъ обыкновеннаго чукотскаго типа — маленькій, круглый, съ тонкимъ деревяннымъ ободкомъ и чрезвычайно звонкой перепонкой изъ оболочки моржоваго

желудка. Двѣ тоненькія полоски китоваго уса, служившія колотушками, были привязаны къ короткой деревянной ручкѣ бубна.

Чрезъ нѣсколько минутъ лампа была погашена и мы молча сидѣли среди непроницаемой тьмы, ожидая начала.

— Э-гэ-гэ-гэ-гэй! — начала Тылювія тяжелымъ истерическимъ вздохомъ, который вырвался изъ ея горла болѣзненной нотой и сразу наполнилъ всѣ углы полога. Повидимому, необходимость настроить свои нервы на высоту шаманскаго экстаза являлась гнетущимъ бременемъ для ея души.

— Э-гэ-гэ-гэ-гэй!.. А-яка-яка-яка-якай!..

Оглушительная дробь короткихъ и частыхъ ударовъ раскатилась надъ нашей головой и загремѣла, отскакивая отъ тѣсныхъ стѣнокъ мѣхового ящика и какъ будто стремясь найти себѣ выходъ и вырваться наружу.

— Гоу, гоу, гоу, гоу! — запѣла Тылювія, старательно выдѣлывая голосомъ какой-то необыкновенно сложныя напѣвъ, весьма напоминавшій вой мятели на тундрѣ.

— Боббо, боббо, боббо, боббо!.. Гоу, гоу, гоу, гоу! По обычаю чукотскихъ шамановъ, Тылювія пользовалась бубномъ какъ резонаторомъ, то держа его предъ самымъ ртомъ, то отводя его вверхъ и внизъ и отклоняя подъ самыми различными углами. Ятиргинъ и Айганватъ поощряли ее установленными возгласами сочувственнаго удивленія. — Гычь! Гычъ!.. Правда!.

Благодаря акустическимъ свойствамъ полога, звукъ голоса Тылювіи совершенно утратилъ локализацію, и мы перестали связывать его съ тѣмъ опредѣленнымъ мѣстомъ на лѣвой сторонѣ, гдѣ сидѣла шаманка. Большей частью онъ казался исходящимъ изъ независимаго центра, находившагося приблизительно по срединѣ потолка, потомъ облеталъ пологъ справа на лѣво и слѣва на право, кружился надъ нашей головой, бился объ стѣны. Голосъ Тылювіи становился громче и громче, стукъ колотушки превратился изъ частой дроби въ непрерывный грохотъ, а духи, дѣйствительно, не хотѣли приходить.

— Приди, приди, приди!.. — взывала Тылювія. — А-яка-яка-якай!.. Боббо, боббо, боббо!

— Ухъ! — вздохнула она, внезапно прерывая стукъ. — Бубенъ худъ, звонкости мало. Голосъ не долетаетъ до зарубежнаго міра.

Черезъ минуту призывъ возобновился съ удвоенной силой. Подъ грохотъ колотушки, одинъ за другимъ раздавались самые причудливые напѣвы. Одни изъ нихъ были сложены старинными шаманами много вѣковъ тому назадъ и переходили отъ поколѣнія къ поколѣнію, тщательно запоминаемые памятью нововдохновенныхъ учениковъ, другіе были созданы Тылювіей въ

теченіе тѣхъ таинственныхъ мѣсяцевъ, когда она лежала въ пологу, измѣняя свой полъ, и старались шаманствомъ избавиться отъ преслѣдованій грознаго духа невѣдомой болѣзни, третьи были плодомъ импровизаціи и продолжали создаваться при каждомъ новомъ общеніи съ «вольными голосами». Къ моему удивленію, среди хаоса запутанныхъ и безформенныхъ звуковъ я могъ уловить отрывки, запечатлѣнные своеобразной красотой и обладавшіе даже мелодіей, которая вообще совершенно чужда пѣнію туземныхъ племенъ сѣверовосточной Азіи.

— Приди, приди, приди! — взывала Тылювія.

Гоу, гоу, гоу!.. Убуу — уу, буу, буу, буу!..

Мнѣ казалось, что пѣніе Тылювіи продолжается уже, Богъ знаетъ, какъ долго. Спертая духота полога, послѣ долгаго дня, проведеннаго на морозѣ, такъ и охватывала голову, и совершенно неожиданно для самого себя я впалъ въ дремоту.

Меня разбудилъ высокій странный звукъ, который раздался на необычайной высотѣ, нѣсколько справа, далеко за предѣлами полога и самого шатра.

Духи, наконецъ, соизволили явиться.

— Гычъ! — воскликнулъ было Айганватъ, но голосъ его пресѣкся. Ему было не по себѣ.

Звукъ повторился опять за предѣлами полога, но на этотъ разъ замѣтно ближе.

— Приди, приди, приди! — взывала Тылювія.

Черезъ минуту она забилась и зафыркала съ необычайной силой. Трескъ бубна раздался адскимъ грохотомъ, и можно было явственно различить, что теперь стучатъ двѣ колотушки, а не одна. Духъ вошелъ въ пологъ и помогалъ Тылювіи шаманить.

— Бубенъ мой плохъ! — сказала Тылювія, прерывая стукъ. — Самъ видишь!.. Дохни на него, чтобы онъ сталъ звончѣе!

Изъ противоположнаго угла полога послышались такіе странные неожиданные звуки, полузадыхавшіеся, проникнутые неизъяснимымъ хрипѣніемъ, которые, конечно, могли принадлежать только духу.

— Это ея мужъ! — сказалъ мнѣ Ятиргинъ тихонько. — Другой мужъ, настоящій!.. Вотъ послушай только, что будетъ!..

Голосъ другого мужа, несмотря на свою сверхъестественность, имѣлъ довольно замѣтное сходство съ голосомъ Тылювія. Онъ былъ такой-же сиплый, простуженный, раздававшійся какимъ-то хрипучимъ шопотомъ вмѣсто полнаго звука. Тылювія не замедлила объяснить намъ причину этого сходства.

— Онъ говорилъ, что простудился и хворалъ, оттого сначала не хотѣлъ приходить, — пояснила она непонятныя слова духа.

— А развѣ вы тоже простуживаетесь? — прибавила она со смѣхомъ.

Въ отвѣтъ раздался хриплый рядъ непонятныхъ, съ трудомъ выдавливаемыхъ словъ, да этотъ разъ уже изъ другого угла. Духъ успѣлъ перемѣститься и теперь находился у моихъ ногъ.

— Зачѣмъ ты ходишь? — съ неудовольствіемъ сказала Тылювія; — будетъ тебѣ! Вотъ, дохни на бубенъ!

Раздалось рѣзкое дуновеніе невидимыхъ губъ.

Перепонка бубна вздрогнула и щелкнула, бубенъ подскочилъ и ударился объ низкій потолокъ.

— Ого! — сказала Тылювія.

Вслѣдъ за этимъ раздался такой оглушительный грохотъ обѣихъ колотушекъ, что я невольно зажалъ уши.

— Слышишь! — сказалъ Ятиргинъ, — совсѣмъ другой бубенъ!..

Бубенъ дѣйствительно сдѣлался звончѣе прежняго, трескъ колотушекъ теперь раздавался съ такой силой, что я положительно опасался за цѣлость зыбкаго мѣховаго потолка надъ нашей головой.

Побарабанивъ немного вмѣстѣ съ Тылювіей, ея таинственный супругъ изъ другого міра удалился въ направленіи, противоположномъ тому, откуда пришелъ, и послѣдній звукъ его голоса опять раздался на неизмѣримой высотѣ за предѣлами шатра, но уже слѣва.

Вслѣдъ за нимъ явился послѣдовательно цѣлый рядъ духовъ, представшихъ передъ нами въ безконечномъ разнообразіи звуковъ.

Хриплое карканье ворона начиналось чуть слышно вдали и постепенно приближаясь, врывалось въ пологъ, какъ буря, налетало на бубенъ съ громкимъ хлопаньемъ крыльевъ, поднимало неистовый стукъ запасной колотушкой и опять уносилось въ ночную даль. Волчій вой доносился изъ глубины земли, потомъ становился ближе, раздавался въ самомъ пологѣ и, побарабанивъ на бубнѣ, въ свою очередь, удалялся въ вышину. Невидимый песъ являлся на зовъ шаманки и съ такой силой отряхивался надъ бубномъ, что стѣны полога вздрагивали и тряслись. Самые неестественные голоса прилетали съ различныхъ сторонъ, гремѣли, хрипѣли, ворчали и выли въ разныхъ углахъ полога, блуждали взадъ и впередъ, произносили отрывистыя фразы на непонятномъ языкѣ и опять улетали въ пространство. Излишне говорить, что два голоса никогда не раздавались въ одно время и что шаманская пѣснь Тылювіи раздавалась только въ промежуткахъ между звуками «вольныхъ голосовъ».

Зато рука ея ни на минуту не отрывалась отъ колотушки и

все время извлекала изъ бубна рѣзкій, сухой трескъ, время отъ времени усиливавшійся аккомпаниментомъ второй колотушки, такъ какъ каждый сверхъестественный посѣтитель считалъ своимъ долгомъ блеснуть предъ нами въ качествѣ магическаго барабанщика. Къ сожалѣнію, скоро выяснилось, что, несмотря на добрую волю Тылювіи, интересъ шаманскаго представленія не можетъ подняться выше, такъ какъ оно не имѣетъ никакого опредѣленнаго объекта. Многіе духи, являясь, спрашивали насъ, что намъ нужно, и мы не умѣли дать отвѣта на этотъ простой вопросъ. Подъ руками не было никакого больного, которому нужно было-бы добыть облегченіе, и если у каждаго изъ насъ были враги, то никто не рѣшился попросить духовъ наслать на нихъ кару и гибель. Иногда Тылювія давала духамъ простосердечный отвѣтъ, что любопытствующій чужестранецъ желалъ послушать ихъ голосъ, и просилъ ее вызвать ихъ на короткое время изъ заоблачнаго міра. Духи, впрочемъ, относились довольно добродушно къ этому назойливому любопытству и, повидимому, только не желали долго оставаться у насъ въ пологу, гдѣ ихъ не удерживали никакія опредѣленныя просьбы или обѣщанія. Засвидѣтельствовавъ свое присутствіе нѣсколькими непонятными словами или просто криками и побарабанивъ на бубнѣ, они тутъ-же удалялись, освобождая мѣсто другимъ.

Многіе, въ видѣ особой любезности предлагали намъ послушать «ихъ дыханіе» и съ этой цѣлью затягивали свои напѣвы, которые, впрочемъ, ничѣмъ не отличались отъ напѣвовъ самой Тылювіи. Два духа съ холерическимъ темпераментомъ, почти одновременно явившіеся съ противоположныхъ сторонъ, затѣяли перебранку на чистѣйшемъ чукотскомъ діалектѣ и подъ конецъ даже собирались драться, но были остановлены увѣщаніями шаманки. Иные изъ духовъ проявляли проказливость нрава. Они швыряли и перетряхивали посуду, плескали водой изъ котла въ разныя стороны, выдергивали изъ-подъ насъ постели, даже кидали въ насъ неизвѣстно откуда взявшимися полѣньями. Одинъ разъ невидимая рука совсѣмъ приподняла пологъ надъ нашей головой и мы на мгновеніе увидѣли тусклый свѣтъ звѣздной ночи, вливавшійся въ высокій шатеръ сквозь дымовое отверстіе. Все это время рука Тылювіи не переставала стучать въ бубенъ, свидѣтельствуя о томъ, что *вдохновенная* не принимаетъ никакого участія въ этихъ продѣлкахъ. Если бы не оригинальность обстановки, можно было-бы подумать, что находишься на спиритическомъ сеансѣ, гдѣ нибудь за много тысячъ верстъ отъ этой полярной пустыни.

Надо замѣтить, что миніатюрные размѣры полога дѣлали

гораздо болѣе труднымъ для нашихъ сверхъестественныхъ гостей сохраненіе неуловимости; но они вертѣлись буквально у насъ подъ носомъ, не производя лишняго шума и никого не задѣвая.

Дольше другихъ прогостилъ у насъ одинъ духъ, прилетѣвшій, по его собственнымъ словамъ, изъ девятой вселенной. Это была особа женскаго пола, которая сначала говорила на обычномъ непонятномъ языкѣ, свойственномъ заоблачнымъ сферамъ. На приглашеніе Тылювіи говорить по чукотски она выразила опасеніе, что мы станемъ смѣяться надъ ея произношеніемъ, но потомъ все-таки заговорила, дѣйствительно варварски бормоча и проглатывая звуки.

Она объяснила, что ей было трудно рѣшиться придти къ намъ, такъ какъ она большая домосѣдка и рѣдко посѣщаетъ чужихъ людей, но ей не хотѣлось отказывать Тылювіи въ ея просьбѣ. Вѣроятно, это была какая-то старая дѣва, ибо она не преминула довольно жеманнымъ тономъ прибавить, что ей стыдно быть въ присутствіи столькихъ мужчинъ.

Однако, пропѣвъ свой напѣвъ и постучавъ колотушкой по бубну, она медлила уходить и послѣ незначительныхъ переговоровъ захотѣла исполнить обязанность духа охранителя и стала объяснять при помощи различныхъ окольныхъ и причудливыхъ оборотовъ рѣчи, что у Ятиргина есть врагъ, котораго онъ долженъ остерегаться. При дальнѣйшихъ разъясненіяхъ врагъ оказался долговязымъ Энмувіей, недавнимъ соперникомъ въ борьбѣ мужа Тылювіи. Оказывалось, что Энмувія въ минувшую ночь творилъ заклинанія, имѣвшія цѣлью ослабить силу Ятиргина, и поэтому-то ему удалось дважды приподнять его и бросить на отмашъ.

Въ утѣшеніе она произнесла нѣсколько неясныхъ выраженій, повидимому, заключавшихъ въ себѣ угрозу противъ Энмувіи. Покончивъ съ Ятиргинымъ, она стала приставать къ Айганвату, что онъ обидѣлъ какихъ-то «черненькихъ жителей пустыни, ходящихъ пѣшкомъ», но ни за что не хотѣла дать болѣе подробныхъ объясненій. Наконецъ, я выразилъ догадку, что дѣло идетъ о медвѣдяхъ. Айганватъ не на шутку перепугался, особенно когда невидимая гостья погрозила ему, что въ возмездіе за обиды черненькимъ, его ожидаетъ истощеніе силъ и невозможность предаваться его любимому занятію — охотѣ на дикихъ оленей. Взволнованнымъ голосомъ онъ сталъ оправдываться, увѣряя, что онъ никогда не обижалъ черненькихъ, ходящихъ пѣшкомъ. Я напомнилъ ему, что въ прошломъ году, во время одной изъ нашихъ поѣздокъ, онъ ходилъ на лыжахъ осматривать медвѣжью берлогу.

— Я не виноватъ! — укоризненно отвѣтилъ онъ. — Это ты! Ты

послалъ!.. Да и никого тамъ не было, пустая берлога…

Какъ-бы то ни было, обстоятельство это осталось безъ дальнѣйшаго разъясненія, ибо интересная гостья вдругъ объявила, что дыханіе ея слабѣетъ, и, постучавъ на прощаніе въ бубенъ, удалилась изъ полога, конечно, торопясь возвратиться въ свое покинутое жилище.

Тылювія послѣ этого еще довольно долго продолжала распѣвать свои напѣвы и вызывать духовъ, но они не представляли особеннаго интереса. Ятиргинъ, наконецъ, заснулъ. Айганватъ не спалъ по необходимости и время отъ времени усталымъ голосомъ выкрикивалъ формулы отвѣтовъ. Я тоже чувствовалъ непреодолимое влеченіе ко сну, но никакъ не могъ собраться съ духомъ для того, чтобы попросить Тылювію отложить въ сторону бубенъ. Наконецъ, она, повидимому, поняла, что пора прекратить. Вызвавъ изъ бубна цѣлую серію трескучихъ залповъ и пропѣвъ подрядъ около десятка очень длинныхъ и сложныхъ напѣвовъ, она остановилась и сказала: — Уже разсвѣтаетъ, а вставать надо рано… Можетъ быть, вы хотите спать!..

Мы съ Айганватомъ въ качествѣ гостей воздержались отъ прямого отвѣта, только Ятиргинъ громкимъ храпомъ выражалъ свое мнѣніе по этому поводу.

— Завтра будетъ служеніе; еще много будемъ шаманить! — сказала Тылювія. Но если *тотъ* хочетъ, — прибавила она послѣ короткой паузы, очевидно, имѣя въ виду меня, — то я готова еще шаманить, пока не настанетъ большой свѣтъ!..

Устрашенный этой перспективой, я выразилъ, наконецъ, что я совершенно удовлетворенъ. Лампу опять зажгли. Ятиргинъ проснулся и смущенно протиралъ глаза. Но Тылювія, повидимому, не хотѣла спать и не имѣла усталаго вида. Трагическое выраженіе ея окаменѣлаго лица смягчилось гордымъ сознаніемъ шаманской силы и самодовольствомъ успѣха. Она уже не выказывала прежняго смущенія и, встрѣтивъ мой взглядъ, даже улыбнулась, раздвинувъ огромный ротъ, вооруженный двумя рядами крупныхъ бѣлыхъ зубовъ.

— Ты не устала… Диво!.. — сказалъ я. — Мы слушать устали, а тебѣ ничего!..

— Я отчего устану? — возразила шаманка. — Я мало пѣла, все больше духи… А бубномъ я когда-то отъ болѣзни излечилась…

Черезъ пять минутъ мы всѣ спали крѣпкимъ сномъ, совершенно позабывъ о духахъ.

* * *

На другой день дѣйствительно состоялось торжественное служеніе богамъ, которое ознаменовалось многими любопытными эпизодами, но описаніе ихъ увлекло-бы меня слишкомъ далеко изъ предѣловъ настоящаго очерка. Относительно дальнѣйшей судьбы различныхъ людей, присутствовавшихъ на бѣгу, скажу только о Толинѣ. Онъ не избѣжалъ таки вліянія злыхъ чаръ, тайно творимыхъ его врагами, и черезъ мѣсяцъ послѣ, нашей послѣдней встрѣчи скоропостижно умеръ на большомъ бѣгу во время ярмарки, возвращаясь отъ межи съ только что взятымъ призомъ въ рукахъ. Общественное мнѣніе обвинило въ его смерти Коколи-Ятиргина, выступившаго его соперникомъ и на этотъ разъ.

Для того, чтобы устраниться отъ мести раздраженныхъ родственниковъ Толина, Коколи-Ятиргинъ, въ ближайшую ночь послѣ рокового бѣга, бѣжалъ съ ярмарки, покинувъ большую часть своего имущества, и, пріѣхавъ на свое стойбище на р. Россомашьей, немедленно укочевалъ съ семьей и стадомъ на востокъ къ самому мысу Пээкъ. Впрочемъ, были примѣры, что оружіе мстителя настигало убійцу даже на болѣе далекомъ разстояніи.

У Григорьихи

(Изъ записной книжки).

Была уже поздняя ночь, когда наши утомленныя собаки добрались, наконецъ, до стойбища Аканги. Въ этотъ короткій январскій день, несмотря на пятидесяти-градусный морозъ, мы совершили переѣздъ въ сто верстъ и три раза перебирались съ одной горной рѣчки на другую, по крутымъ переваламъ, уходившимъ далеко за предѣлы растительности.

На каждомъ подъемѣ намъ приходилось спѣшиваться и вмѣстѣ съ собаками тащить вверхъ грузныя нарты, обливаясь потомъ въ своей тройной мѣховой одеждѣ. На спускахъ было еще хуже. Собаки, по своему обыкновенію, приходили въ чрезвычайное возбужденіе и метались, какъ угорѣлыя. Чтобы удержать ихъ, нужно было изо всей силы съ обѣихъ сторонъ тормозить нарту тормозными палками, которыя прыгали и хлопали на каждой неровности почвы, передавая очень чувствительные толчки державшимъ ихъ рукамъ. На одномъ крутомъ поворотѣ приколъ, задѣвъ объ корень дерева, торчавшій поперекъ дороги, ударилъ моего спутника въ шею съ такой силой, что онъ выпустилъ изъ рукъ дугу нарты и отлетѣлъ въ сторону, а я изорвалъ жесткія камусныя рукавицы и ободралъ въ кровь обѣ руки, пока мнѣ удалось остановить мою бѣшенную свору. На другомъ спускѣ задняя нарта съ разгона попала на дерево, сломала баранъ и сильно ушибла собаку, запряженную въ корню. Намъ слѣдовало, впрочемъ, благодарить Бога, что на всѣхъ этихъ подъемахъ, спускахъ и поворотахъ дѣло обошлось для насъ безъ болѣе серьезныхъ ущербовъ.

По дорогѣ мы три раза заѣзжали на чукотскія стойбища, производя повѣрку свѣдѣній по переписи, добытыхъ предварительно разспроснымъ путемъ при разныхъ случайныхъ встрѣчахъ; но, несмотря на уговоры хозяевъ, нигдѣ не согласились остаться ночевать. Я непремѣнно хотѣлъ добраться въ этотъ день до рѣки Лабугена, гдѣ разсчитывалъ на стойбищѣ Аканги, или гдѣ нибудь по сосѣдству, встрѣтить Коравію Кутылина сына, бродячаго торговца, который обѣщалъ, возвращаясь изъ поѣздки въ русскіе поселки на Колымѣ, привезти мнѣ почту изъ Среднеколымска, Якутска и другихъ цивилизованныхъ мѣстъ земного шара. Поэтому я заставлялъ усталыя ноги нашихъ собакъ безостановочно подвигаться впередъ, пока, наконецъ, искры, привѣтливо замелькавшія въ

черной глубинѣ лѣса, не возвѣстили намъ о желанномъ ночлегѣ.

Я поспѣшно соскочилъ съ нарты и направился ко входу въ шатеръ. Моя внутренняя одежда, нѣсколько разъ промокшая отъ пота, заставила меня озябнуть, несмотря на плотную мѣховую парку и двойные сапоги. Спутники мои въ своихъ вытертыхъ кухлянкахъ озябли еще больше меня, и я хотѣлъ поторопить хозяевъ приготовленіемъ горячаго чаю, пока ямщики будутъ управляться съ привязываніемъ собакъ и установкой нарты.

— Го-го! — крикнулъ я, приподнимая край входной полы, завязанной извнутри и ожидая обычнаго привѣтствія и приглашенія войти.

Меня постигло, однако, неожиданное разочарованіе.

— Кто тамъ? — раздался извнутри женскій голосъ, въ которомъ я узналъ голосъ Аканги, хозяйки стойбища.

— Пишущій человѣкъ съ рѣки Россомашьей на возвращеніи домой!.

— Не входите! — рѣшительнымъ тономъ сказалъ голосъ извнутри. — Идите въ другое мѣсто.

Я остановился въ недоумѣніи. Съ Акангой я былъ знакомъ раньше и никакихъ напряженныхъ отношеній между нами не было, и она не имѣла повода запрещать мнѣ доступъ къ своему огню, который продолжалъ такъ привѣтливо потрескивать внутри и выбрасывать снопы искръ чрезъ отверстіе вверху.

— Почему не входить? — спросилъ я, наконецъ. — Я хотѣлъ здѣсь ночевать. Собаки устали!

— А развѣ на Россомашьей рѣкѣ не ходитъ злой духъ? — съ упрекомъ спросилъ голосъ. Дѣйствительно, въ околоткѣ, откуда я пріѣхалъ, появилась заразительная болѣзнь, въ родѣ гриппа или инфлюэнцы, выражавшаяся довольно разнобразными признаками и успѣвшая умертвить нѣсколько десятковъ жертвъ, но я вовсе не считалъ этого достаточнымъ основаніемъ, чтобы Аканга заперла передъ нами дверь, тѣмъ болѣе, что на всѣхъ стойбищахъ, посѣщенныхъ до того, мы были желанными гостями, несмотря на злого духа съ рѣки Россомашьей.

— Развѣ вы думаете, что мы привезли злого духа въ складкахъ платья? — сказалъ я съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. — Онъ вольный. Куда захочетъ, придетъ и безъ насъ!..

— Ко! (междом. незнанія) — отвѣтилъ голосъ извнутри съ оттѣнкомъ сомнѣнія.

— Да вы развѣ маленькіе? — продолжалъ я убѣждать. — Чего вы боитесь?

— Есть и маленькіе! — возразилъ голосъ. — Моя дочь третьяго дня родила сына!

Я нѣсколько смутился. Посѣщеніе злого духа болѣзни,

имѣющаго привычку невидимо слѣдовать за путниками, болѣе всего опасно для младенцевъ, въ особенности же для новорожденныхъ, которыхъ поэтому чукчи охраняютъ весьма ревниво. Перспектива ночлега на открытомъ воздухѣ вдругъ воочію предстала предо мною, какъ чрезвычайно близкая къ осуществленію.

Въ этомъ не могло быть ничего пріятнаго.

— У насъ двадцать четыре сторожа! — доказывалъ я самымъ убѣдительнымъ тономъ, — съ нами ничто худое не могло придти! — Я имѣлъ въ виду нашихъ собакъ, такъ какъ собака считается сторожемъ человѣка, отпугивающимъ враждебныхъ духовъ.

Однако, хозяйка, очевидно, относилась скептически къ бдительности русскихъ собакъ, мало знакомыхъ съ чукотскими злыми духами.

— Не знаю! — упрямо повторила она. — Собаки въ упряжкѣ, на привязи… А ребенокъ достоинъ жалости… Попроситесь лучше въ задній шатеръ. Можетъ, васъ пустятъ…

Я отошелъ отъ этой несдававшейся двери и отправился къ заднему шатру.

— Го-го! — громко окликнулъ я. — Хозяева, впустите!

Внутри шатра тоже топился огонь и слышно было движеніе людей, однако, отвѣта на мой окликъ не послѣдовало.

— Гэ-гэй! — окликнулъ я снова и еще громче прежняго. Русскіе пріѣхали! Впустите!

— Идите въ передній шатеръ! — отозвался, наконецъ, голосъ изнутри, точь въ точь какъ раньше. — Гости не ходятъ къ заднему!

Дѣйствительно, по общему правилу, гости, въ особенности почетные, заходятъ въ шатеръ главнаго человѣка на стойбищѣ, всегда стоящій впереди.

— Аканга не пускаетъ! — объяснилъ я довольно жалобнымъ тономъ.

— Отчего? — допрашивалъ голосъ.

— Изъ-за болѣзни на Россомашьей! — объяснилъ я. — Жалѣетъ ребенка!

— У насъ тоже есть дѣти! — проворчалъ голосъ.

Усиленная осторожность Аканги подѣйствовала заразительно и на ея сосѣдей. Я хотѣлъ было продолжать переговоры, но въ это время подошли мои спутники, управившіеся съ собаками, и, узнавъ, что насъ не хотятъ впустить въ шатеръ, разразились проклятіями на русскомъ и чукотскомъ языкахъ. Особенное раздраженіе проявляли два русскихъ ямщика. Для Колымскаго русскаго жителя гостепріимство является непререкаемой

обязанностью, для исполненія которой онъ готовъ пожертвовать послѣднимъ кускомъ, оторвавъ его отъ собственнаго рта, и поведеніе чукчей казалось имъ чуть не святотатствомъ. Мои чукотскіе спутники, Леутъ и Айганватъ, вели себя сдержаннѣе. Мотивы чукотской осторожности предъ злыми духами были имъ ближе и понятнѣе, чѣмъ русскимъ, и, быть можетъ, въ свое время и они сами не разъ запирали свои двери передъ подозрительнымъ путникомъ, неожиданно явившимся въ ночной темнотѣ, Богъ знаетъ откуда. За то Митрофанъ, дюжій анюйщикъ[131] изъ обрусѣлыхъ якутовъ, бывшій ямщикомъ передней нарты, скоро перешелъ отъ проклятій и угрозъ къ болѣе рѣшительнымъ дѣйствіемъ. Онъ схватился руками за длинныя жерди, къ которымъ была привязана входная пола, и принялся съ ожесточеніемъ трясти ихъ, какъ будто собираясь обрушить весь шатеръ на голову обитателей. Такая рѣшительность не замедлила принести плоды.

— Войдите! — довольно хладокровно сказалъ голосъ извнутри, — если вы не хотите уйти.

Чьи то проворныя руки развязали входные ремешки, и мы стали одинъ за другимъ пролѣзать въ шатеръ, торопясь приблизиться къ огню. Въ шатрѣ уже не было никого, кромѣ одной довольно дряхлой старухи; другіе обитатели удалились во внутреннее отдѣленіе, твердо намѣреваясь отсидѣться тамъ отъ нашего нашествія, какъ въ цитадели. Огонь, правда, горѣлъ довольно ярко, но о чаѣ и ѣдѣ не было и помина. Мы усѣлись передъ костромъ на обрывкахъ шкуръ, проклиная духа болѣзни и чукотское суевѣріе.

— Подвѣсь чайникъ! — сказалъ я старухѣ.

— Нѣтъ чайника! — возразила она, равнодушно разглядывая наше общество.

— Ну, попроси у Аканги! — посовѣтовалъ я.

— Огонь чужой! — отвѣтила старуха. — Грѣшно!

Очевидно, оба шатра не имѣли общенія огня и потому не могли мѣняться посудой.

— Разведите огонь на дворѣ, варите сами себѣ! — посовѣтовала старуха, снова стараясь выжить насъ изъ шатра.

— О, несчастные людишки! — разразился Митрофанъ. — Чтобъ вамъ пропасть! Клятые! Жисть ваша собачья! — Дай ѣду! — сурово обратился онъ къ старухѣ. — Печенка болитъ! Сейчасъ давай ѣду!

Старуха порылась сзади себя въ грудѣ деревянныхъ лотковъ и, вытащивъ нѣсколько кусковъ холоднаго варенаго мяса, отдала ихъ намъ. Мы поспѣшно достали ножи, какъ будто собирались вступить въ единоборство изъ-за предложенной пищи. Разговоры

немедленно замѣнились чавканьемъ, заглушавшимъ для нашихъ собственныхъ ушей даже трескъ костра.

Въ это время входная пола приподнялась и пропустила еще одну человѣческую фигуру. Населеніе передняго шатра, наконецъ, рѣшилось прислать намъ парламентера для переговоровъ. Это была молодая, здоровая баба, въ косматой одеждѣ, безпорядочно натянутой на плечи. Въ рукахъ она сжимала маленькаго чернаго щенка, который жалобно попискивалъ.

— Старуха говоритъ, — сказала баба, обращаясь ко мнѣ,— потритесь объ этого щенка, тогда можете войти къ намъ въ шатеръ!

Щенокъ въ данномъ случаѣ является замѣстителемъ ребенка и, смотря по обстоятельствамъ, долженъ былъ или испугать духа болѣзни, или явиться для него умилостивительной жертвой.

Митрофанъ поглядѣлъ на пришедшую и лицо его разгладилось.

— Будетъ тебѣ щенка мучить!

Ѣзда на собакахъ.

— Давай его сюда! — сказал онъ уже шутливо и вмѣстѣ со щенкомъ облапилъ посланницу, которая тщетно старалась вырваться изъ его могучихъ объятій. Онъ велъ давнее знакомство съ Григорьихой, какъ русскіе окрестили Аканту, по имени ея покойнаго мужа Гырголя, и пользовался пріязнью ея обѣихъ дочерей, и, быть можетъ, именно его присутствію мы были обязаны тѣмъ, что двери запертой крѣпости готовы были открыться передъ нами.

Мы подхватили щенка и поспѣшно принялись прикладывать его къ своимъ бокамъ и спинѣ.

Черезъ четверть часа мы уже сидѣли во внутреннемъ отдѣленіи передняго шатра, раздѣтые до послѣднихъ предѣловъ возможности и, обливаясь потомъ, усердно поглощали горячій чай. Хозяева, успѣвшіе поужинать до нашего пріѣзда, не уступали намъ въ соревнованіи надъ уничтоженіемъ пищи. Всѣ они сидѣли на правой хозяйской сторонѣ полога, уступивъ намъ лѣвую, какъ гостямъ.

Григорьиха сидѣла впереди всѣхъ. Это была крѣпкая,

костлявая баба лѣтъ пятидесяти, съ безобразнымъ скуластымъ лицомъ и мрачнымъ взглядомъ. Вдобавокъ къ природному безобразію, лицо ея было испещрено широкими черными знаками, намалеванными графитомъ и составлявшими предохранительное средство противъ покушеній новопришедшаго духа. На лицахъ ея обѣихъ дочерей, сидѣвшихъ поближе къ входу, красовались тѣже знаки. Старшая приходила недавно за нами въ сосѣдній шатеръ. Младшая была родильницей, но сидѣла какъ ни въ чемъ не бывало. По ея внѣшнему виду никакъ нельзя было было опредѣлить, что она два дня тому назадъ разрѣшилась отъ бремени.

Китувія, мужъ старшей дочери, сидѣлъ сзади. Въ качествѣ старшаго зятя, онъ имѣлъ право возсѣдать въ пологу, между тѣмъ какъ младшій зять, еще не укрѣпившійся окончательно въ семьѣ, несмотря на рожденіе вышеупомянутаго младенца, долженъ былъ мерзнуть подъ открытымъ небомъ при оленьемъ стадѣ.

Изъ-за Акангиной спины выглядывало еще одно старческое сморщенное лицо съ рѣдкими сѣдыми усами и маленькими алыми глазками, очень живыми и бѣгающими по сторонамъ. Это былъ Йэкакъ, пріемный мужъ Аканги, которая, подыскавъ мужей своимъ дочерямъ, не позабыла и самое себя. Йэкакъ былъ старшимъ изъ девяти сыновей небезызвѣстнаго на Анюйской сторонѣ Лятувіи «въ ошейникѣ», прозваннаго такъ за то, что нѣкогда, утащивъ на чужомъ стойбищѣ свитокъ оленьихъ кишекъ и торопясь уйти домой, онъ надѣлъ его себѣ на шею, чтобы имѣть болѣе свободы въ движеніяхъ. Всѣ братья Йэкака въ настоящее время были владѣтелями многочисленныхъ стадъ и хозяевами отдѣльныхъ стойбищъ, но онъ никогда не чувствовалъ призванія къ заботамъ оленьяго хозяйства и провелъ свою жизнь, скитаясь между стойбищами своихъ многочисленныхъ родственниковъ и добрыхъ знакомыхъ. Подъ старость онъ пріютился у Аканги, которая, кстати, приходилась ему троюродной сестрою. Впрочемъ, Йэкакъ издавна былъ смѣннымъ товарищемъ по женамъ покойнаго Гырголя и, поселившись на стойбищѣ его вдовы, только исполнялъ обязанность, возложенную на него условіями такого союза. Принять Акангу на свое собственное стойбище, какъ собственно говоря, ему слѣдовало сдѣлать, онъ, конечно, не могъ, ибо у него не было ни стойбища, ни даже никакого жилища, достойнаго упоминовенія. Другая жена его не обновляла своего шатра уже около десяти лѣтъ, и онъ представлялъ теперь кожаные лоскутья, которые стыдно было даже натянуть на жерди.

Нечего говорить, что Йэкакъ во всемъ подчинялся авторитету своей главной, болѣе зажиточной подруги, и въ общемъ

равновѣсіи стойбища имѣлъ гораздо меньше значенія, чѣмъ хотя бы даже новорожденный младенецъ, который недавно чуть не выжилъ насъ со стойбища.

Лица обоихъ мужчинъ были чисты отъ кабалистическихъ черныхъ знаковъ.

— Ты отчего не росписалъ себѣ лица? — обратился я шутливо къ Китувіи. — Развѣ ты не боишься духовъ?

Китувія сконфуженно улыбнулся. Онъ былъ приморскаго происхожденія и только пять лѣтъ тому назадъ покинулъ свой родной поселокъ у Колючинской губы, чтобы отправиться къ оленнымъ людямъ на поиски счастья. Имущество его состояло изъ старой кукашки, а всѣ жизненные рессурсы представлялись парою неутомимыхъ ногъ и такихъ же неутомимыхъ красныхъ глазокъ, мало нуждавшихся во снѣ. Къ Акангѣ онъ попалъ прямо изъ своего родного Чейтуна, но до сихъ поръ не могъ вполнѣ освоиться съ положеніемъ старшаго зятя, которому въ не весьма отдаленномъ будущемъ, когда старуха одряхлѣетъ, предстояло сдѣлаться главою богатаго стойбища.

— Пустое! — пробормоталъ онъ въ отвѣтъ. — Это онѣ, бабы… Такъ только!..

— А я тоже не росписалъ себя! — хихикнулъ Йэкакъ изъ-за плеча Аканги. — Что же!.. Я не знаю, въ правду ли вы привезли духа болѣзни, или вы обманщики? — Онъ опять засмѣялся и вызывающе посмотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Конечно, мы обманщики! — усмѣхнулся и я. — Никакого духа у насъ нѣтъ. Но отчего же вы насъ не хотѣли впустить? Такого пугливаго жительства мы не встрѣчали во всей странѣ отъ самаго рубежа поселеніи.

Лицо старухи вдругъ еще болѣе омрачилось. Леутъ, сидѣвшій рядомъ со мною, толкнулъ меня въ бокъ локтемъ. Я вспомнилъ разсказъ, слышанный мною отъ него же не такъ давно, и пересталъ задавать вопросы.

Старый Гырголь отличался довольно неуживчивымъ характеромъ даже для чукчи и въ молодости Акангѣ приходилось пить отъ него горькую чашу. На лѣвой щекѣ ея до сихъ поръ бѣлѣлъ шрамъ, нѣкогда прорубленный острымъ тесломъ, которое Гырголь въ запальчивости швырнулъ ей въ голову. За то Гырголь и окончилъ свою жизнь довольно необычайнымъ образомъ. Въ одно лѣто, когда онъ стоялъ со своей семьей на отдѣльномъ стойбищѣ, не имѣя ни одного сосѣда, ему вдругъ пришло желаніе отправиться на тотъ свѣтъ, и онъ приказалъ своей женѣ, чтобы она застрѣлила его, что и было исполнено согласно обычаю. Такая смерть встрѣчается часто у чукчей и въ этомъ еще не было ничего необычайнаго, но женщины съ ближайшаго стойбища,

куда Аканта на другой день послала своихъ дочерей съ вѣстью, явившись на погребеніе и переодѣвая трупъ для того, чтобы возложить его на погребальную нарту, съ удивленіемъ замѣтили, что смертельная рана была нанесена Гырголю не спереди, какъ это дѣлается всегда, а сзади, въ затылокъ. Впрочемъ, дочери Аканги, бывшія въ то время уже на возрастѣ, во всемъ подтвердили разсказъ матери и никакого повода для чужого вмѣшательства не представилось. У Гырголя не было близкихъ родственниковъ, а чукчи не признаютъ за собой права вмѣшиваться въ дѣла чужой семьи, даже если въ ея средѣ случилось убійство.

Такимъ образомъ, Аканта осталась хозяйкой на стойбищѣ своего мужа, но теперь всѣ сосѣди говорили, что, наскучивъ побоями Гырголя, она по просту застрѣлила его изъ его же собственнаго ружья, а дочери, тоже не мало терпѣвшія отъ отца, безъ отговорокъ согласились хранить тайну.

Вспомнивъ этотъ разсказъ, я сообразилъ, что Аканга имѣла добавочную причину бояться невидимыхъ пришельцевъ изъ сверхъестественнаго міра. По вѣрованіямъ чукчей, мертвецы обращаются въ духовъ, враждебно относящихся къ живымъ, и, конечно, болѣе всего стараются мстить своимъ личнымъ врагамъ. Аканга могла опасаться, чтобы вмѣстѣ съ духами болѣзни ее не посѣтилъ мстительный духъ ея покойнаго мужа.

Послѣ ужина при помощи Китувіи я произволъ повѣрку переписныхъ записей. Аканта не вмѣшивалась, только проворчала что-то, когда я повторилъ имя ея новорожденнаго внука, готовясь занести его на бумагу.

Другихъ поправокъ дѣлать не пришлось и я отложилъ въ сторону тетрадь переписныхъ записей. Спать мнѣ еще не хотѣлось.

— Йэкакъ! Разскажи сказку! — обратился я къ старику, сидѣвшему въ углу.

— Сказку? — протяжно переспросилъ Йэкакъ. — Купи!

— Хорошо! — согласился я.

— Плату дай впередъ! — настаивалъ Йэкакъ. — Можетъ быть, вы обманщики? — повторилъ онъ въ видѣ объясненія свою недавнюю фразу.

Я вынулъ изъ дорожнаго мѣшка нѣсколько листковъ табаку и отдалъ ему. Йэкакъ быстро спряталъ ихъ за пазуху, попутно откусивъ уголъ одного листка для употребленія въ жвачку, и потомъ спросилъ:

— Какую сказку? Простую, про шамановъ?..

— Не надо! — отвѣчалъ я. — Разскажи вѣсти отъ временъ первозданія или повѣсть о битвахъ съ злыми.

Этими терминами чукчи обозначаютъ отдѣлы космогоническихъ и эпическихъ преданіи и я интересовался ими гораздо болѣе, чѣмъ обыкновенными сказками.

Йэкакъ хитро улыбнулся и обвелъ насъ своими быстрыми глазками.

— Ага! — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Я разскажу тебѣ хорошую повѣсть о войнѣ съ Таньгами: Огнивными Таньгами, твоимъ собственнымъ народомъ. Только ты слушай хорошенько.

Спутники мои, заинтересованные предстоящимъ разсказомъ, пододвинулись ближе. Йэкакъ считался однимъ изъ лучшихъ сказочниковъ Анюйской стороны, и можно было ожидать, что «повѣсть» будетъ хороша, если онъ самъ хвалилъ ее.

* * *

— Собрались въ шатрѣ творящіе служеніе, закрыли дымовое отверстіе, шаманятъ, поютъ. А между тѣмъ, это собаки. Одни поютъ: — Ко-о-о! Ко-о-о, воютъ. Другіе: — Ко-о-о-о! Ко-о-онь! Третьи, приплясывающіе: — О-о-о-о! Но-о-о-о!

— Опять сталъ бредить! — недовольнымъ тономъ сказалъ Митрофанъ.

Хотя разсказъ Иэкака описывалъ одно изъ обычныхъ чукотскихъ обрядовыхъ празднествъ, но въ напѣвахъ, изображенныхъ имъ, слышалось явное желаніе подражать русскому протяжному пѣнію, которое, кстати сказать, у сѣверныхъ инородцевъ возбуждаетъ безчисленныя насмѣшки отсутствіемъ горловыхъ переливовъ.

— Около шатра ходитъ дѣвочка, именемъ Инкынеутъ, — продолжалъ Йэкакъ, хитро прищуриваясь. — Хозяйка стойбища говоритъ ей: — Загляни въ шатеръ! Кто тамъ поетъ? Зачѣмъ они закрыли дверь и дымовое отверстіе?

Нашла щель, заглянула внутрь, а тамъ все собаки. Подняла крикъ. Люди прибѣжали съ палками, стали колотить. Собаки разбѣжались, убѣжали на западную сторону, стали народомъ. Часть-же осталась собаками и стала служить для упряжки…

— Отчего-же ты не даешь отклика? — внезапно спросилъ Йэкакъ, взглядывая мнѣ въ лицо.

Насмѣшка была очевидна; оленные чукчи привыкли упрекать русскихъ порѣчанъ ихъ связью съ собаками, которыя служатъ имъ для ѣзды и перевозки тяжестей. Вдобавокъ дерзкій старикъ требовалъ, чтобы я, по обычаю слушателей, выразилъ свое одобреніе разсказу принятыми для того восклицаніями: правда! такъ!..

Митрофанъ и его товарищъ съ трудомъ удерживали свое негодованіе. Леутъ неодобрительно покачивалъ головой, но глаза его смѣялись. Его тѣшило забавное сопоставленіе между собаками и ихъ хозяевами. Мнѣ самому было смѣшно, хотя я и сознавалъ, что проклятый старикъ разсказываетъ свою сказку въ пику главнымъ образомъ мнѣ.

— Тогда прежніе битые стали гнѣваться за удары! — продолжалъ Йэкакъ, подмигивая. — Начали войну!.. Ухъ! Мы не знали, что они обидятся. Наши били собакъ, а онѣ стали народомъ, захотѣли отомстить… Такимъ образомъ, началась война между племенами.

Таково было оригинальное объясненіе начала чукотско-русскихъ войнъ, услышанное мною изъ устъ стараго бродяги на рѣкѣ Погинденѣ въ тѣсныхъ предѣлахъ чукотскаго полога.

— Тогда началась война между племенами! — повторилъ Иэкакъ.

— Пришелъ Якунинъ, Огнивный Таньгъ, одѣтый желѣзомъ, худо убивающій. Оттого худо убивающій — кого поймаетъ, худо убиваетъ; мужчинъ, повернувъ внизъ головой, разрубаетъ топоромъ по промежности, женщинъ раскалываетъ пополамъ, какъ рыбу для сушенія.

Пришелъ Якунинъ, сталъ истреблять народъ. У него пріемышъ изъ кочевого племени, проворный, приносящій пищу, быстроногій… На бѣгу догоняетъ дикаго оленя, убиваетъ ножомъ, вываливъ внутренность, хватаетъ за заднюю ногу, вскидываетъ вверхъ, такъ прямо приноситъ домой.

Якунинъ, худо убивающій, истребляетъ народъ, собралъ цѣлые возы шапокъ, шапки убитыхъ, двадцать возовъ отправилъ Солнечному Властителю. Говоритъ — больше нѣтъ оленныхъ людей! Всѣхъ истребилъ! — Говоритъ Солнечный Властитель — еще въ травѣ много птичекъ прячется!..

— Покончу и ихъ! Дайте большое ружье (пушку)!..

— Смотри, какъ-бы самого тебя не убили!..

— Пустое!..

Взялъ большое ружье, унесъ съ собою, ходитъ, ищетъ жителей, истребляетъ. Люди бежали — изъ внутренней страны къ морю, но таньги слѣдовали сзади и истребляли отстававшихъ. Оленные люди добѣжали до края земли, поселились подъ утесомъ, подъ крутыми скалами, но таньги взобрались на утесъ и, скатывая сверху камни, разбили укрѣпленіе и истребили многихъ.

На землѣ Нэтэнъ поставили на морскомъ берегу подъ нависшимъ утесомъ другую крѣпость. Сверху туда нельзя скатить камни. Таньги взошли на утесы, но ничего не могутъ сдѣлать. Камни перелетаютъ черезъ границу жительства. Пошли таньги по

ущелью, ища прохода. Впереди идетъ Якунинъ, одѣтый бѣлымъ панцыремъ, подобный бѣлой чайкѣ, съ длиннымъ копьемъ въ рукахъ.

У входа въ узкое ущелье молодой Эыргынъ пьетъ воду изъ деревянной чаши.

— Пей хорошенько, — говоритъ Якунинъ. — Больше ты не будешь пить на этой землѣ!..

— Посмотримъ! — говоритъ Эыргынъ.

Поднялъ Якунинъ копье, прыгаетъ вверхъ, какъ до вершины лиственницы, машетъ копьемъ…

— Кто, кто, выйдетъ сразиться съ казацкимъ начальникомъ?

Богатырь Нанкачгатъ, въ панцырѣ изъ моржовой кожи, огромный, широкій въ плечахъ. Во время ледохода на рѣкѣ Номваанъ ложится поперекъ воды, задерживая глыбы льда. По его тѣлу переходятъ кочевые поѣзда, какъ по твердой землѣ.

Говоритъ Нанкачгатъ: — Я выйду на испытаніе!..

Встрѣтились двое, Якунинъ, одѣтый бѣлымъ желѣзомъ, подобный бѣлой чайкѣ; Нанкачгатъ, обшитый кожею. Остріе копья Якунина длиною въ локоть; у Ианкачгата такой-же длины.

Солнце обошло кругомъ неба, еще сражаются. Копье Якунина стерлось до обуха, языкъ у Нанкачгата свѣшивается до плеча…

Люди вокругъ стоятъ, смотрятъ. У Эыргына деревянный лучекъ, стрѣлка изъ китоваго уса. У Якунина на лицѣ желѣзо, только для глазъ двѣ дыры. Выстрѣлилъ Эыргынъ китовоусовой стрѣлкой, попалъ Якунину въ глазъ. Облился кровью Якунинъ, сѣлъ на землю, оперся локтемъ объ землю. Бѣжали другіе таньги. Множество людей приступаетъ къ нему; еще убиваетъ, ибо силенъ.

У Эыргына ножикъ изъ китоваго уса. Ударилъ китовоусовымъ ножомъ между швовъ панциря. Повалился Якунинъ навзничь. Еще живъ. Схватили его.

Говорятъ: — Ты жестокій, худо убивающій! У насъ нѣтъ топоровъ. По крайней мѣрѣ, медленно умертвимъ тебя…

Развели огонь. Жарятъ его у огня, поджаренное мясо срѣзаютъ ломтиками и жарятъ снова.

— Хорошо! — говоритъ Якунинъ. — Есть еще мой пріемный сынъ. Онъ отомститъ.

Вмѣстѣ съ другими таньгами убѣжалъ пріемышъ. Погнались сзади многіе люди. Всѣхъ догоняютъ, всѣхъ убиваютъ. Пріемышъ Якунина взобрался на высокую скалу, но стрѣла Эыргына отыскала его лобъ. Принесли его Якунину.

— Вотъ, посмотри! это твой будущій мститель!..

Заплакалъ Якунинъ. — Конецъ теперь битвамъ. Некому отомстить за нашу смерть!..

Еще двухъ таньговъ, бѣдныхъ работниковъ, оставили въ живыхъ. Самыхъ бѣдныхъ, вѣчно обижаемыхъ, которыхъ всю жизнь плохо кормили, тѣхъ оставили живыми.

Сказали имъ: — Будьте смотрящими на то, что мы сдѣлали съ начальникомъ, и уѣхавъ, разскажите своимъ, чтобы прекратилось худое убиваніе нашихъ людей!..

Снабдили ихъ жирнымъ мясомъ въ дорожный запасъ, дали имъ сильныя упряжки. Уѣхали къ своимъ, разсказали. Съ тѣхъ поръ прекратилось жестокое убиваніе людей на этой землѣ…

* * *

— А что, хорошая повѣсть? — спросилъ Йэкакъ, докончивъ разсказъ и съ торжествомъ взглядывая на меня. — И все правда. Какъ разъ такъ и было.

— Я уже слыхалъ объ Якунинѣ! — отвѣтилъ я.

Дѣйствительно, разсказъ о смерти Якунина, подъ которымъ подразумѣвается майоръ Павлуцкій[132], довольно распространенъ среди чукчей въ нѣсколькихъ различныхъ варіантахъ.

— Такъ и было съ нимъ! — повторилъ старикъ съ удареніемъ. — За то: — не убивай жестоко мужчинъ и женщинъ.

— Буде тебѣ-ка лепетать! — грубо возразилъ Митрофанъ по-русски. — Жестоко убивалъ?!.. Вы сами то чего дѣлали?

— Вонъ, старики-то сказываютъ, — обратился онъ ко мнѣ. — Чукочью деревню[133] первый разъ разорили, не то что людей перерѣзали, а то есть ѣдушку, юколу тамъ, рыбу, костье, все на земь прибросали и ногами притоптали…

— Надо было васъ чертей не такъ еще наказывать! — продолжалъ онъ съ ненавистью въ голосѣ, — снова обращаясь къ Иэкаку, но не отступаясь отъ русской рѣчи, совершенно непонятной сказочнику. — Вишь, расплодились! Табуны то кругомъ развели, чисто, какъ грязь. А земля то вѣдь наша, дѣдовска…

Въ качествѣ Анюйщика, Митрофанъ считалъ себя имѣющимъ право владѣнія на всѣ тундры и лѣса каменнаго берега Колымы, занятые теперь чукчами, но нѣкогда дѣйствительно составлявшіе охотничью территорію его предковъ.

— А тебѣ, видно, завидно на ихъ стада? — спросилъ я шутя.

— Какъ не завидно будетъ! — сознался Митрофанъ. — Мы голодные сидимъ, а ихъ ѣда кругомъ нихъ сама на ногахъ ходитъ.

— А вы тоже заведите стадо! — сказалъ я.

— Какъ же заведешь! — сердито сказалъ Митрофанъ. — Надо

вѣдь на гору идти, на волѣ ходить. Насъ развѣ отпустятъ? А службы кто справлять станетъ? Мы все равно привязанные. Живемъ, какъ на цѣпѣ! Своя воля була бу, я давно-бу, пожалуй, ушелъ къ чукчамъ…

Митрофанъ имѣлъ въ виду гнетъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей, который заставляетъ каждое общество колымскихъ порѣчанъ[134] прикрѣплять своихъ членовъ къ ихъ мѣсту жительства на рѣкѣ настоящими крѣпостными узами. Въ словахъ его было много правды. Не будь этого прикрѣпленія, многіе молодые люди, можетъ быть, дѣйствительно ушли-бы на гору и обзавелись стадами оленей.

Наступило короткое молчаніе.

— А что, Йэкакъ! — началъ опять Митрофанъ, желая въ свою очередь, подразнить старика. — Гдѣ твое стадо?

— Не нужно стада! — живо возразилъ Йэкакъ. — Заботы много!..

— А правда, что у тебя и ѣздовыхъ (оленей) нѣтъ? — продолжалъ Митрофанъ насмѣшливо. — На Акангиныхъ будто оленяхъ ты и въ гости ѣздишь?..

Старикъ насупился. Для чукчи, особенно для старика, считается весьма предосудительнымъ не имѣть собственной упряжки.

— Двѣ упряжки есть, четыре кладовыхъ оленя, восемь всего! — угрюмо возразилъ онъ. — Кто говоритъ, что я пѣшъ?..

— Люди говорятъ! — не унимался Митрофанъ. — Говорятъ, будто ты и на тотъ свѣтъ хочешь ѣхать на Акангиныхъ оленяхъ.

— Полно врать! — сердито сказалъ Йэкакъ.

— Да, полно врать! — передразнилъ Митрофанъ. — А мой совѣтъ, лучше иди пѣшкомъ! Гырголь увидитъ, все равно отниметъ; станешь пѣшъ, еще придется нарту волочить самому.

По вѣрованію чукчей надъ тѣломъ умершаго должны быть убиты непремѣнно его собственные упряжные олени, ибо чужихъ на томъ свѣтѣ все равно отберутъ ихъ бывшіе владѣльцы.

Поэтому если нѣтъ собственныхъ оленей, не можетъ быть и погребальнаго жертвоприношенія.

Йэкакъ серьезно разсердился.

— Собачій языкъ? — крикнулъ онъ. — Зачѣмъ ты присталъ къ моимъ оленямъ! Развѣ хочешь выклянчить кусокъ мяса на подарокъ женѣ?..

Я поспѣшилъ остановить возникавшую ссору, но словоохотливость Йэкака пропала. Онъ угрюмо отодвинулся къ стѣнѣ и не только не хотѣлъ разсказывать больше, но не отвѣтилъ даже на мой вопросъ относительно вѣроятности пріѣзда на завтра вышеупомянутаго Коравія Кутылина изъ Крѣпости Собранія (такъ

называютъ чукчи Нижне-Колымскъ). Я, впрочемъ, не сталъ настаивать на разспросахъ. Глаза мои слипались. Въ мозгу внезапно возникали смутные и неожиданные обрывки фразъ и образовъ, которые безцеремонно прерывали обычное теченіе моихъ мыслей, потомъ сами заволакивались туманомъ. Еще черезъ десять минутъ мы всѣ спали, какъ убитые, позабывъ Якунина и его погибшее войско.

Мнѣ, впрочемъ, снились письма и газеты, которыхъ я ожидалъ уже два мѣсяца. Митрофанъ съ полночи сталъ ворочаться и стонать. Быть можетъ, ому пригрезилось то самое податное ярмо, которое мѣшало ему завести соблазнявшее его оленье стадо.

Русскій чукча

— Слушай меня, Вэипъ! Я хочу говорить! У меня есть слова для васъ, таньги!.. — Я съ удивленіемъ посмотрѣлъ на говорившаго. То былъ Етынькэу, второй сынъ нашего хозяина Номгатли, парень совсѣмъ молодой, безусый и, къ тому же, не имѣвшій жены, которому вовсе не приличествовало обращаться въ такомъ тонѣ къ людямъ, сидѣвшимъ на почетномъ мѣстѣ въ шатрѣ его отца.

— Такъ не говорятъ съ гостями! — съ упрекомъ возразилъ Высокій Амулинъ, сѣдой старикъ, сидѣвшій рядомъ со мною, предупреждая мой отвѣтъ. Онъ былъ гостемъ, какъ и мы, и пріѣхалъ вслѣдъ за нами съ послѣдняго стойбища — съ единственною цѣлью лишній разъ напиться чаю, не видѣннаго въ этомъ околоткѣ уже около четырехъ мѣсяцевъ.

Къ Номгатлѣ мы заѣхали случайно по дорогѣ на большой бѣгъ, назначенный черезъ три дня у богатаго стадовладѣльца Экэвіи въ верховьяхъ рѣки Погиндена. Собаки наши устали и, наѣхавъ передъ вечеромъ на шатры Номгатли, стоявшіе при самой дорогѣ, мы рѣшили остановиться и отдохнуть до утра.

— Я хочу говорить! — упрямо повторялъ Етынькэу.

Онъ, видимо, былъ взволнованъ, и для того, чтобы имѣть болѣе простора, поднялся и, покинувъ свое мѣсто на оленьей шкурѣ, всталъ передъ дверью.

— Ну, что жъ, говори! — отвѣтилъ я. — Гдѣ твои слова? будемъ слушать!

— Не мои только слова, — счелъ нужнымъ сказать Етынькэу въ видѣ бѣглаго оправданія, — слова всѣхъ сосѣдей!.. Я скажу тебѣ, а ты передай ихъ ясачному начальнику[135].

— Ну, говори! — повторилъ я.

— Уберите отъ насъ Ольку! — разразился Етынькэу. — Уведите къ себѣ этого пса! Слышите!

— Что такое? — спросилъ я съ еще большимъ удивленіемъ.

— Я говорю, — продолжалъ Етынькэу, — не помня себя отъ гнѣва, — въ прошломъ году пролилась чукотская кровь, въ этомъ году прольется иная!..

— Ты что, обезумѣлъ? — спросилъ я, тоже разсердившись.

Етынькэу говорилъ о столкновеніи на Анюйской ярмаркѣ въ 1895 году, во время которой одинъ изъ чукчей былъ избитъ до смерти, и его угроза была слишкомъ прямого свойства, чтобы пропустить ее безъ вниманія.

— Довольно ему нашихъ парней обижать! — продолжалъ Етынькэу. — Насъ много! Вотъ соберемся и переломаемъ ему

руки и ноги!..

— Ты слышишь, Номгатля? — обратился я къ хозяину, сидѣвшему напротивъ.

— Ничего не слышу! — отвѣчалъ хитрый старикъ. — Ты знаешь, я глухъ!

— Номгатля, дѣйствительно, былъ туговатъ на ухо, но Етынькэу кричалъ слишкомъ громко, чтобы можно было не разслышать его словъ.

— Ну такъ и я не слышу! — сказалъ я, — да и слушать не хочу!..

— Перестань кричать, Етынькэу! — сказалъ Высокій Амулинъ усовѣщевающимъ тономъ. — И правда, ты обезумѣлъ. Развѣ не можешь говорить тихо?

— Да въ чемъ дѣло? — спросилъ я, обращаясь къ старику.

— Въ чемъ же, какъ не въ борьбѣ? — предупредилъ Етынькэу его отвѣтъ. Олька всѣхъ нашихъ борцовъ перебросалъ!.. Это пускай! Что же, если онъ сильнѣе. Да зачѣмъ онъ Эленди голову разбилъ въ кровь? — Онъ говорилъ значительно пониженнымъ тономъ, но подъ конецъ опять разсердился, и глаза его налились кровью.

— Что же — сдержанно сказалъ Номгатля. — Дѣйствительно, если живешь между чужимъ народомъ, надо быть скромнымъ. Олька слишкомъ склоненъ къ издѣвательствамъ, какъ будто вся эта земля его! Молодые люди сердятся.

— А кто такой Эленди? — спросилъ я.

— Мой племянникъ, — мрачно отвѣтилъ Номгатля, — вотъ его двоюродный братъ! — и онъ указалъ рукой на Етынькэу.

Я теперь уже отдавалъ себѣ ясный отчетъ о причинахъ гнѣва Номгатли и его сына.

Олька, о которомъ они говорили съ такимъ ожесточеніемъ, былъ мой старый знакомецъ Алексѣй Козаковъ, числившійся русскимъ мѣщаниномъ, но выросшій среди чукчей и вполнѣ усвоившій ихъ образъ жизни и нравы. Онъ считался въ своемъ околоткѣ лучшимъ борцомъ и каждаго чукотскаго силача могъ швырнуть на землю, какъ мѣшокъ съ рухлядью, по собственному хвастливому выраженію. Понятно, что чукотскіе парни, очень ревниво относящіеся ко всякимъ тѣлеснымъ состязаніямъ, постоянно злились на его успѣхи и пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ для придирокъ. Теперь, когда настроеніе чукчей и безъ того было испорчено, благодаря анюйской исторіи, эти придирки грозили превратиться въ настоящее гоненіе.

— Борьба близка къ дракѣ, — попробовалъ я вступиться. — Чукотскіе борцы тоже не рѣдко показываютъ другъ другу свою кровь!..

— То люди[136], а то таньги! — дерзко и прямо возразилъ Меветъ, двоюродный братъ Номгатли, сидѣвшій возле него.

Я посмотрѣлъ вокругъ себя: Номгатлина семья не пользовалась хорошей репутаціей, и хотя насъ было четверо и мы не имѣли причины опасаться чукчей, но у меня не было никакой охоты внезапно затѣвать ссору вмѣсто отдыха послѣ огромнаго и утомительнаго переѣзда, занявшаго цѣлый день.

— Я буду завтра у Ольки, — сказалъ я, — спрошу, что онъ надѣлалъ. А теперь давайте спать.

Олька Козановъ былъ незаконный «вдовій», сынъ Овди (Авдотьи) Козановой, вдовы нижнеколымскаго мѣщанина. Собственно говоря, въ его жилахъ текла кровь весьма смѣшаннаго свойства, такъ какъ мать его происходила изъ обрусѣлой ламутско-чуванской семьи. Отецъ его вовсе не былъ извѣстенъ, ибо Олька родился черезъ три года послѣ смерти перваго мужа своей матери, семейное прозвище котораго онъ унаслѣдовалъ. Во всякомъ случаѣ, по происхожденію, онъ считался «рѣчнымъ», а стало-быть — русскимъ человѣкомъ, такъ какъ на нижней Колымѣ эти понятія совпадаютъ. Но Овдя вскорѣ послѣ его рожденія вышла замужъ за богатаго чукчу и сына унесла съ собою на тундру, гдѣ въ настоящее время протекала ихъ жизнь. Олька воспитался по-чукотски, жилъ оленями, бѣгалъ вокругъ стада, какъ оленньи люди; роднымъ языкомъ его былъ чукотскій, а по-русски онъ понималъ нѣсколько словъ и то больше угадывалъ ихъ смыслъ какимъ-то особымъ чутьемъ. Самъ себя Олька считалъ русскимъ, въ чемъ его поддержать могло развѣ только постоянное стремленіе со стороны общественниковъ взвалить на его, Олькины, плечи соотвѣтственную или, лучше сказать, совсѣмъ несоотвѣтственную долю податной тяготы. Въ сущности, ни чукчи, ни русскіе не признавали его его своимъ, въ чемъ я могъ убѣдиться чуть ли не съ первой же встрѣчи съ нимъ. Это было на Анюйской ярмаркѣ 1895 года, гдѣ произошло «недоразумѣніе, окончившееся смертью одного изъ чукчей», и какъ разъ во время «недоразумѣнія».

Утромъ у воротъ крѣпости.

Чукчей поспѣшно выдворили съ ярмарочнаго двора, ворота были заперты и русское населеніе ярмарки собралось въ казенный домъ къ помощнику исправника обсуждать положеніе вещей, угрожавшее настоящею осадою со стороны чукчей. Среди русскихъ плисовыхъ пальто и куртокъ, крытыхъ сатиномъ, затесалась одна бурая мѣховая рубаха самаго настоящаго чукотскаго фасона и покроя.

— Это что за чукотская морда? — спросилъ помощникъ исправника, занимавшій положеніе предсѣдателя.

— Я не чукча, я русскій! — тоже сердито возразилъ Олька, увы, чукотскимъ языкомъ, такъ какъ онъ по-русски не могъ связать двухъ словъ.

— Это мой сынъ, мѣщанинъ колымскій! — сказала Овдя, стоявшая рядомъ; она была переводчицей у одного изъ купцовъ и по этому случаю, въ противоположность сыну, была облечена въ новое шумящее платье изъ пестрой сарпинки обыкновеннаго русскаго покроя. Говорила она прекраснымъ русскимъ языкомъ, совершенно свободнымъ отъ противнаго сюсюканья нижнеколымскихъ женщинъ.

Помощникъ осмотрѣлъ ихъ обоихъ недоброжелательнымъ взглядомъ.

— Отчего у него креста нѣтъ? — спросилъ онъ сурово, тыкая пальцемъ въ обнаженную грудь Ольки, выдѣлявшуюся изъ-подъ низко вырѣзаннаго ворота мѣховой рубашки.

— Теряетъ онъ кресты-то, за оленями бѣгаетъ. — объясняла Овдя, — не напасешься ему. Поневолѣ пересталъ надѣвать.

— Креста не носитъ, языка русскаго не знаетъ! — сказалъ помощникъ съ нескрываемымъ негодованіемъ. — Какой-же онъ русскій?..

На другой день я опять увидѣлъ Ольку за воротами; онъ стоялъ среди группы чукчей и велъ съ ними оживленный разговоръ.

— Кто убилъ Кэулина? — спрашивали чукчи. — Говори, Олька, ты былъ въ оградѣ.

— Наши убили! — отвѣчалъ Олька съ довольно откровенною улыбкою.

— Ты что смѣешься, таньгинская морда? — закричали чукчи. — Весело тебѣ, что твоя собачья родня *человѣка* загрызла?

— Чего вы ко мнѣ пристали? — огрызался Олька, — развѣ я трогалъ Кэулина?

Чукчи опять стали ругаться, хотя ихъ крики не производили особеннаго впечатлѣнія на русскаго оленщика. Во всякомъ случаѣ

было очевидно, что и чукчи не признавали его своимъ.

Еще разъ я видѣлъ Ольку на оленьемъ бѣгу, гдѣ присутствовало нѣсколько русскихъ парней изъ самыхъ крайнихъ бѣдняковъ. Олька относился къ нимъ ласково, одѣлялъ ихъ мясомъ изъ своихъ и изъ чужихъ запасовъ, постоянно разговаривалъ съ ними, что не мѣшало имъ открыто подтрунивать надъ его русскими притязаніями при чукотскомъ языкѣ. Чукчи тоже не отставали отъ нихъ, и Олька одновременно былъ мишенью всеобщихъ насмѣшекъ, которыя онъ какъ-то пропускалъ мимо ушей.

Я вспоминалъ всѣ эти подробности на другой день во время пути на стойбище Козанова, которое лежало въ 40 верстахъ отъ Номгатли.

— А что, Митрофанъ, — спросилъ я, наконецъ, своего каюра, — какъ ты думаешь, выживутъ они отсюда Ольку?

— Они-то не выживутъ, — тотчасъ же отвѣтилъ Митрофанъ. — А только достать его надо намъ самимъ!

— Зачѣмъ достать? — спросилъ я, недоумѣвая.

— А затѣмъ: пускай не шляется «по горѣ», пускай живетъ на рѣкѣ, тягости относитъ, какъ всѣ люди!.. Какой же онъ мѣщанинъ?.. Этакъ, пожалуй, и всякій захотѣлъ бы въ чукчи уйти. Нѣтъ, братъ, коли ты русскій, такъ нечего отвиливать!

Митрофанъ, въ качествѣ коренного порѣчанина, каждую человѣческую единицу могъ разсматривать только съ точки зрѣнія равненія податей. Его собственное общество заключало 14 плательщиковъ, которые денно и нощно думали только о томъ, какъ бы безнедоимочно погасить разнообразныя требованія окладныхъ и неокладныхъ листовъ о сборѣ.

— Постой! — возразилъ я. — А олени какъ? Вѣдь онъ живетъ стадомъ.

— Олени! — сказалъ Митрофанъ, презрительно прищуриваясь. — Не бойся, оленямъ найдемъ мѣсто! Мало ли голодныхъ на Колымѣ? только мигнемъ общественникамъ, они и не такой табунъ по себѣ растаскаютъ!

Это нашла себѣ выраженіе другая сторона уравнительныхъ стремленій представителя рѣчныхъ интересовъ. Не имѣя никакого запаса, существуя изо дня въ день продуктами рыбнаго промысла, онъ не признавалъ и за оленеводомъ права на его живой капиталъ и въ своихъ голодныхъ вожделѣніяхъ не отличалъ его прирученныхъ стадъ отъ дикихъ животныхъ. Такія воззрѣнія присущи всѣмъ рыболовнымъ и охотничьимъ племенамъ по отношенію къ сосѣдямъ скотоводамъ и на Колымѣ постоянно даютъ себя чувствовать въ отношеніяхъ между чукчами, съ одной стороны, и русскими или ламутами — съ

другой.

Черезъ два часа мы пріѣхали на стойбище Ольки. Тутъ было цѣлыхъ шесть шатровъ, одинъ другого ободраннѣе, но шатеръ русскаго оленевода стоялъ впереди всѣхъ, въ знакъ того, что это самый богатый и сильный человѣкъ на стойбищѣ. Ольки не было дома, онъ ушелъ къ оленямъ. Насъ встрѣтила Овдя и засуетилась надъ приготовленіемъ неизбѣжной закуски, непрерывно понукая свою молодую сноху, Чомыльгинъ, красивую, но необыкновенно замазанную чукчанку, чтобы она поскорѣе кипятила чайникъ. Сноха, впрочемъ, мало обращала вниманія на крики свекрови и больше возилась надъ импровизированной зыбкой, связанной изъ шкуръ и палокъ и подвѣшенной въ углу шатра, въ которой пищалъ маленькій грудной ребенокъ. Чомыльгинъ была совсѣмъ молода — ей, вѣроятно, не было еще и двадцати лѣтъ. Станъ ея, несмотря на материнство, имѣлъ дѣвичьи очертанія даже подъ неуклюжимъ мѣховымъ нарядомъ чукчанки, похожимъ на толстый мѣшокъ, но гладкая круглая шея была навьючена цѣлымъ хомутомъ бусъ и всяческихъ мѣдныхъ украшеній самаго несимметрическаго вида.

Овдя, напротивъ того, была высокая, костлявая баба съ чрезвычайно безобразнымъ лицомъ, — надъ ея безобразіемъ смѣялись даже чукчанки. Носъ ея былъ совершенно сплюснутъ, бровей не было, и маленькіе желтоватые глазки были прорѣзаны совсѣмъ наискось. Лицо ея не имѣло ни одной русской черты, и Чомыльгинъ гораздо скорѣе могла сойти за русскую женщину, чѣмъ эта порѣчанка изъ обрусѣлыхъ ламутовъ. Она была одѣта въ такой же мѣховой мѣшокъ, какъ и ея сноха, и шея ея была украшена двойнымъ рядомъ крупныхъ, но неровныхъ зеленыхъ бусъ съ большимъ мѣднымъ крестомъ посрединѣ.

— Каково на рѣкѣ? — спросила Овдя, усѣвшись рядомъ съ нами на шкурахъ, когда приготовленія къ чаю были окончены.

— Все хорошо! — отвѣтилъ Митрофанъ.

— Не хвораютъ?

— Нѣтъ! — отвѣтилъ твердо Митрофанъ.

— Не голодуютъ?

— Нѣ-ѣтъ! — отвѣтилъ Митрофанъ, но уже не съ такою твердостью, какъ прежде.

— Ну, строгайте рыбу! — сказала она въ заключеніе, — давно рыбу не видѣла! Кормите насъ рыбой!

Каюры немного помялись; у нихъ было немного мороженой рыбы, ибо ни одинъ уважающій себя порѣчанинъ не отправляется въ путь безъ рыбнаго запаса, но они тщательно скрывали его отъ чукотской алчности и извлекали на свѣтъ только во время уединенныхъ остановокъ подъ открытымъ небомъ, когда имъ не

грозила конкурренція цѣлой оравы непрошенныхъ сотрапезниковъ. Но для этой русской души слѣдовало поступиться, и черезъ нѣсколько минутъ Митрофанъ принесъ огромнаго чира, завернутаго въ тряпку, и сталъ сдирать съ него кожу для строганины. Въ это время явился Олька. Онъ тащилъ за собой на санкахъ большого оленя, только что заколотаго.

— Вотъ собачій кормъ! — сказалъ онъ, сбрасывая его на землю между обѣими упряжками. — Я услышалъ отъ Кэмлиля, что вы пріѣхали… Что же? Хотя у меня оленей немного и о каждомъ теленкѣ сердце мое болитъ, убивая, но какъ сдѣлать? Русскіе должны помогать другъ другу.

Кэмлиль былъ одинъ изъ подростковъ, толокшихся на стойбищѣ во время нашего пріѣзда; онъ счелъ необходимымъ тотчасъ же предупредить главу стойбища.

Признаюсь, мнѣ тоже было жаль великолѣпнаго оленя, который, вѣроятно, составлялъ одно изъ украшеній немногочисленнаго стада Ольки, но я сознавалъ, что собаки не могутъ ночевать безъ ужина. Я могъ только предложить Олькѣ плату чаемъ и табакомъ, заставившую его, впрочемъ, тотчасъ же утѣшиться въ своей потерѣ. Каюры, напротивъ, ворчали. Имъ казалось, что одного оленя мало на двѣ упряжки, и они успокоились, только обойдя стойбище и набравъ у бабъ прокисшаго лѣтняго мяса, крови, печени и разныхъ остатковъ и обрѣзковъ отъ человѣческой пищи.

Олька былъ молодой парень средняго роста, съ обвѣтреннымъ и загорѣлымъ лицомъ совершенно бронзоваго цвѣта и крупными правильными чертами, какъ будто вырѣзанными изъ твердой мѣди. Крѣпкая круглая голова его была острижена по чукотски, съ широкой бахромой спереди и двумя пучками волосъ по обѣимъ сторонамъ макушки. Ни въ лицѣ, ни въ фигурѣ не было признаковъ русскаго происхожденія. Это былъ типичный чукотскій *адчекъ*[137], легконогій охранитель стадъ, не знающій устали въ погонѣ за отбѣгающими оленями, привычный къ голоду, ненастью и продолжительному пребыванію безъ сна. На первый взглядъ, въ фигурѣ Ольки нельзя было даже признать несокрушимой силы и выносливости, дававшей ему побѣду въ столькихъ единоборствахъ съ чукчами.

Только присмотрѣвшись поближе, можно было различить желѣзную крѣпость этого плотно сбитаго тѣла съ круглыми упругими мышцами, рельефно выступавшими даже подъ мѣховой рубахой.

Олька, по своему обыкновенію, былъ съ открытой головой и обнаженными руками. Шапку и рукавицы онъ скомкалъ вмѣстѣ и небрежно прицѣпилъ къ поясу, рискуя каждую минуту потерять

ихъ въ снѣгу. Онъ притащилъ санки съ убитымъ оленемъ безъ всякаго видимаго напряженія; даже грудь его дышала такъ же ровно, какъ всегда. Онъ, должно быть, провелъ цѣлый день не ѣвши и, войдя въ шатеръ, тотчасъ же схватилъ мерзлую оленью ногу и принялся отдирать зубами жилы, помогая себѣ ножомъ. Онъ старался ѣсть, какъ можно скорѣе, такъ какъ это считается первымъ признакомъ удали молодого пастуха, и управлялся со своею костью не хуже каждой изъ собакъ, которыя выли въ это время, поглядывая на оленя, назначеннаго имъ на ѣду.

— А что, Алексѣй? — сказалъ я по окончаніи ѣды, когда бабы стали убирать посуду. — Вотъ Номгатлины люди жалуются, что ты обижаешь чукчей.

Олька, игравшій въ это время со своей малолѣтней дочкой, которую онъ досталъ изъ колыбели, и улыбавшійся самой безпечной улыбкой, сердито насупился. — Что же мнѣ уступать имъ? Если они сами лѣзутъ, — неохотно проворчалъ онъ.

Я не могъ не признать справедливости словъ Ольки, такъ какъ чукотскіе борцы, сгорая желаніемъ свергнуть его первенство, дѣйствительно не давали ему прохода.

— Да ты бы хоть полегче, что ли! — сказалъ я полушутя.

— Что же мнѣ падать самому? Если же я сильнѣе? — угрюмо возразилъ Олька. — Я вѣдь одинъ русскій, а ихъ много. Пусть между чукчами выищется настоящій человѣкъ, то и самъ меня покоритъ.

— Видишь! — заговорила Овдя. — Всегда этакій несговорный! Какъ ни придутъ чукчи, что ни станутъ говорить, а онъ имъ наоборотъ, да наоборотъ… Намедни съ ножами пришли, желѣзо вытаскиваютъ. Говорятъ: — «перерѣжемъ ему нитки[138] на рукахъ и на ногахъ, тогда перестанетъ бороться!» Номгатлины дѣти, да Меветъ, да Вантувія… Небось, этого не сталъ разсказывать, глухой чертъ!..

— А зачѣмъ ты Эленди ударилъ до крови? — спросилъ я.

— Эленди мой сосѣдъ; на этомъ стойбищѣ четвертый шатеръ! — сказалъ Олька, уклоняясь, однако, отъ прямого отвѣта, — я ему далъ важенку съ теленкомъ; мы помирились!..

— А гдѣ Эленди? — спросилъ я.

— Уѣхалъ къ кавралинамъ за ремнями, — сказалъ Олька. — Да мы помирились, я говорю, повторилъ онъ — Эленди — мой человѣкъ.

— Номгатлины дѣти за Эленди пристаютъ? — вмѣшалась Овдя. — Обманъ! Сами за себя пристаютъ! Етынкэу съ Олькою въ прошломъ году боролися; Олька Етынкэу трижды бросалъ; третій разъ бросилъ, а тотъ, варнакъ, схватилъ — изъ американскаго дерева полозъ былъ сдѣланный, грани-то, какъ ножи, — да на

Ольку и поднялъ. Спасибо, руку успѣлъ кинуть, да дерево поймать. Съ тѣмъ отнялъ и опять давай душить, — насилу вырвался да убѣгъ. А Номгатля говоритъ къ сыну-то: — «Ты кто? парень или дѣвка! Мнися[139], а на будущій годъ опять на него выходи!» — Вотъ зимусь опять мѣрилися на бѣгу. Извѣстно, съ Олькой кто состоитъ? Онъ, все равно, желѣзо. Опять сразу задавилъ. Такъ Номгатля говоритъ — «Ты одинъ. А мы люди родистые. У меня 12 сыновей. Всѣ на тебя придутъ съ копьями!»

У Номгатли дѣйствительно была цѣлая куча дѣтей отъ трехъ разныхъ женъ, но почти всѣ они были малолѣтки и особой опасности не представляли.

— Номгатлины дѣти еще маку[140] волочатъ! — сказалъ я шутливо; — далеко имъ до копья.

— Подростутъ когда-нибудь! — возразила старуха. — Етынькэу даромъ худосильный, а знаетъ за собой братьевъ, то и лѣзетъ на всякаго. Знаетъ вѣдь, по чукотской вѣрѣ за братову обиду черезъ двадцать лѣтъ не забудется.

— Наказаніе! — сказалъ Селивановъ, другой изъ моихъ каюровъ. — Зачѣмъ вы вздоритесь съ има? Это чукотская земля. Надо бы вамъ жить *по всей ихой вѣрѣ*[141].

— Да кто съ ними вздорится? — защищалась старуха. — Сами всегда лѣзутъ. — «Вы говорятъ, русскіе, уходите на свою землю!» — а земля эта вовсе не чукотская. Изстари вѣковъ нашихъ предковъ земли, — ламутовъ да юкагоровъ.

— Кто тутъ станетъ разбирать! — проворчалъ Селивановъ. — А только, я вамъ говорю! живите тихо! Не то вправду на Колыму васъ выведутъ. Между васъ еще убійство выйдетъ. Весь народъ сомутится!..

Въ качествѣ казака — Селивановъ считалъ себя вправѣ говорить авторитетнымъ тономъ.

Овдя съежилась.

— Вотъ я говорила тебѣ, — обратилась она къ сыну, — не борися ты! Видишь, изъ-за твоей борьбы всѣ на насъ: русскіе на насъ и чукчи на насъ.

— Если они лѣзутъ!.. — повторилъ Олька свой прежній аргументъ.

— Имъ бы еще, чѣмъ жалиться, слѣдовало бы выкупъ дасти за желѣзо, что ножи вытаскивали, — опять заговорила старуха. — Мой то Эленди далъ, вѣдь, за кровь важенку. А они жмутся. Жалко оленя, то и жалиться стали.

— Развѣ у васъ нѣтъ друзей? — спросилъ я. — Вотъ невѣстку взяли. У ней, вѣдь, есть братья?

— Какъ не быть? — сказала старуха съ гордостью. — Это Янынтына сестра. Янынтына знаешь, небось… Пять братовей —

они, — на Погинденской вершинѣ стоятъ.

Янынтынъ былъ самый извѣстный ѣздокъ на оленяхъ во всей Анюйской округѣ, побѣдитель на многихъ бѣгахъ, игравшій, между прочимъ, довольно видную роль и во время смуты на ярмаркѣ.

— Отчего же они за васъ не заступаются? — спросилъ я.

— Да Олька дѣвку-то убѣгомъ увелъ! — сказала Овдя, понизивъ голосъ до шепота. — То и не ладно. — Разскажи, Олька!

Олька потупился.

— Сама разскажи! — сказалъ онъ застѣнчиво.

— Ну, ладно, — сказала старуха, — пусть я! Да немного и разсказывать-то! Ѣхалъ онъ однова вечеромъ на оленяхъ мимо ихаго стойбища. Табаку нѣту, гамзу дома забылъ, а курить охота! А дѣвки у огнища копошатся. — «Дѣвки! — кричитъ, — накурите меня!» — а Чомыльгинъ и говоритъ: «Не накуримъ, покуль оленей не привяжешь!» — Нечего дѣлать, онъ привязалъ. — «Ну, кричитъ, — теперь накуривайте»! — «Нѣтъ, говоритъ, покуль оленей не выпряжешь». — Только выпрегъ, а она ихъ въ стадо угнала, поневолѣ остался ночевать.

— Вѣрно ихъ къ робеночку-то и тянуло, — прибавилъ Овдя, внезапно улыбнувшись нѣжной улыбкой и указывая глазами на свою маленькую внучку.

— Ну а потомъ что? — спросилъ я, невольно заинтересованный разсказомъ объ этой безъискусственной любви.

— А потомъ они въ табунъ ушли вдвоемъ, да три дня и проходили, — продолжала старуха съ хитрой усмѣшкой.

Домой пришли — братья и говорятъ: — «Живи у насъ пріемнымъ зятемъ. Сейчасъ убьемъ оленя, помажетесь!» А онъ говоритъ: — «У меня мать есть!» — «Мать, говорятъ, — сюды принеси! Пусть рядомъ руйту ставитъ». — «У меня, говоритъ, оленчики есть!» — «Много ли, говорятъ, твои оленчики? всего сотня! Сообщися съ нашими!» — Ну, да извѣстно тысячники; имъ наши оленчики за ничего кажутся. А Олька и не захотѣлъ. — «Я, говоритъ, работникомъ никогда не былъ, а оленей своихъ всѣхъ по одному самъ выкормилъ и теперь отъ своего дома къ чужимъ людямъ не иду».

— Ну, и что же? — спросилъ я опять.

— Съ тѣмъ и разошлися! — продолжала старуха, — *до врема*! А только у нихъ ужъ было сговорено. Пришла Островновска ярмарка, они и встрѣтился; братья за торгомъ пошли, а она къ намъ прибѣгла. Я у Константина Николаевича тогда була; ну, всѣ больше люди меня жалѣютъ. Параня-то Кошелевска и заперла ихъ въ простой амбаръ, — тамъ просидѣли сутки; а братья пьяные ходятъ, о сестрѣ и думы нѣтъ. Потомъ, конечно, спомнили,

кинулися къ намъ, стали ихъ уговаривать, Константинъ да Федька, да всѣ хорошіе люди. А Олька-то сейчасъ вышелъ изъ амбару и четверть спирту вынесъ, — запасено было. Съ тѣмъ это дѣло и кончилось.

— А теперь какъ?

— Теперь помирились! — сказала Овдя. Другъ къ дружкѣ въ гости такъ и ѣздимъ. Они намъ каждый годъ гостинцы возятъ: то оленя, то пыжиковъ; весной плетеный чаутъ[142] новый привезли, — о, и тяжелый! какъ разъ Олькѣ по рукѣ. А то у насъ стадо маленькое, большой чаутъ сплести не изъ чего. Ну, да и я какой чаекъ, табачокъ привезу изъ крѣпости, все съ ними дѣлюся. Дружно живемъ, грѣхъ сказать…

— Что же они не заступятся за васъ? — повторилъ я вопросъ.

— Да какъ они заступятся? — возразилъ вдругъ Олька. — Янынтынъ весной Полеполя стрѣлялъ, Пагантова сына. Теперь Паганто съ братьями на нихъ идти хотятъ. Это вѣдь цѣлый народъ. Однихъ отцовъ сколько! А молодыхъ парней больше 20 человѣкъ. Теперь Янынтыну еще заступиться за самого себя трудно.

— Видишь, варнаки! — замѣтилъ Селивановъ, — такъ кругомъ и дерутся!

— У меня другая заступа! сказалъ Олька — вотъ видишь, сосѣди, — пускай бѣдные, а все мои друзья. Они меня не дадутъ обидѣть. Мы и ѣдимъ вмѣстѣ.

— Оттого-то и друзья! — проворчала Овдя. — Они и насъ съѣдятъ живьемъ вмѣстѣ съ оленями.

— Ничего! — успокаивалъ ее Олька. — Они поѣдятъ, они и попасутъ. Мои важенки шибко плодущія.

— Вамъ бы прикочевать поближе къ русскимъ! — предложилъ я.

— Ну, да, прикочуй-ка! — сказала старуха, косясь на моихъ спутниковъ. — Раззорятъ вѣдь! Всѣхъ оленей поубиваютъ. Самъ знаешь, какой тамъ народъ! А Олька простой человѣкъ — онъ, пожалуй, и «нѣтъ» не скажетъ.

Митрофанъ ядовито усмѣхнулся, но не сказалъ ничего.

— Вотъ и теперь между мѣщанами говорятъ, — продолжала старуха, — «весной, говорятъ, какъ придетъ голодовка, терпѣть не станемъ, прямо къ Олькѣ пойдемъ… Онъ нашъ общественникъ, пускай насъ кормитъ! Со собаками, совсѣмъ явимся. Весь табунъ переведемъ. Пусть будетъ въ ровню съ нами. Нечего ему великатиться!».

— А какже? — сказалъ Митрофанъ. — Такъ и надо. О, и я такъ сдѣлаю, даромъ не вашъ общественный. Пріѣду къ вамъ весною — кормите меня, — и собакъ приведу.

— Слышишь, чего лепечетъ? — сердито сказала старуха, — Будто намъ даромъ достается? А вы побѣгайте-ка за табуномъ, небось отобьете ноги! Да лѣтомъ подъ комаромъ, да зимою въ пургу… Вы передъ чуваломъ[143] пузо грѣете, то ваше и дѣло; а мы теплую избу забули, какая она и була!

— *Мольчи!* — сказалъ Митрофанъ. Мы всѣ подати и повинности начальству правимъ, да и то мольчимъ.

— А мы не правимъ? — воскликнула старуха. — Кажной годъ деруть насъ, деруть, какъ лисью куреньгу[144]; прошлаго году 8 рублей, сего года 7 рублей. Гдѣ ни хватятъ, тамъ и тянутъ. Вотъ зимусь въ крѣпость поѣхала, къ Кошелеву поторговать; только отторговались, выходитъ староста. — «Старуха, а подать гдѣ?» — «О, Господи помилуй, — говорю, — я на легкой нартѣ пріѣхала, каки подати привезу» — «Нѣтъ, говоритъ, на это отговорки нѣту; не заплатишь, такъ и назадъ не уѣдешь». Нечего дѣлать, стала просить Кошелева положить за меня. Кошелевъ и положилъ. А староста говоритъ — «Еще дрова для Спаса, нарту дрова подай». Опять давай бѣгать, искать по городу; насилу нашла.

Митрофанъ опять разсмѣялся. — Правда! — сказалъ онъ. — И теперь староста заказываетъ: «Четыре рубли приготовь къ Островному!»

— Да что онъ обезумѣлъ, что ли? — почти закричала старуха. — Давно семь рублей взялъ? теперь опять четыре! Видно, съ насъ однихъ только и берутъ.

— Не знаю! — сказалъ Митрофанъ. — А только заказывалъ староста: «Скажи Овдѣ, четыре рубли пусть приготовитъ къ ярмаркѣ, не то и съ ярмарки не отпустю, на рѣку вывезу!»

— Нибось, какъ мы не ѣвши сидѣли, — кричала Овдя, — такъ васъ не було! А теперь, какъ живое мясо обросло, вы объявились. «Дай, да принеси!»… Общество тоже! — прибавила она съ презрѣніемъ…

— Развѣ мы мало муки приняли? — обратилась она ко мнѣ, немного успокоившись. — Я сама, вѣдь, рѣчная, *Чашовска*. Отецъ у меня померъ. Только дядя да братъ остались, дядя то меня молоденькую выдалъ за старика прямо силомъ. Я съ нимъ немножко пожила, онъ и померъ — я вдова осталась. А мы жили на большомъ Анюѣ; тутъ пріѣхалъ чукча, Кеутегинъ, о и богатый, — *табунъ у него — земля*! — да и давай меня сватать. А я не хочу. Уговаривали, уговаривали, прямо сказать, опять силомъ сипхнули. Это само въ баронскій годъ було и до барона[145] доходило и до всѣхъ, и то есть, что баронъ меня уговаривалъ, а Кеутегинъ-то оленей, людямъ ли, собакамъ ли, такъ и убиватъ. Привезли меня къ чукчамъ, баять по ихому не умѣю, тоскую, плачу день и ночь, зябну на сѣнтухѣ[146], днемъ

сижу въ пологу съ лейкой; таборъ большой, людей много, я ни въ чемъ и не суечуся сама. Кочевать ли надо, такъ въ болокъ[147] лейку поставятъ, да чайникъ сварятъ, да нагрѣютъ, тогда я въ болокъ перейду. А Ольку-то я родила еще во вдовахъ и съ собою его привезла еще совсѣмъ красненькаго сюда; тутъ онъ и выросъ. Пожили мы лѣтъ десять, мужъ и померъ; а братъ у него былъ, деверь мой, шибко худой — пріѣхалъ онъ ко мнѣ да и говоритъ — «У тебя дѣтей нѣту, я табунъ возьму, а ты мнѣ поди въ хозяйки, въ жены, значитъ». — А у него и такъ три жены. Ну, русскіе близко, говорятъ: «Зачѣмъ тебѣ этта мучиться, лучше пріѣзжай на рѣку!» Поѣхала я, стала жить въ крѣпостѣ, прожила два мѣсяца, парнишка съ непривычки рыбку-то не ѣстъ, плачетъ, мяса проситъ; поѣхала я на тундру къ чукчамъ гостить. Сталъ за меня чукча свататься, бѣдненькой такой; ну, я не иду, поѣхала назадъ, онъ и погонися за мною, да отъ Коретовой да Крестовки, на одинъ духъ выбѣжалъ 50 верстъ, не отсталъ отъ собакъ. Тутъ моня братъ сталъ уговаривать: «Пойди, да пойди! Ты, — говоритъ, — все ждешь богатаго, а богатые откуль придутъ? А онъ, все-таки, хоть бѣдный, да старательный, исти хотѣть не станешь у него»! Подумала, подумала, пошла. Пожила съ нимъ немного, померъ. Пришелъ братъ его съ морской стороны, опять табунъ обобралъ да увелъ. Остались у меня десять важеночковъ, мое пятно: родники, да сосѣди моня дарили. Съ тѣмъ я и жить начала. А Олька-то еще былъ недосилокъ, вотъ оленій чемеръ[148], такъ еще ниже того, тогда сталъ съ табуномъ биться, да годъ за годъ, въ голодѣ да въ холодѣ черезъ силу расплодили стадо.

— Я, вѣдь, мясо-то варила не каждый день, — продолжала Овдя. — День ѣдимъ, а другой не ѣвши сидимъ. Положокъ-то у меня зимній былъ, вездѣ плѣшины, чисто одна мездра, все оленей жалѣли убивать на шкуры; а Олька въ табунѣ живетъ, по три, по четыре дня не ѣвши ходитъ, домой придетъ, поѣстъ, похватать, какъ собака, опять въ стадо бѣжитъ. Лѣтомъ на округъ[149] безъ сна ходитъ, глаза опухнутъ, лицо заплыветъ отъ комара, чисто на человѣка не похожъ… Такъ-то мы оленчиковъ развели…

— Разъ Олька стадо отпустилъ, цѣлое лѣто ходилъ, искалъ. Черезъ Медвѣжью рѣку на самомъ устьѣ сталъ на плотѣ переплавляться, плотъ волной разбило, самаго его въ море выбило. Спасибо, люди були, три чаута составили, да его на валу за руку поймали. Онъ день да ночь пролежалъ, да опять пошелъ искать, на вершинѣ Погинденской у людей сталъ находить, у кого два оленя, у кого три; а большая половина, Богъ знаетъ, куда дѣвалась, — а и тутъ мы опять заправились да жить стали…

— А вы еще завидуете! — заключила она. — Баринъ, — прибавила она, обращаясь опять ко мнѣ, — нельзя ли Ольку въ

чукчи переписать?

— Какъ въ чукчи? — спросилъ я.

— Да онъ все равно чукча, — продолжала Овдя, — языкъ у него чукотскій, вся вѣра тоже, опять олени. Зачѣмъ ему съ русскими считаться вмѣстѣ?

Олька хотѣлъ было возразить, но мать остановила его:

— Будетъ пустое говорить! — сказала она. — Русскимъ буть хочешь, а то *не толкуешь*[150], что вотъ я умру, совсѣмъ съѣдятъ тебя эти мѣщана…

Я долженъ былъ сказать, что считаю превращеніе изъ русскихъ въ чукчи невозможнымъ.

— А какъ бы хорошо було! — сказала Овдя со вздохомъ, — у чукчей-то, не бойся, никакая мука нѣту. Большая половина ничего не платитъ, а кто и платитъ, — всего одинъ рубъ; ни подводы и ни дрова, ничего нѣту.

— Развѣ на ярмаркѣ исправника попросить, — можетъ, онъ и перепишетъ? — прибавила она вопросительно.

Я объяснилъ, что исправникъ не можетъ дѣлать своею властью такія перечисленія.

— Слышишь, какъ она поговариватъ? — сказалъ Митрофанъ, — почище всякой чукчанки!

— Ну да, разговаривай! — возразила Овдя, — видишь, онъ дикій, ничего не пониматъ! Я помру, безъ меня станутъ у него русскіе грабить; а онъ съ тоски прямо руки на себя наложитъ… По чукотской вѣрѣ они изъ-за одного оленя убиваются.

— А ты, я вижу, совсѣмъ въ чукотскую вѣру перешла, — сказалъ Митрофанъ, — и Бога забула.

— Зачѣмъ забула? — сказала Овдя обидчиво. — Вотъ зимусь я у отца Михаила гумажныя иконки купила цѣлыхъ четыре, всѣмъ намъ по одной, за каждую по бѣлкѣ отдала. — Она показала четыре крошечныя картинки духовнаго содержанія, пестро и аляповато раскрашенныя, которыя, между прочимъ, отецъ Михаилъ получилъ для безплатной раздачи своимъ прихожанамъ, но счелъ за лучшее продавать ихъ по бѣлкѣ за штуку.

— А ты говоришь: «Бога не помнимъ!» — прибавила она, припрятывая свои духовныя сокровища послѣ того, какъ мы достаточно налюбовались ими.

— Разсказывай! — возразилъ Митрофанъ. — Слышишь, хозяинъ, — обратился онъ ко мнѣ, — чукчи, которую русскую дѣвку возьмутъ, а она шибко тоскуетъ, они перешаманиваютъ ее, на свою вѣру передѣлываютъ. Христіанскую-то душу вынимутъ, а чукотскую-то, земляную или какую иную полевую, душу и вложатъ.

— Правда, Овдя? — спросилъ я. Овдя утвердительно кивнула

головой.

— И тебя передѣлывали? — спросилъ я шутя.

— Ээ! передѣлывали! — сказала Овдя, — а только, вретъ онъ: не душу вынимаютъ, а тоску. Тогда только и повеселѣютъ русскія бабы, которыя у чукчей вновь…

— А молодуха-то у нихъ не вѣнчанная! — не унимался Митрофанъ, — только мазанная по чукотской вѣрѣ: оленя убили и кровью вымазались.

— Отчего же они не повѣнчаются? — спросилъ я.

— Я не велѣла! — сурово отвѣтила Овдя, — будутъ сыновья, опять ихъ запишутъ въ мѣщана; пусть хоть дѣти Олькины не мучатся такъ, какъ онъ самъ.

— А хорошая баба! — продолжалъ неугомонный Митрофанъ.

— Возьми меня въ смѣнные товарищи, Олька!

Олька нахмурился.

— У меня нѣтъ смѣннаго товарища! — сказалъ онъ рѣзко.

— Полно врать! — сказалъ Митрофанъ. — У чукчей безъ смѣннаго товарища не бываетъ.

— Правду, нѣту! — сказала Овдя. — Русская кровь ревнивая; ей Богу, нѣту!

— Чудеса! — сказалъ Митрофанъ. — Первой вижу такого. То есть у насъ на Колымѣ на этотъ счетъ сколько угодно. Весь народъ перемѣшался.

— Однако, вамъ худо этакъ-то! — сказалъ Митрофанъ помолчавъ. — У васъ, значитъ, ни откуда помощи нѣту, ни въ родствѣ, ни въ свойствѣ, ни въ бабьей дружбѣ; только на себя надѣетесь…

Олька молчалъ.

— Будетъ тебѣ! — сказала Овдя. — Баба-то совсѣмъ ребенокъ, ничего не понимаетъ. Ее умъ-то еще на куклы поворачиваетъ. Ей Богу, пошлю ее на ледъ, а она санки-то оставитъ, а сама съ дѣвчонками убѣжитъ; а дома робеночекъ плачетъ.

— А ты, небось, все понимашь! — сказалъ Митрофанъ, смѣясь. — Небось, прежніе дружки еще всѣ за тобой.

— Что же? — сказала Овдя не безъ чувства собственнаго достоинства. — То все хорошіе люди, почетные. Меня мужъ худымъ не отдавалъ. Коравія, Амулинъ, Тельгинъ, Паганто… начала она пересчитывать.

— А у тебя не было дѣтей отъ чукотскихъ мужей? — спросилъ я.

— Были двое парнички, да померли! — сказала Овдя. — То и горе мое, что чукотскаго сына не могла сохранить. Развѣ я бу такъ жила?

На другое утро я уѣхалъ со стойбища Ольки; но мнѣ

пришлось встрѣтиться съ Овдей и ея сыномъ черезъ мѣсяцъ на Анюйской ярмаркѣ. Олька пришелъ закупать необходимое количество чаю, табаку и другихъ товаровъ, а Овдя опять пошла въ переводчицы къ своему купцу. Между прочимъ, мѣщанскій староста, при первой же встрѣчѣ съ Овдей, не только сталъ требовать четыре рубля, но объявилъ, что мѣщане накинули на Ольку подводу въ видѣ натуральной повинности. Ему предстояло теперь выставить собачью нарту для проѣзда одного изъ начальственныхъ лицъ или казаковъ, изъ Анюйской крѣпости въ Нижній Колымскъ. Овдя забѣгала по знакомымъ. Порѣчане отбываютъ эту повинность натурою, и то она имъ солоно достается, а у Ольки, конечно, не было своихъ собакъ. Нужно было нанимать чужихъ собакъ, но никто не хотѣлъ наниматься дешевле пятнадцати рублей. Въ концѣ-концовъ Овдя прибѣжала ко мнѣ. — Помоги, говорила она, — разорить насъ хотятъ. Пять быковъ Олька на убой даетъ, и то не берутъ.

Я отправился къ исправнику съ ходатайствомъ за бѣднаго русскаго оленевода.

Говорить приходилось осторожно, такъ какъ мѣщане были бѣднѣе Ольки и тоже совершенно подавлены натуральными повинностями. Исправникъ призвалъ предъ свое лицо Ольку и старосту. Овдя служила переводчикомъ для сына, а я толкователемъ непонятныхъ подробностей полярной жизни. Ознакомившись съ потребностями дѣла, исправникъ разсудилъ совсѣмъ по-соломоновски.

— Подать возьмите! — сказалъ онъ старостѣ, — потому что это постановлено высшею властью; а подводу вы наложили неправильно: онъ натуральной повинности не подлежитъ.

— Тоже и намъ тяжело, ваше высокоблагородіе!.. — вздохнулъ староста.

— Повинности налагаются, — сталъ объяснять исправникъ, — только на тѣхъ, кто пользуется попеченіемъ отъ общества или получаетъ помощь отъ начальства, а объ нихъ ни вы, ни мы заботы не имѣемъ. Они живутъ на полѣ вмѣстѣ съ чукчами.

— Какая же помощь? — спросилъ староста, не понимая, — общество *все упало*, каждый *до рукъ добился!*.. Теперь ужъ помощь и дасти некакъ, развѣ самимъ просить.

— Ну вотъ, — подтвердилъ исправникъ, — вы станете просить, а они не просятъ.

— Да имъ не нужно! — возразилъ староста, — они въ зажиткѣ живутъ.

— Все равно не имѣютъ права просить! — объяснялъ исправникъ. — Мы имѣемъ право имъ отказать…

Такимъ образомъ Олькѣ на этотъ разъ удалось отдѣлаться отъ подводы цѣною вѣчнаго отчужденія отъ общественныхъ и начальственныхъ попеченій. Овдя все-таки была чрезвычайно раздражена притязаніями старосты.

— Уйду на Чаунъ! — говорила она ему по выходѣ изъ казенной избы. — Пропади вы пропадомъ, вѣкъ васъ не видать!

— Достанемъ! — увѣренно говорилъ староста. — Безъ ярмарки не обойдетесь. А намъ что рѣже, то лучше. Волкъ однажды хватать, да мѣтко деретъ. Будете помнить.

Не знаю, какъ будетъ дальше житься бѣдному русскому оленеводу между чукотской сварливостью и притязаніями и алчностью сообщественниковъ съ рѣки. Со стороны чукчей опасность не велика. Сѣнтуха такъ обширна, что небольшое стадо оленей можетъ пастись безъ ущерба, не сталкиваясь съ чужими стадами; а настроеніе чукчей послѣ двухкратной выдачи выкупа за убійство опять измѣнилось въ благопріятную сторону.

Гораздо опаснѣе для Ольки и его хозяйства ежегодная раскладка сборовъ его родного общества.

Овдя справедливо безпокоится о его отношеніяхъ съ русскими послѣ ея смерти. Для сборовъ нужны деньги, а Олька не имѣетъ о нихъ никакого понятія, онъ не знаетъ, у кого и какъ можно достать денегъ на ярмаркѣ. Сколько бы на него не наложили, ему никогда не придетъ въ голову жаловаться на старосту, да и врядъ ли онъ самъ по себѣ получитъ доступъ, напримѣръ, къ исправнику, ибо русскіе порѣчане стоятъ другъ за друга и оттираютъ отъ начальства жалобщиковъ чужого племени на ярмаркѣ или при проѣздахъ. Онъ, впрочемъ, не сумѣетъ даже разобраться въ степеняхъ начальства, и его можно увѣрить, что на старосту нѣтъ управы. Однимъ словомъ, лишившись руководителя, этотъ сынъ тундры передъ лицомъ своихъ сообщественниковъ явится, какъ дикій олень, который всѣмъ долженъ и съ котораго каждый встрѣчный можетъ содрать шкуру вмѣсто уплаты. Какъ и дикому оленю, ему останется, въ видѣ послѣдняго прибѣжища, бѣгство или, пожалуй, самоубійство, къ которому сосѣдніе ему пастухи прибѣгаютъ при первомъ разочарованіи, часто изъ-за послѣдняго пустяка, такъ какъ собственную жизнь они цѣнятъ еще меньше, чѣмъ чужую.

notes

Примечания

1

Такъ называютъ себя чукчи въ эпическихъ разсказахъ и преданіяхъ.

2

Пятники — плотныя жерди, изогнутыя дугообразно и вдавленныя въ крышу шатра длинными шестами.

3

Чукотскіе поселки недалеко отъ Берингова пролива.

4

Сиводушка — лисица пепельно-сѣраго цвѣта съ чернымъ брюхомъ и темнымъ крестомъ на верхней части спины; цѣнится гораздо дороже обыкновенной лисицы.

5

Р. Нюкомъ въ бывшихъ русско-американскихъ владѣніяхъ — впадаетъ въ Берингово море.

6

Чемоданъ — тюленья шкура, снятая съ туши убитаго животнаго въ видѣ мѣшка, и просто тюленья шкура.

7

Туземцы разсказываютъ, что, рядомъ съ черными медвѣдями, иногда попадается медвѣдь съ широкимъ бѣлымъ пятномъ на шеѣ. Этотъ медвѣдь считается особенно свирѣпымъ.

8

Наргинэнъ — Вселенная. Обычное названіе верховнаго божества.

9

То же, что На́ргинэнъ.

10

Вдохновенный — шаманъ.

11

Байдарка — кожаная лодка на одного человѣка.

12

Чукчи называютъ себя просто людьми, а въ противоположность другимъ племенамъ — настоящими людьми.

13

Выраженіе удивленія.

Чукчи даютъ это имя безразлично русскимъ, корякамъ и чуванцамъ.

15

Чукотская передѣлка русский фамиліи — Колесинъ.

16

Чукчи и русскіе, опорожнивъ боченокъ со спиртомъ, выполаскиваютъ его горячей водой и ополоски выпиваютъ до послѣдней капли.

17

Ругательство.

18

Такъ чукчи называютъ американцевъ.

19

Кавралинъ — бродячій человѣка. Оленные чукчи такъ называютъ тѣхъ изъ приморскихъ, которые приходятъ къ нимъ за торгомъ или просто на поиски счастья.

Сифилисъ.

21

Обрядъ чукотскаго брака состоитъ въ совмѣстномъ помазанія жениха и невѣсты кровью только-что убитой жертвы.

22

Явные сифилитики считаются нечистыми и ихъ домашній огонь оскверненнымъ.

23

Чукчи поятъ самыхъ ручныхъ оленей изъ особаго маленькаго кожанаго сосудца — мочей.

24

Сѣрая птица, похожая на сойку, довольно обыкновенная на опушкѣ полярныхъ лѣсовъ.

25

Аутъ — орудіе для скобленія шкуръ.

26

Гатка — поперечное тесло, замѣняющее чукчамъ топоръ при плотничьей работѣ.

27

Приморскій чукотскій поселокъ.

28

У Берингова пролива.

29

По представленію чукчей, перелетныя птицы два раза въ годъ должны пролетать сквозь узкій проходъ между землей и небомъ въ видѣ огромной каменной ловушки, непрерывно подымающейся и опускающейся. Разсказы объ этомъ проходѣ нѣсколько напоминаютъ сдвигающіяся скалы на пути корабля Арго.

30

Увырытъ — душа. Собственно движущее начало, проникающее всѢ предметы, одушевленные и неодушевленные.

31

Столбы по сторонамъ солнца называются его рукавицами, а вѣнецъ — шапкой.

32

Полярная звѣзда.

Песчаная рѣка — млечный путь.

34

Охотники за лосями — парныя звѣзды созвѣздія Рыси (двѣ пары).

35

Блестящая Звѣзда — Венера.

36

Торосъ — глыбы морского или рѣчного льда, выдавшіяся вверхъ подъ дѣйствіемъ взаимнаго нажима льдинъ.

37

Сущность чукотскаго шаманства заключается въ чревовѣщаніи, причемъ многіе шаманы достигаютъ большого искусства, подражая, кромѣ членораздѣльной рѣчи, также и крикамъ разныхъ животныхъ, шуму бури и т. п. Съ другой стороны, почти каждый старикъ является до нѣкоторой степени шаманомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и чревовѣщателемъ. Всѣ приведенныя заклинанія составляютъ переводъ съ чукотскаго.

38

Собственно, Милосердное Бытие. Тоже одно изъ обычныхъ названій Верховнаго Божества.

39

По представленіямъ чукчей, каждый человѣкъ имѣетъ до пяти душъ.

Мамонтъ.

41

Сѣверное сіяніе.

42

Чумъ — кожаное покрывало, разстилаемое на нартѣ и завертываемое поверхъ уложенныхъ вещей.

Пе́шня — желѣзный ломъ на длинной рукояткѣ; употребляется для долбленія льда.

Войдать — смачивать водой. Полозья собачьей нарты для большей плавности принято леденить, смачивать на морозЬ водой.

45

Кожуха — широкій сугробъ надъ дыхательной прорубью нерпы съ полостью внутри и ходомъ наружу.

46

Влѣво.

Свара — постромка собачьей шлеи.

Потягъ — длинный ремень, къ которому пристегиваются собаки попарно.

Дуга неподвижно укрѣплена въ средней части нарты и имѣетъ вертикальное положеніе. Погонщикъ обыкновенно, держась за дугу, управляетъ нартой.

Вязки — круглыя перекладины, соединяющія копылья нарты; на вязкахъ лежитъ *доска* (настилка нарты).

51

Темляки — ремни, притягивающіе переднюю дугу къ копыльямъ.

52

Шкура, содранная съ ногъ оленя или другого животнаго; употребляется на приготовленіе зимней обуви.

53

См. выше.

Обидное прозвище оленеводовъ.

Фунтовъ табаку. При счетѣ табаку, его обыкновенно даже не упоминаютъ. Кривой Федька — русскій торговецъ съ р. Колымы.

56

Кусочки жесткой шкуры, снятые съ подошвы оленьей стопы между четырьмя копытами.

57

Женская одежда, состоящая изъ широкихъ штановъ съ пришитымъ корсажемъ.

58

Острівъ Айонъ у входа въ Чаунскую губу.

Такъ называютъ чукчи какую-то обширную землю, лежащую за Ледовитымъ океаномъ, куда будто бы нѣкогда переселилась часть ихъ племени подъ предводительствомъ Крекая. Въ основѣ этого представленія, повидімому, лежать неясныя свѣдѣнія о землѣ Врангеля.

Высушенный пузырь куропатки иногда употребляется для храненія жиру и т. п.

61

Каждая чукотская семья ежегодно во время осенняго праздника совершаетъ кровопомазаніе, причемъ члены ея изображаютъ на своихъ лицахъ особые знаки, наслѣдственно переходящіе отъ поколѣнія къ поколѣнію.

62

Шатеръ обвязываютъ ремнемъ въ знакъ того, что обитатели его предаются отдыху и не желаютъ, чтобы ихъ безпокоили.

63

Одинъ изъ главныхъ героевъ преданій о борьбѢ чукчей съ коряками.

Духи, вызываемые путемъ чревовещанія.

Внутри страны.

66

Мысъ Эрри или Шелагскій, гдѣ происходитъ дѣйствіе разсказа, лежитъ на восточномъ краю широкаго устья Чаунской губы.

67

Поселокъ у Берингова пролива.

Икыргаулинъ — ротастый. Такъ называютъ чукчи американскихъ эскимосовъ за то, что они вставляютъ по угламъ рта по бусинѢ или по кусочку дерева.

69

Чудовища, похожія на дельфиновъ, которыя будто бы лѣтомъ опрокидываютъ байдары и пожираютъ мореходовъ, а зимою выходятъ на сушу и превращаются въ волковъ.

Чэруна — небольшой желѣзный крюкъ на длинномъ ратовищѣ, употребляемый для выхватыванія мелкой рыбы изъ воды.

71

Главный наслѣдственный староста оленныхъ чукчей, называемый въ просторѣчіи также королемъ.

Заимствовано изъ чукотской сказки.

73

Герой чукотскихъ преданій, баснословный предокъ чукотскаго племени.

Растеніе изъ породы крестоцвѣтныхъ, корень котораго употребляется чукчами въ пищу.

Такъ называютъ чукчи Анюйскую крѣпость, построенную исключительно для весенней ярмарки и въ остальное время года пустынную и запертую на замокъ.

Косматые жители сродни медвѣдямъ. Они живутъ въ наиболѣе отдаленныхъ лѣсахъ и не показываются людямъ.

77

Уйеръ, долгая кисть изъ нѣсколькихъ нитей бусъ, привязываемая къ косѣ дѣвушки.

Чукчи одень любятъ волокнистый (такъ называемый турецкій) табакъ и предпочитаютъ его русскому (листовому).

Манщикъ — олень, выдрессированный для приманки дикихъ оленей во время охоты, цѣнится значительно дороже обыкновеннаго упряжнаго оленя.

Чукчи въ насмѣшку называютъ ламутскую одежду распоротою, ибо она состоитъ изъ многихъ отдѣльныхъ частей.

81

Ясачнымъ начальникомъ чукчи называютъ исправника, которому даютъ также старинное названіе коммисара.

Солнечный Владыка — Государь.

83

Не знаю!

Моняломъ называется зеленоватая масса полупереваренаго мху, вынутая изъ желудка убитаго оленя и очищенная отъ непереварившихся растительныхъ волоконъ. Чукчи варятъ изъ нея похлебку.

85

Слова ледъ и стекло по-чукотски тождественны. Тен-койгинъ — стеклянная чаша, т. е. стаканъ.

Чукчи перебрались на западную тундру не болѣе, какъ 40 лѣтъ тому назадъ.

87

Чукотскія женщины считаютъ постыднымъ кричать во время родовъ.

88

Рультеннинъ — созвѣздіе Оріонъ. Онъ представляется небеснымъ стрѣлкомъ и имѣетъ женъ между земными вдохновенными женами (шаманками). Его потомки на землѣ считаются обладателями сладкозвучныхъ обрядовыхъ напѣвовъ.

89

Мелкая рѣчка, протокъ.

90

Шкура большого тюленя породы phoca barbata.

Походская виска впадаетъ въ западное устье рѣки Колымы. На мѣстѣ ея впаденія находится русское поселеніе.

Козелъ, карточная игра, очень распространенная въ краѣ, но не имѣющая ничего общаго ни съ козлами, ни съ козами.

93

Древесная сырая смола.

Мѣстное русское нарѣчіе говоритъ: оленій табунъ, а не оленье стадо.

Важенка — самка оленя.

Руйта — шатеръ.

Камень — горя, скала. Нагорная сторона Колымы называется каменной стороной.

Чумъ — наружный шатеръ.

99

Саксырить — особеннымъ образомъ тасовать карты, съ цѣлью привлечь удачу на свою сторону.

100

Городъ Средне-Колымскъ.

101

Бокъ — мягкая часть мяса, покрытая жиромъ, снятая съ задняго бедра.

Въ чукотской системѣ счисленія пальцы рукъ занимаютъ мѣсто весьма важнаго вспомогательнаго средства.

103

Очки на картахъ.

Парка — длинный мѣховой балахонъ, надѣваемый большей частью поверхъ другой мѣховой одежды.

Баранъ — передняя дуга, къ которой привязывается потягъ.

106

Собаками управляютъ посредствомъ особыхъ разнообразныхъ окриковъ, совокупность которыхъ называется гарканьемъ.

107

Плоскій деревянный сосудъ, вмѣщающій 3 ведра.

Владимир.

109

Замша, выдѣланная изъ оленьей кожи.

110

Чукчи въ древнихъ сказкахъ называются жителями Бѣлаго моря, дѣтьми бѣломорской жены. Приморскіе чукчи, въ частности, называются моржеѣдами, истребителями моржей.

Скачки на лахтакѣ состоятъ въ томъ, что нѣсколько человѣкъ берутъ за концы широкую лахтачную или моржовую кожу и подбрасываютъ на ней человѣка, какъ можно выше. Подбрасываемый долженъ, падая на шкуру, становиться на ноги.

112

Перекатъ горной рѣки съ мелкимъ, но быстрымъ теченіемъ.

113

Бычачевидный шатеръ — выдающійся величиной среди другихъ шатровъ, подобно тому, какъ оленный быкъ выдается среди стада.

Ровдуга — родъ замши. *Камлея, камлейка* — верхній балахонъ изъ ровдуги, ситца или сукна.

115

Лебяжья жизнь почему-то считается на КолымЂ синонимомъ самой бЂдственной жизни.

Кухлянка — верхняя мѣховая одежда.

117

Руйта — юрта, шатеръ.

Зиркать — поглядывать.

Аляснича́ть — дѣлать или говорить глупости.

120

Восклицаніе страха.

121

Женское произношеніе у чукчей значительно разнится отъ мужского.

122

Одной изъ главныхъ обязанностей чукотской хозяйки является выколачиваніе шатра и полога.

Переметы — переметныя сумы.

Аутъ — круглый желѣзный ножъ, вставленный въ двуручную деревянную оправу, употребляется для скобленія шкуръ.

Чукчи называютъ именемъ Или тѣхъ американскихъ торговыхъ агентовъ, которые скупаютъ живыхъ оленей.

Русскихъ корабельщиковъ чукчи называютъ, какъ и американцевъ, бородачами, въ отличіе отъ русскихъ жителей Колымы и Анадыря, которые развитіемъ растительности на лицѣ мало превосходятъ самыхъ чукчей.

127

Именемъ Маньо чукчи называютъ вообще русскихъ начальниковъ, приходящихъ на корабляхъ со стороны Тихаго океана, въ частности также анадырскаго окружного начальника.

Американскаго.

129

Бичъ состоитъ изъ гибкаго деревяннаго прута съ острымъ наконечникомъ изъ моржоваго зуба.

Капралъ — одна изъ мелкихъ родовыхъ властей у ламутовъ.

131

Житель рѣки Анюя.

132

Майоръ Павлуцкій погибъ въ сраженія съ чукчами въ 1747 г.

133

Чукочья деревня — старинное русское поселеніе въ западномъ устьѣ Колымы, теперь совершенно обезлюдѣвшее.

Порѣчане составляютъ около десятка отдѣльныхъ мелкихъ сообществъ. Самое меньшее изъ нихъ насчитываетъ два десятка душъ обоего пола и только троихъ взрослыхъ работниковъ.

135

Исправникъ.

Самихъ себя чукчи называютъ просто людьми.

137

Молодецъ, молодой человѣкъ.

Сухожилія. Изъ оленьихъ сухожилій дѣйствительно дѣлаютъ нитки.

139

Мяться — упражняться въ атлетическомъ спортѣ для увеличенія своей силы.

Мака — нижній клапанъ дѣтской одежды.

141

Т. е. по ихъ обычаямъ.

142

Арканъ.

Чувалъ — деревянный каминъ.

144

Ободранная туша пушного звЂря.

145

Баронъ Майдель, начальникъ чукотской экспедиціи 1870 г.

На сѣнтухѣ — на полѣ.

147

Кибитка.

Чемеръ — крупъ.

149

Постоянно.

150

Не понимаешь.